



Kolonna Publications  
МИТИН ЖУРНАЛ

Серия «*VASA INIQUITATIS*» («СОСУД БЕЗЗАКОНИЙ») является

совместным проектом издательств

*KOLONNA Publications* и МИТИН ЖУРНАЛ

ББК 84.7 Чил.

ALEJANDRO JODOROWSKY  
EL LORO DE LAS SIETE LENGUAS

Перевод Владимира Петрова

*В оформлении обложки использована  
фотография Ульрике Оттингер из цикла «Анфас».*

ISBN 5-98144-070-8

Руководство изданием: Дмитрий Боченков

Корректор: Ольга Кобрина

Редактор: Дмитрий Волчек

Дизайн обложки: Виктория Горбунова

Верстка: Елена Антонова

©Alejandro Jodorowsky, 1991

©В. Петров, перевод, 2006

©Митин журнал, 2006

©Kolonna Publications, 2006

АЛЕХАНДРО  
ХОДОРОВСКИЙ

ПОПУТАЙ С СЕМЬЮ  
ЯЗЫКАМИ

*Перевод Владимира Петрова*

*Вино – это всё: море, сапоги-скороходы,  
ковёр-самолет, солнце, попугай с семью языками...*

**Никанор Парра**

Все персонажи здесь – несуществующие, а места – вымышленные. Мы говорим о Чили, которое не есть Чили, описываем параллельную реальность.



Годах в сороковых-пятидесятых, среди бесчисленных миров, существовал и такой: страна, вытянутая настолько, что очертаниями напоминала башню. Вершину ее мы увенчали короной – раем, созданным нами. Когда разразилась буря и в вершину ударила молния, мы упали на землю и были вынуждены учиться ходить на руках, ища вслепую остатки божественной пищи – той, которую мы в своей невинности называли Поэзией...



# ПРОЛОГ

## УПАВ ИЗ БОЖЬЕГО ДОМА







## 1. ОБЩЕСТВО ЦВЕТУЩЕГО КЛУБНЯ

*Я признаю одну истину: истину иллюзии.*

**Хумс (из разговоров в кафе «Ирис»).**

В Сантьяго-де-Чили Акк, Га, Деметрио и Толин членствовали в некоей литературной академии; им доверили подколоть Ла Роситу. Это был здоровяк лет пятидесяти, который водился с молодыми литераторами: пил с ними, щупал им бицепсы и топил в океане своей эрудиции. На заседаниях Академии он сравнивал стихи своих коллег с творениями сотен иностранных авторов. Бесконечно цитируя разные имена, он на корню губил любое оригинальное творчество, и не существовало книги, журнала или автора, неизвестных ему. Он жил одиноко в бараке крестообразной формы, ежедневно ходил в Национальную библиотеку, проводя за чтением восемь часов подряд. Академики подозревали, что три четверти его эрудиции – чистый блеф.

Решили выдумать некоего итальянского философа. Так появился на свет Карло Пончини, родившийся в Ареццо в 1893-м и таинственно исчезнувший в Риме в 1931-м. Впятером приятели сочинили его биографию, а затем принялись набрасывать трактат «О триполярности метафизики». При встрече со своей жертвой все стали дружно принижать роль Пончини в истории философии. Ла Росита в негодовании встал на защиту принципа триполярности, как ведущего прямиком к онтологическому замораживанию, и связал Пончини с Майстером Экхартом. Он сравнил своих противников с Мастером Рейнером, Пьером д'Эстатом, Генрихом Вирнебургским<sup>1</sup>. Бичи инквизиции! Закончил же он свою речь

---

<sup>1</sup> Упоминаются участники процесса по обвинению Майстера Экхарта в ереси. *Здесь и далее примечания переводчика.*

небольшим очерком о влиянии аретинских пейзажей на творчество Пончини.

Все захохотали. «Да мы только что выдумали этого Пончини!» Не говоря ни слова, Ла Росита отвел их в Национальную библиотеку, открыл «Ревиста философика де Рома», номер 163 за 1935 год. Там имелась статья, посвященная Пончини и его труду «О триполярности метафизики»!

Тремя месяцами позже служба в церкви святого Франциска уверял журналистов, что Ла Росита вошел в храм, преклонил колена перед алтарем, пробормотал что-то неразборчивое, посинел, взмыл в воздух, подобно святому Иосифу Купертинскому<sup>1</sup>, и оказался на острие копья святого Георгия, как цыпленок на вертеле. Там, в пяти метрах от пола, его и нашли. Из рта свешивался серый язык.

Собака с лицом влюбленной женщины преследовала Деметрио уже довольно долго. «Зачем искушаешь меня, шлюха?» Животное поджидало его у входа в бар, где он только что выдал признание: «С каждым днем я все больше похож на пса». Он терял связь с действительностью, прошлой ночью, сам того не сознавая, взял из-под кровати горшок и утолил жажду собственной мочой... Деметрио выделял зигзаги вдоль улицы с криками «Да умрет Бог!», проститутки кидали в него грязью, встав на защиту Господа; псина бежала следом. Наконец, он уселся на тротуаре, напротив черной стены санатория. Собака с лаем терлась о его ноги; Деметрио испытывал внутреннюю борьбу, как тот, кто больше не верит в любовь и не завязывает новых интрижек, но его чувства еще были кое на что способны: он поднял передние лапы, засвистел «Грустный вальс» Сибелиуса и затанцевал с собакой, черной, как стена больницы. Подойдя к дому, он

---

<sup>1</sup> Святой Иосиф Купертинский (1603 – 1663) – итальянский священник из ордена францисканцев. Согласно преданию, во время проповедей он часто приподнимался в воздух (на высоту до 6 метров) и парил над кафедрой.

подхватил животное под мышку, ударами кулаков снес садовую ограду, пошел к двери, давя незабудки, улегся в постель, обнял свою возлюбленную, и так они – морда к лицу – лежали до утра, когда явилась мать Деметрио, устроила скандал по поводу ограды и избивала собаку красным зонтиком, – а он, сжав материнскую руку до посинения, вместо ответа залаял, выражая тем самым твердое намерение оставаться псом до конца своих дней.

Дом Деметрио был погружен во мрак. Из-за плотно закрытых дверей и окон комнаты хранили следы недавней ссоры. Толин постучал в знак приветствия, не ожидая ответа... Ему открыл Ла Росита!

– А, Толин, прекрасный и загадочный! Ты к Деметрио? Его нет. И родителей тоже, они сейчас в Вальпараисо. Я высадил раму и забрался в дом полюбопытствовать. Сеньора не пожелала принять меня по причине моих наклонностей. И вот, как видишь, я обследую содержимое шкафов, впитывая слабый запах бездушных вещей – запах звезд. Хочешь поглядеть на спальню своего друга?

Ла Росита сказал «друга», имея в виду «любовника». Комната была невелика и оклеена желтыми обоями.

– Смотри сколько душе угодно...

Тетради, заполненные угловатым почерком Деметрио; грязные листки со стихами; фразы, записанные на билетах в кино; стены, сплошь покрытые рифмованными строками; заметки на обложках книг; мысли, набросанные второпях, словно Деметрио стряхивал с себя пиявок. Толин под грубые насмешки Ла Роситы попытался навести порядок.

– Чего ты добьешься? Он пишет даже на туалетной бумаге. Сейчас он бродит возле порта, пряча в карманах пальто лучшие свои вещи. Скоро он пойдет под гору и никогда уже не поднимется на теперешнюю высоту. Ты будешь наблюдать его упадок, попробуешь дать ему новый толчок, отучить от пьянства; но все без толку. Поэзия – это дар. А он из гордости, не желая признаться себе в своем завтрашнем ничтожестве, сожжет сегодняшние творения. Он знает это

и потому страдает. Он, домосед, ленивый медведь, не покидающий берлоги, трется около золотой молодежи, став для нее шутом; он участвует в литературных конкурсах, таскается по барам, лжет себе самому, бежит от себя. Ты тоже, Толин, будешь страдать. Он заразит тебя своей тоской. Не знаю, освободишься ли ты когда-нибудь. Смотри! Вот три строчки на автобусном билете:

Невидимый,  
ненужный никому,  
лучший из алмазов...

Пойдем, Толин, я покажу тебе мое логово.

В первый раз скрипач переступил порог крестообразного барака, где обитал Ла Росита.

– Входи!

Книги от пола до потолка, то и дело падающие, изгрызенные крысами.

– Это мое любимое: Алоизиус Бертран, Марсель Швоб и особенно «Повелитель Фокеи» Жана Лоррена<sup>1</sup>. Я тоже, как он, искал скорбные изумруды, притаившиеся в глазах помпейских статуй, в водянистых зрачках Антиноя. Гляди, вот мое сокровище. Ты никогда этого не забудешь...

Он открыл ящик. Человеческая голова внутри сосуда...

У Солабеллы была длинная огненная шевелюра. Голова, аккуратно отделенная от тела, плавала в прозрачной пахучей жидкости. Губы приоткрыты; тонкая кожа казалась живой и теплой. Глаза остановились на Толине, словно изучая его.

– Он жил в средневековье, на Балканах. Жидкость, в которую помещена голова, создана усилиями алхимиков. Если присмотреться, можно увидеть, как пробиваются волосы на подбородке. Это мужчина. Раз в месяц я кладу свой член ему в рот. Завтра вернется Деметрио. Прощай...

---

<sup>1</sup> Алоизиус Бертран (1807 – 1841), Марсель Швоб (1867 – 1905), Жан Лоррен (1855 – 1906) – французские писатели. Упоминание всех троих в этом контексте подчеркивает окружающую героя атмосферу интеллектуального декаданса.

Деметрио, вылитый персонаж Эль Греко – тощий, непреклонный, высокомерный, подобно графу Оргасу<sup>1</sup> присутствующий на собственных похоронах, окруженный сотоварищами в строгих черных одеждах, погребенный под собственными изображениями, все чаще впадающий в бешенство, завывая, читающий длинные поэмы, в любом месте (и с тайным наслаждением видящий, как они исчезают в миг своего рождения), мастерски изображающий на запотевшем стекле гравюры, чистота линий которых вызывала в памяти скальпель Везалиуса<sup>2</sup>, способный плясать с быстротой вращения электромотора, напевая пошловатые арии, исполняющий номера танцовщиц из мюзик-холла, долго рассуждающий об абсурдности мира или причинах бессознательного уединения, – этот самый Деметрио медленно и мрачно сходил в могилу, губя свой гений завистью к себе самому.

Он знал, что не в состоянии повлиять на процесс творения – «я не создаю то, что выходит из меня, оно зреет само; все делается через меня, но не мной», – и ненавидел собственные таланты. Главной его мечтой был успех у женщин, такой, который достается боксерам и кинолюбовникам, – однако тело Деметрио могло вызвать только лишь смех. Когда он прогуливался по лесопарку, читая на ходу гегелевскую «Эстетику» – «...поднять сознание на высоту духовных интересов», – за ним стала увиваться муха. Деметрио заметил, что на него смотрят несколько студенток. Поэтому он решил отогнать муху и перейти на элегантную походку, чтобы отвлечь внимание девушек. Муха села ему на щеку, а потом закружилась рядом с головой. «Святые в нимбе из мух», – громко произнес Деметрио и представил себе рай, населенный гниющими ангелами, что сидят на кучах дерьма. Муха, однако же, не отставала. Забыв о всяческом достоинстве, Деметрио спрятался в кусты, снял кальсоны, – и насекомое бросило его преследовать. «Следить не только за действиями, но

---

1 Имеется в виду картина Эль Греко «Погребение графа Оргаса».

2 Андреас Везалиус (1514 – 1564) – бельгийский врач и анатом.

также за чувствами и мыслями, проверять построение каждой фразы, сохранять чистоту дикции. Повелевать собой», – так говорил Деметрио.

18 сентября, в день национального праздника<sup>1</sup>, повелевающий собой спит в машине на берегу океана. Машина понемногу тонет в песке. Шины раскалены. Он ехал трое суток, напившись. Он неподвижен. Он – пес. Люди открывают дверь, вытаскивают его; он испражняется, утыкается лицом в трясику, чтобы задохнуться; его тянут за ногу, но слова ему не даются, он падает на все четыре лапы и умирает, отравленный алкоголем, лает на луну, подбирает кость, начинает рисовать что-то с невероятной быстротой; остальные замирают, а он, как в старые времена, двигаясь почти автоматически, не приходя в себя, чертит линии на сыром песке, и возникает его лицо, затем скелет с женской прической; он одет по моде девятисотых годов и танцует со смертью, как на картине Дюрера; остальные хотят запечатлеть рисунок на пленку, но он бросается на него, катается по песку, рыдает, стирая рисунок руками, – и, наконец, засыпает и храпит.

– Пока они пытаются воскресить Деметрио, пойдем покажем!

– У тебя есть бумага, Акк?

– Нет, Толин. Если мы устроимся вон под тем деревом, то сможем подтереться его гладкими листьями. Меня научил Хумс. Устраивая вечеринку, он кладет в туалет листья фигового дерева. Гости пользуются ими, потому что это так необычно, а Хумс подглядывает через дырку. Толин, заняться этим вместе с тобой, созерцая гибель юного гения, – это блаженство, достойное нирваны! Отсчет начался. Кто из наших умрет первым? Я надеюсь пережить их, разбогатеть и ходить на все похороны. Как можно пропустить хоть один такой праздник?! Буду читать надгробные речи тонкой фистулой. А потом плясать ночь напролет, обнимать трупы и опорожнять свой желудок им в лицо.

---

<sup>1</sup> 18 сентября отмечается День независимости Чили.

У Хумса была женская кожа и скошенный подбородок. Из пятидесяти лет, которые он признавал за собой, тридцать Хумс прожил в Париже. Он был инженером и садоводом, получил премию за выращенную им толстолистную орхидею. Хумс не представлял жизни без икры, божоле и слив в рассоле. Руками он вечно хватался за лацканы пиджака или поднимал их к небу, чтобы кровь отливала и они оставались безупречно белыми, – две прозрачные стрекозы, что летали на его выступлениях, садились на щеки какого-нибудь простодушно-го слушателя и снова взмывали вверх, подчеркивая самые выразительные места переведенных с французского стихов.

У Зума, пузатого обжоры, имелся свой ответ на бархатные шляпы Хумса, – мягкая панама, которая вместе с подтяжками служила чем-то вроде сумки. Стоило Хумсу прочесть перевод из какого-то автора, как он погружался в полное собрание его сочинений и, воодушевленный легкостью такого предприятия, мечтал приохотить чилийцев к лирике, дать им насладиться красками Боннара<sup>1</sup>, красотой «Умирающего юноши», творениями Гюстава Моро и прелестями галльской кухни; окруженный каменщиками и запахом извести, он поглощал в благоговейном молчании приготовленный Хумсом заячий паштет, а затем, раскрыв почерневший от непрерывных возлияний рот, он – завистливый обожатель – заводил с мэтром спор, подражая его профессорскому выговору. Эти сражения начинались обычно с обсуждения вечных ценностей, а приводили к тому, что, мол, ты, жирный ленивец без подбородка, да к тому же горбатый, сын неаполитанского лавочника, – как же ты намерен проникнуться Прустом, вонючий педик, неподъемная туша, гад ползучий? Все заканчивалось слезами Зума, ибо Хумс, несомненный победитель, в какой-то момент прижимал ладонь к уху, симулируя глухоту, и уже ни на что не отвечал.

Несмотря на постоянные бури, восхищение Хумсом со стороны Зума не знало границ. Когда его кумир, накачанный

---

1 Пьер Боннар (1867 – 1947) – французский живописец и график.

вином, шатался, пытаясь не выставлять на всеобщее обозрение невыносимый образ себя, рухнувшего без чувств, Зум подхватывал его, дотаскивал до туалета с ампирной отделкой и усаживал перед служившей унитазом фарфоровой жабой – единственным сосудом, куда Хумс опорожнялся раз в четыре дня.

Преданность Зума не вознаграждалась должным образом: в конце каждого месяца, с ревом, от которого звенела посуда, по приказу Хумса приглашенные им гости набрасывались на Зума, резали ему брюки сзади, так что показывались кальсоны в цветочек, мочились на него и бросали его на милость бродяг, которые длинными иглами берут кровь у мертвецки пьяных, продавая ее в больницы.

Акк пролезал на банкеты, щедрый на двусмысленные речи и многообещающие взгляды, заводил доверительные беседы, умел обернуться, когда было нужно, то хозяином, то слугой, – и наконец, стал для всех желанным гостем. Его дружба с Хумсом стала такой тесной, что даже Зум мог позавидовать.

В ночи полнолуния маэстро обычно испытывал тягу к вину и тошнотворным закускам и потому выбирался в бедные кварталы, обонял на пустырях запах мочи и не мог удержаться, чтобы не отдаться каким-нибудь подонкам. Акк сопровождал его с револьвером тридцать восьмого калибра в кармане, следил за ним, пока орава простонародья с непристойным хохотом наслаждалась нежным телом Хумса.

Позже Акк издал роман, где поливал грязью своих покровителей. «Да, – отвечал он на упреки, – я – вампир. Вы для меня были только *материалом*, я вас *использовал*... И что? В начале было не Слово, но насмешка. Земли, воды, леса, звери, люди – все это отзвуки того жестокого смеха. Если ехидный Бог использует нас, занимаясь онанизмом, я, созданный по его образу и подобию, имею право убивать скуку, распиная вас точно так же, как он меня».

Толстяк Га увидел, что его лицо и руки в крови, что кроюточат тела друзей, деревья, асфальт... Весь город был



окровавлен. Под красным дождем, разя перегаром, он добрался до того дома, где жила мать Толина. Эта седоволосая женщина, всегда одетая в жреческую тунику, заново разыгрывала историю Эдипа, ложась со своим сыном. Га – слон с кошачьими манерами – кружил возле ее жилища, надеясь подцепить ее, либо кого-то из трех сестер Толина, сонных весталок, которые также принадлежали к гарему скрипача. Они слушали его разглагольствования о Рамо, пили мандариновый ликер, пока разгоряченный и потный мастодонт не выпускал из виду входную дверь.

Га обнаружил изъян в Эдеме, деталь мелкую, но полезную для спокойствия известной части тела: младшая сестра была девственницей и косила на левый глаз. Толин, которому хватало трех остальных женщин, берег ее до наступления полной зрелости. «Да она же косоглазая!», – орал он в кафе «Ирис», даже не пытаясь скрыть свою эрекцию.

(Для Толина матрас, покрытый лиловым шелком, был зачарованным царством, где еженощно он проникал в роскошное тело матери, которое она посыпала гипсом, а в глаза вставляла белые линзы, чтобы походить на греческую Венеру. Этот пустой взгляд, окрашенный пламенем очага, где сгорали листья лавра и вербены, призывали его, полного почительности, он давал довести себя до влажного порога, исчезая затем в объятom пламенем тоннеле, пока ночь не прекращала свой ход и вместе с ней – часы, капли, возглашавшие обескровливание мира, увеличение чисел, скольжение пустоты в сторону пустоты. И снова став зародышем, в буйных зарослях сладкой гардении он ронял светлую жемчужину – свою душу – чтобы потом заснуть, не выходя. Но его уже искали две другие руки...

Жреческая тень растворялась между цветов выюнка, и к Толину прижималось иное тело, но теперь уже жаркое и требовательное, окутывая его, словно кокон. То была Терпсихора, старшая из сестер. Она знала толк в ароматах, и при каждом выдохе из ее рта вырывался новый запах. Толин спускался от подмышек к лобку, к ступням ног – от мятной поляны к лавандовому полю; от глубокого колодца в центре

его веяло кипарисом. Его встречали ладаном и миром, ему предлагали невинность фиалок, гелиотропов, жасмина, и все неизменно заканчивалось теплыми волнами иланг-иланга. Ароматические масла между ее нижних губ распространялись дальше вглубь, образуя пахучую радугу, тугая кожа щедро дарила ему благовония, пока не исторгалось семя, не взрывался ночной сад под напором света, и каждый цветок тогда отдавал сполна свой запах... И тогда он засыпал.

Акробатка Мелопея, вторая сестра, также будила его среди ночи, желая взять свою дань. Скрещивая ноги за головой, так, что они смыкались где-то у пояса, девушка путешествовала по его рукам, по бугристым мускулам, награждая своим лоном, многоцветным, точно готический собор. Он продвигался до предела и оставался неподвижной осью внутри тела, непрестанно менявшего форму. Облако плоти отдавало кончикам его пальцев и губам все, до самых отдаленных своих краев, не позволяя ускользнуть. Толин растворялся в звездном танце, становился Вечным Словом, посылая вихрь галактик в божественную тьму... И тогда он засыпал.

Но когда косоглазая Альбертина, младшая, приходила в подвенечном платье будить его, Толин, бог знает почему, выгонял ее.)

Небольшой магазинчик. Га безжалостно смотрит на нее в упор и говорит: «Я всегда замечал вот это уродство в твоём лице. Ты смотришь на север и на юг сразу, поэтому Толин тебя не хочет». Она плачет у него на плече, он обнимает ее за крепкую талию, ведет ее на холм Сан-Кристобаль, согласно заветам Фрейда, слюнявит ей ухо, бормоча «Сестра моя», тискает ее, убеждает, что все будет в порядке, показывает презерватив, мощным рывком разрывает пленку, словно хочет переломать ей кости, рычит, кончает, женщина больше ему не интересна, и он размышляет о начальных словах «Мифа о Сизифе»: «Есть лишь одна по-настоящему серьезная философская проблема – проблема самоубийства», его разум готов к смерти, пока его тело извергает последние капли семени в резиновый мешочек; Га выбрасывает его в кусты и уходит не прощаясь, разговаривая сам с собой.

Девушка вытирается травой и медленно бредет к себе, не замечая идущего следом карлика. Когда она толкает дверь, человечек трогает ее за плечо. Она оборачивается, и тот, двигая руками перед ее животом, показывает использованный презерватив, угрожая все рассказать, если она не пойдет с ним. Вещественное доказательство кладется у дерева, кошмар повторяется и гном уходит, швыряя кусок резины ей в лицо. Она закапывает опасный предмет, входит в дом, ложится, пьет мандариновый ликер, слушает Вагнера, улыбается, все предстает перед ней в розовом свете: принесенная жертва все оправдывает, косоглазие теперь искуплено, и этой ночью она сможет наконец-то посетить Толина.

Так и происходит: опьяненная голубка, она вытягивается на кровати, ожидая, что брат проникнет в нее с бесконечной нежностью. Оказавшись внутри, он остается недвижим. Они обнимаются до рассвета. С первым криком петуха Альбертина уходит, чтобы брат мог поспать. Днем, колышась, как лепесток, у нее понемногу вырастает новая плева...

Вот так Толин разрывает тонкую перегородку больше тридцати раз, и каждой ночью все повторяется, будто впервые.

А теперь – похороны Ла Роситы!

Для этого организовали денежный сбор. Поскольку шла Святая неделя и все напились, то собранных средств не хватило для вывоза тела из морга – только для покупки места на собачьем кладбище. Там, из уважения к усопшему другу, решили похоронить его Солабеллу.

Для головы соорудили памятник: металлический фонтан, бьющий из восьмиугольного куска дерна. Вода, источаемая ангелом Умеренности, падала на семь листов акации, и те, склоняясь, наигрывали арию из «Мадам Баттерфляй».

Хумс заставил Симону де Бовуар, свою ручную шимпанзе, нести гроб на плече. Ла Роситу засыпали землей. Умеренность пролила слезы под бурым небом, листья склонились, и послышалась музыка – грустнее, чем нужно, потому что один листок оказался неисправным и не хватало ноты «соль». «Царственное светило покинуло небеса, песнь и

наши души», – сказал Хумс и, обнимаясь с Зумом и Симоной де Бовуар, оплакал смерть пронзенного насквозь Ла Роситы.

– Что ты сделал с алхимической жидкостью, в которой хранилась голова? – спросил Зум.

– Оставил у Ла Роситы. У меня на носу появились от нее черные точки, и теперь надо идти к косметологу.

В полночь Хумс, одетый в пальто из мешковины, перелез через кладбищенскую стену с намерением откопать Солабеллу и сделать его своим любовником.

Там был Зум, рывший землю, будто одержимый. Они принялись биться на лопатах и сильно оцарапались, плевали в лицо друг другу, потом тянули гроб каждый на себя, пока крышка не открылась и голова не упала прямо в скопище червей; сквозь гниющую плоть просвечивал череп.

Оба издали протяжный крик на ноте «фа» и, спотыкаясь, побежали прочь, преследуемые Анубисом. Измазанные глиной, они прибежали к Хумсу. В углу гостиной был хрустальный сосуд с алхимической жидкостью, а в нем – задушенная Симона де Бовуар.

Хумс посмотрел на приятеля откуда-то из галактики беспредельной грусти и, подражая кукле чревоуещателя, заговорил, сбиваясь на разрывающий кашель:

– Больная Курица, любимица петуха, насмерть была заклевана своими бывшими подданными, и воробьи не отказались отведать от ее плоти. О, всполощенные серые птицы и голубки цвета жженой сиены, вырывающие друг у друга куски мяса, пока жертва, уже лишившись глаза, подобно тонущему судну, ждет спасительного кукареканья – или последнего удара! Но тут самец покрывает свою новую подругу! И вот наша птица медленно валится на землю – крыло, нога, грудь, горло, голова, предсмертный хрип! – и победительница, окруженная слабыми и лстивыми спутницами, вскрывает ее, роняя яйцо прямо во внутренности... Ты поступил со мной как эта победительница, Зум!

Рыдающий Зум стал биться головой о стенку, ненавидя себя за вечно присущее ему чувство вины.

На следующий день, желая отвлечь Хумса от мыслей о гибели обезьяны, Зум ворвался к нему.

– Меня научили новому способу онанировать! – выкрикнул он с порога и увидел двадцать глубоко возмущенных джентльменов.

– Невежа, ты забыл, что сегодня – заседание Общества любителей полупариков? Доставай свой и проси прощения!

– Но у меня нет с собой!

– Неважно, ты можешь пожертвовать частью волос, чтобы искупить свою вину.

Зум, ворча, вырвал прядь волос и преклонил колена перед каждым членом общества. Когда все двадцать показали свои экземпляры, принявшись обсуждать цены и места покупки, Хумс, крайне церемонно, снял со своей головы накладные волосы, обнажив лысину, украшенную блестками, так, что они воспроизводили гравюру Хокусая.

После поедания сахарных буклей заседание объявили закрытым. Зум остался наедине с мэтром и смог наконец показать ему свой новый способ. На пожарной лестнице продавец жвачки показал ему, как мастурбировать при помощи подмышки.

– Ты не представляешь, что за наслаждение: нежная кожа, глубокая впадина, тепло, волосы, естественное увлажнение, ммм...

Хумс достал дезодорант из ванной, заткнул ноздри и вытолкал Зума за дверь:

– Не возвращайся, пока не опрыскаешься весь! Что это такое – инструмент, пахнущий подмышечной впадиной!

Оскорбленный Зум преодолел больше двух километров, когда наконец Хумс настиг его, угостил коричневым мороженым и утер ему слезы.

– Отгони же прочь ангела одиночества, и да окрасится твоя аура золотом доброты...

Зум, поглощенный лизанием, пробормотал с обидой:

– Говори сколько угодно о доброте, старый обманщик, но... Какого цвета была твоя аура, когда Канфре покончил с собой?

(Канфре был из семьи стальных фабрикантов. Все его родственники по причине наследственного заболевания рано или поздно слепли. Когда Канфре заметил, что теряет зрение, он изучил каждый сантиметр своей квартиры, запомнил детали картин, тексты книг и их место на полках, расположил всю мебель с математической точностью и – уже слепой – пригласил к себе друзей. Притворяясь зрячим, он показывал ковры, листал альбомы, отпускал комментарии по поводу работ Макса Эрнста, смешивал коктейли, рассаживал всех на диванах.

Поведение его было безупречным, но иногда он забывал зажечь свет, и тогда комедия разыгрывалась в потемках. Наконец, Хумс воскликнул:

– Канфре, дорогой, нет ли у тебя свечки? Из-за проклятой темноты я споткнулся об это кресло в стиле Людовика XIV, которое ты мне предложил! Должно быть, оно из железа, потому что теперь у меня ноет мозоль!

Под звон разбитого хрусталя зажгли свет, но Канфре уже выпрыгнул в окно!)

Зум, достань блокнот и запиши то, что я скажу. В «Авадхута-Гите»<sup>1</sup>, принадлежащей Даттатрее, есть такие слова: «Гуру может быть молодым, он может наслаждаться мирскими удовольствиями; он может быть неграмотным, слугой или домовладельцем; но всё это не должно приниматься во внимание. Разве лодка, даже если она не окрашена и некрасиво сделана, не способна при этом переправить своих пассажиров через океан?» Хватит споров, познакомь меня лучше с продавцом жвачки. Сколько штук надо у него купить, чтобы он все показал?

Ла Кабра родился в Вальпараисо. Его отец честно воровал бананы. Его мать, Фига, поливала кока-колой моряков в баре «Семь зеркал».

Когда он приехал в Сантьяго, приятели из столярной мастерской повели его на одно из представлений Хумса. Он

---

<sup>1</sup> «Авадхута-гита» – один из основных индуистских трактатов.

понюхал правую руку Ла Кабры и взволнованно объявил, что именно такой запах исходит от великих художников. Хумс заставил его писать натюрморты по восемь часов кряду, читать, попивая божоле, тоже по восемь часов, а когда тот приходил в бессознательное состояние – на протяжении двух часов употреблял его, одетого как Сабу<sup>1</sup> в «Багдадском воре». Через три года Ла Кабра окультурился и, украв деньги у своего покровителя, сбежал, попытавшись поступить в Католический университет. Ему было отказано в приеме на философский факультет из-за отсутствия школьного аттестата, хотя он в знак протеста, сидя на корточках напротив кабинета декана, прочел на память платоновский «Пир».

Его не трогали, пока он не помочился на притолоку. Тогда проректор сломал об его голову стул, вытолкал прочь, угрожая забить до смерти, если тот вернется. Ла Кабра принял побои без единой жалобы; из носа хлестала кровь, и, лишившись трех зубов, он все же повторял вслух слова Карло Пончини:

«То, что вне времени, достижимо только через настоящее; только овладев временем, мы придем туда, где кончается всякое время. Каждый день бесценен, и одно мгновение может стать всем».

Так Ла Кабра решил сделаться писателем.

Председатель Поэтического общества дон Непомусено Виньяс кинул головку чеснока в соус из угря, попробовал его и с пылающим языком прочитал вслух заявку Ла Кабры, составленную в виде венка сонетов.

В белой тоге и лавровом венке, стоя под портретом президента Республики, Ла Кабра ждал, пока пятьдесят академиков, надушенные, в вытуженных костюмах, вымытые из уважения к музам, закончат аплодировать речам каждого из членов, которые в самых изысканных выражениях, составленных из малоупотребительных слов, приветствовали нового барда, – чтобы затем, после многочасовых ораторских

---

<sup>1</sup> Сабу Дастагир (1924 – 1963) – индийский актер, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Багдадский вор» (1940).

упражнений, принять из рук дона Непомусено петушье перо и лист пергамента, на обороте которого бросалась в глаза огромная надпись: «Спонсор: лимонад „Лулу“».

Поэты рукоплескали, чокались пивными кружками, и, наконец, с факелами в руках, торжественно затянули национальный гимн. Завернутый в чилийский флаг, председатель процитировал Рубена Дарио:

Божественная Психея, незримый мотылек,  
Поднялась из глубин и стала всем на свете...

Пока Виньяс экстатически выкатывал изо рта строки языком, лоснящимся от маринованного лука, Ла Кабра подобрал тогу и наградил его жестоким пинком в зад. Председатель по инерции произнес еще несколько слов: «Психея, ты паришь и над собором, и над кладбищем язычников», – и замолк. Чилийский флаг слетел, словно сухой листок. Все замерли. Ла Кабра принялся топтать флаг.

Поэты забыли о прекрасном, о декламации, о музах, вспомнили свое прошлое боксеров, водителей, картежников и набросились на ла Кабру с намерением переломать ему кости. Но он, похоже, не ощущал боли. Со всех сторон слышалось: «пошел на хрен», «козел», «сука», «пидор», «дерьмо», Ла Кабра же ограничился следующим высказыванием:

– Я думаю о Лотреамоне, о Руми, об Экхартe, о Беме, о Рильке, о Басё, о Халадже. Я показал вам сокрытую доселе зарю, но вы предпочли мрак. Вы не пожелали поведать своему сердцу сокровеннейшие тайны. Ваши души наглухо запечатаны, и вина лежит на вас самих...

Кто-то схватил бюст Уолта Диснея с автографом киномагната – благодарность обществу за «Оду Бимбо» – и с размаху опустил ему на череп. Ла Кабру вырвало на собрание сочинений Гарсиа Лорки, и он впал в беспамятство. Он вновь стал тем же неотесанным парнем, который приехал в Сантьяго работать плотником. Из-под града ударов его вызволил лишь охранник, пришедший с обходом.

Рука и нога загипсованы, лицо раздуто, раны на голове кое-как залатаны, костюм порван в клочья: в таком виде



Ла Кабра появился у Хумса и, не вдаваясь в объяснения, вынул из шкафа мандолину, положил на нее кисть винограда и курицу, взял чистый холст и засел за натюрморт.

Испуская радостные возгласы, все подняли бокалы за возвращение блудного сына.

Зум полагал, что в литературе уже ничего нельзя сделать: «Невозможно превзойти великих». Он сознательно ограничил свой мир: «Пишу о том, что вижу», – но при этом пытался доказать, что в области *видимого* ему нет равных. Он проводил целые часы перед бутоном розы в метафорических размышлениях о потаенном цветке, о притягательном стебле, об их готической страстности, – но в самый ответственный момент его заставляла враспloch вылетевшая оттуда пчела, из-за которой розе уже не остаться в вечности, ибо насекомое унесло с собой ее тайну. Хумс говорил ему: «Как можешь ты говорить о видимом, если *видеть* – значит расчленять произвольным образом, вонзать нож в невидимое целое?» Зум мог только преклоняться перед недоступными его сознанию качествами, пытаться удержать в своих стихах кратковременный восторг мгновения. В итоге предметы от его дифирамбов выглядели жалко. Плод гнил прямо в руках.

Когда Ла Кабра пролил буйабес и зарыдал, уткнувшись лицом в омлет по-нормандски: «Зачем надо было делать из меня художника? Черт бы побрал эту мандолину, виноград и мертвых куропаток! Хочу жениться и успокоиться!», Хумс, как бы не слыша, продолжал:

– Если правда то, что Искатели истины, приходя в деревню, первым делом снимали комнату и подвешивали к потолку картофельный клубень на нитке, а затем выходили на улицу, преследуя две цели: заработать денег и встретить кого-нибудь, дабы поведать ему истину (клубень усыхал, потом падал, и тогда у искателей было два часа, чтобы покинуть это место, новых друзей, учителей и приобретенное там имущество), то, как я считаю, есть и другой выход. Прибыв в деревню, необходимо поместить клубень в сосуд с

водой. Если на нем появятся глазки, ростки, листья, то в этом месте следует остаться навсегда.

Месяцем позже Зум устроил Хумсу и приятелям небольшое представление. За обедом у каждого прибора стоял сосуд с водой: в нем помещался клубень с длинными ростками. Подняв бокал, Зум предложил всем назваться «Обществом цветущего клубня». Все заплодировали, но под конец банкета Ла Кабра взобрался на стол, топча зеленые листки, и поймел Хумса, крича ему сзади: «Ты – сухой клубень! Зачем говорить о цветении? Здесь никто не пустит ростков! Мы уже упали с потолка!»

Зум помог Хумсу спуститься – тот кряхтел и шатался, – уложил его, поставил у кровати горшок и убаюкал товарища, напевая некую смесь из стихов Фаридуддина Аттара<sup>1</sup> и Хань Шаня<sup>2</sup>, положенную на мотив танго Гарделя<sup>3</sup>:

Ты не мертвый, ты не спящий, не живой:  
больше нет тебя!  
Вот дорога в облака  
в пустоте, тра-ля-ля-ля!

Светало. Хумс свернулся клубком и, засыпая, вздохнул:  
– Свет зари... Большая черная бабочка – обломок ночи,  
которой никак не уйти.

---

1 Фаридуддин Аттар (ок. 1142 – ок. 1220) – персидский поэт и суфийский мистик.

2 Хань Шань, по прозвищу Холодная гора, – китайский поэт, живший, как полагают в VII-VIII вв. н. э.

3 Карлос Гардель (1887–1935) – аргентинский музыкант, певец и актер, прозванный «королем танго».

## II. ДРУГОЙ ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ

*Тот, кто щедр и бескорыстен,  
тот от мира не ушел.*

**Вальс паяца Пирипи.**

Кафе «Ирис»: сиреневые стены, немощные официанты подают вино с корицей в лиловых бокалах. Рядом с дверью висят пурпурные халаты, предоставленные заведением. Сотрапезники – породненные общим цветом – ведут живую беседу. Порой кто-нибудь из официантов умирает. Кафе остается открытым, покойника уносят в помещение над баром. В сигарный дым и аромат герани вплетаются слова прощания. На другой день свободное место занимает новый старик и ничего как будто не меняется; встреча со смертью не состоится, посетителям кажется, что, не подгоняемые никем, они встретят в этом кафе конец времен.

Энанита подносит Деметрию букет фиалок:

– Кто ты?

– Я тот, кто кружится возле меня!

– Где ты был?

– В туннеле, одетый во все то, что мне приходилось носить в жизни.

– Куда ты идешь?

– Одни уходят, другие приходят; остаются только камни у дороги.

– В детстве я читала сказку про то, как один рассеянный человек потерял пуговицы. За ним шла женщина, подбирала эти кружочки и ела. Вот наши с тобой отношения, Деметрию!

Поэт предпочитает смолчать, окунув цветы в вино. Затем поедает их.

Энанита ночь напролет пытается щипчиками удалить все линии со своих рук.

– Толин, ты не знаешь, Деметрио собирается ко мне? Вот уже семь дней я никуда не выхожу, ничего не ем, только жду его.

Энанита – единственная женщина, полюбившая Деметрио. Они играли вместе, когда были детьми примерно одного роста. В десять лет она подарила Деметрио свою девственность; тот обожествил ее. Но затем Деметрио вырос, а Энанита – нет.

Он начал стыдиться ее, требовал, чтобы она носила каблуки, с каждым разом все более высокие. С высоты ста семидесяти восьми сантиметров он ненавидел энанитовы стопы. Для Энаниты он был Богом, и она молилась на его фото. Деметрио больше не хотел ее видеть: крошечный рост женщины делал его импотентом. Он мечтал покорить стокилограммовую самку выше себя, чтобы упасть на нее, как *гроуноувлажненный эректолит* и *кувыркательно особачить*.

Толин чувствовал себя неуютно в этой комнате: слишком короткая кровать, узкие окна, вещи, разложенные в полуметре от пола. Все было приспособлено для Энаниты, и потому ее друзья, заходя внутрь, ощущали себя великанами.

– Приду как-нибудь в другой раз.

– Счастливо, Толин. Если увидишь моего Господина, скажи, что я не буду есть и выходить на улицу, пока он не явится ко мне.

Прошла еще неделя. Может быть, голод все-таки заставил ее выйти? Никто не отвечал на звонок. Толин разбивает окно, закрывает газовый вентиль.

– Уходи! Мой Господин не вернется!

– Энанита, одевайся и обещай делать то, что я скажу. Дай мне руку, закрой глаза...

Он вытаскивает Энаниту из помещения и блуждает с ней по улицам, делая крюки и петли, чтобы сбить ее с толку. Затем доходит до лесопарка, взбирается на деревянный мостик шириной сантиметров в пятьдесят и там, на двадцатиметровой высоте, говорит ей: «Смотри!».

Энанита вскрикивает, едва не теряя равновесия, и прижимается к нему. Река Мапочо внизу кажется бездонной. Там

подстерегает смерть, кукла из тряпок и пустых бутылок, сотворенная волнами. Энанита набрасывается на Толина, плачет; он держит ее над бездной, бьет, ругает последними словами, пока она шаг за шагом не достигает берега, побеждая свое головокружение. Они выходят на улицу. Энанита смеется, раскрывает объятия – неизвестно почему.

На углу вокруг фонаря вьется бабочка – такая большая, что поначалу ее принимают за летучую мышь. Молчаливые дети бросают в нее камни. Камень взмывает вверх, падает, ударяется об асфальт. Кто-то бросает его снова. Наконец, Энанита с Толином понимают, что дети хотят не убить бабочку, а разбить фонарь и освободить ее. Толин подбирает обломок кирпича, прицеливается, кидает. Есть! Зажигаются окна, слышны крики, свистки, стук копыт, и Энанита, опережая его, спасается бегством, кидает камни в окна и не прекращает смеяться.

– Гляди, бабочка летит за нами!

Легко маша крыльями, она пурпурной короной венчает голову Толина. Появляется другая, зеленая, и садится на лоб Энаните. Туча бабочек – желтых, синих, оранжевых, – облепляет обоих с ног до головы. Они возвращаются в парк, покрытые мантией из бархатных крыльев – живой радугой.

И вновь Толин чувствует себя гигантом, сидя на миниатюрном стуле. Энанита, распростершись на кровати, смотрит на него.

– Я дарю тебе свое лоно.

Он не желает обижать ее и вынужден согласиться.

Стук в дверь!

– Мой Господин вернулся!

Но слишком поздно. Они занимаются любовью до самого рассвета, а Деметрио – за ним наблюдает крыса из канализации размером с кота – прислушивается к скрипу кровати.

Утром дверь открывается и входит поэт – медленно и величественно. Никаких объяснений. Все пьют кофе, в молчании слушают Бартока. Деметрио срывает со стены бабочку, сдавливает ее, так что между пальцев его течет зеленоватая жидкость. Толин и Энанита делают то же самое. Со свиным

хрюканьем они обезглавливают бабочек, устилая пол мягким ковром, падают, растирают себе лица остатками насекомых, облепляют себя лапками, усиками, крыльями. Покрыв себя маской, Деметрио читает вслух манифест, написанный им ночью под звуки совокупления. Вместе с академической литературой он навеки изгоняет из себя их обоих, а также самого себя.

В этот момент Толин, бог знает почему, вспоминает свою печаль при известии о том, что Арлекин раньше был Гермесом. И вот экс-божество, одетое паяцем, защекотало себя до смерти перед толпой зрителей...

Энанита посетила тридцать три сеанса электрошока, стремясь забыть Деметрио. Лечение зарядами обратилось в дурную привычку, и она стала распродавать мебель, чтобы платить за него.

И все же Деметрио считался с Энанитой: ее преданность была для него пьедесталом. Теперь же, лишенный этого необходимого возвышения, он катится под гору, потерянный внутри мира, спит в чужой постели, покупает в ресторанах несъедобную еду – протухшие бифштексы, увядшие листики салата; лев с внешностью курицы – зубы оставлены на ристалище, – подбирающий крошки, чтобы его, мрачного ворона, считали обычным голубем; и собственное «я» тяготит его больше, чем всегда. Но иногда, перед флакончиками с мармеладом, запечатанными воском, он становится другим. Тогда он возвращается к жизни, распахивает наружу окно своей эрудиции, отпускает шутки на выдуманных наречиях. Но это все равно, что вонзить зубы в здоровенный ломоть мяса и откусить крохотный кусочек. Немного чая, немного нежности! Если он хочет говорить, то выдавливает из себя лишь одно слово: «слово». Он подбрасывает вверх бутылку. Шесть часов готовит листок кориандра. Переодевается в печальные одежды. Плюет на распятие, прямо в лицо Христу. «Я потерялся в небе из-за того, что заботился о вашем содержании!» Запирается с уличной девкой, пытается ее

изнасиловать, но у него не встает. Идет дождь. Комната-колодец. Он ощупывает стены в поисках выхода. Проказа с запахом отеля. По углам шлюхи с кожей светских дам читают проповеди. Он покоряет Хлору в баре «Золотой лев». Хлора хочет бросить ремесло официантки и жить с ним. Они идут в цирк и видят там паяца Пирипи́ – тот наигрывает вальс, бросая монеты на деревянный куб: каждая звучит на своей ноте... Забвения нет! Быть другим, не самим собой, неизвестно сколько времени!

Он придумывает пророка. Пишет на центральных улицах лозунг: «Бедный Ассис Намур достигнет безразличия!», заносит в свои дневники болтовню святого и ждет в подвале. Но никто не приходит.

В полночь приходит американка, нагруженная пакетами: мясо для котов, маленькие бюстики Гете, деревянный магнит, головки пейотля. Она садится перед лжеучителем. Он просовывает руку ей под юбку, вводит в нее большой палец, указательный, средний, безымянный и мизинец. Затем соединяет вместе их кончики и миллиметр за миллиметром погружает в нее кулак. Когда влажные губы охватывают его запястье, он медленно раскрывает руку. Оба смотрят друг на друга взглядом памяти, Деметрио вновь соединяет пальцы, чтобы извлечь их. Он сидит напротив американки, не отрываясь от ее синих глаз.

(Двадцать лет он прожил, не подозревая о том, что существуют цвета. Когда он посещал медицинский институт, чтобы привыкнуть к виду смерти, ему показали эту троицу: женщина с ребенком и мужчина, распластанные об асфальт, разлагающиеся, – атака лилового, тепло-зеленого и гранатового. Влажные тона гниения казались бархатными, под ними пробивалось серое покрытие дороги, – и внезапно, сквозь окно трамвая, весь город наполнился оттенками, Деметрио посмотрел на лица, и те оказались розовыми, оранжевыми, желтыми, и он вспомнил об ирисах своей матери, поняв, что они были сапфирно-синими: из страха перед этим цветом он превратил для себя мир в серое пятно).

Выражение лица американки постоянно меняется, стирая боль Деметрио.

– Прошлой ночью мне пришли на ум такие слова (все, что ему известно, он получает из снов): «Жить, подобно звезде!», «Устранить все поверхностное!», «Дорогу конкретному!».

Он имитирует воображаемый голос Ассис Намура:

– Я всегда опасался «использовать». То, чему я учу, не имеет формы: оно изменчиво. Кое-кто подходил ко мне, прося «знания», – но я не знаю ничего. В согласии с законом, я даю лишь то, что мне позволено дать. Но, получив это, меня ненавидят.

Американка отвечает:

– Все подвижно и в то же время устойчиво. Пищеварительные органы безличны: их обязанность – давать мертвую пищу, более мертвую, чем когда-либо, существам, готовым ее поглощать. Но ты не таков. Ты глотаешь одну лишь кровь – ту, что течет вопреки земному тяготению. Пища сплетается воедино, оставаясь живой. Они вошли в сговор со смертью и понемногу убивали тебя. Горестный, как шлюхи, ты не можешь возразить. Вот что значит – предавать и выдавать секреты. Если я – девять врат, открывай меня, пока хватит ключей, и каждый раз я буду другой.

Американка раздевается. Гладкое и белое, как яичная скорлупа, тело, струясь, призывает его.

– Звезды сияют, не заботясь о непрозрачности планет.

Отныне они живут вместе. Месяцами не выходят из подвала. Однажды утром американка сбегает, оставив на стене картинку: слон, нарисованный соплями. Она звонит Деметрию из вашингтонской психбольницы в четыре утра:

– Голубки становятся плотоядными. Я не хочу заснуть в тридцать лет и проснуться в пятьдесят. Я перешла в иной мир. Каждый шум имеет свою окраску, каждый образ – свой вкус, каждый запах – свою форму. Я займусь изучением столетий. Я преодолеваю больше ступенек вверх, чем вниз, но все равно спускаюсь.



Деметрио получает телеграмму с вестью о самоубийстве: американка завещала ему белую янтарную змею.

Чтобы оплачивать сеансы электрошока, Энанита устроилась журналисткой в «Меркурио». Героиня первой же ее статьи, актриса, ворвалась в редакцию, облила кислотой пишущие машинки, надавала главному редактору пощечин и заставила его съесть текст, озаглавленный «Один день с Дианой Доусон».

«Доусон говорит, что ей сорок три, но на самом деле ей шестьдесят пять. Она только что снялась в любовной истории.

Я поджидала ее во дворце, где живут шестьдесят пять кошек, соответственно числу прожитых лет.

Актриса вылезла из машины скорой помощи в горностаевом плаще до пят и шляпе-скафандре. Ни одного сантиметра кожи не проглядывалось. Из-под плаща вырвалась связка ключей, а из-под шляпы – порция ругани:

– Распакуйте и не забудьте, что где лежит! Я не хочу думать об этом! Я думаю только о своей внешности!

Шестеро слуг разглаживают ее одежду днем и ночью, потому что актриса не выносит вида складок. Я вышла купить ей слабительного. Когда я вернулась, Диана Доусон, обнаженная, протирала свои нижние губы, свисавшие, точно собачьи уши.

Я хотела приступить к интервью, но актриса перебила меня:

– Поставь мне клизму!

Она вылила в аквариум три литра лимонада и принялась смывать макияж, сняв закрепленную под париком резинку, которая поддерживает ей двойной подбородок.

Я оставила звезду дремлющей и что-то бормочущей, с прижатым к щеке собственным фото в пятнадцать лет.

Может быть, однажды она все же ответит на мои вопросы...

(Продолжение следует)»

Остальные статьи были сожжены в присутствии адвоката актрисы.

(Когда продюсеры потеряли девять миллионов долларов на мюзикле «Дафнис и Хлоя», где Доусон исполняла роль четырнадцатилетней девушки, ей пришлось перебраться в одно лос-анджелесское кабаре.

Она выходила на эстраду голой, двигая светлым лобком. Потом свет перемещался на рот, сжатый в виде буквы «О». Высовывался длинный мокрый язык, гибкий, словно угорь; он извивался, дрожал, спазматически скручивался, вылизывал воздух в течение получаса.

Публика, наэлектризованная этим порношоу, испускала крики при виде нитей слюны.

Имя Дианы Доусон исчезло с афиш, замененное другим: «Язык Матери». В конце концов, танцевальный пролог упразднили, и с самого начала свет направлялся на губы, а прочие части тела оставались во мраке.

Актриса выказывала столько пыла, что однажды ночью откусила язык, выплюнув его в публику.

Он оказался в бокале со сладким мартини).

Сидя рядом с Энанитой в кафе «Ирис», Толин – желая ее разговорить, а заодно не дать ей приступить к пятой бутылке вина, – спросил:

– Как ты познакомилась с Деметрио?

Услышав это имя, Энанита словно выкарабкалась из пропасти. Она вычистила гной из опухших глаз, погляделась в ложку, привела как могла в порядок платье, прожженное во многих местах сигаретами – они выпадали изо рта, когда Энанита валилась лицом на стол, – и пробормотала:

– Мы оба родились в Токопилье, близ медных копей. Когда задувал ветер, вагонетки с рудой раскачивались, осыпали золотым дождем беспокойные толпы нищих; они жили тем, что извлекали металл и выделяли из него разные предметы, которые американцы – владельцы копей – запрещали им продавать. Дома, мебель, посуда, – все у них было из меди. Они ходили в начищенных до блеска латах и при каждом движении издавали звон, похожий на колокольный.

Я видела, как Деметрио уцепился за хвост кометы: ноги сомкнуты, руки раскинуты, – распятый, да и только.

Я перебралась через решетку пустыря – посмотреть, что же его возносит ввысь, – и натолкнулась на Кристину, безумную служанку, которая могла делать из воздуха различные вещи. Каждую ночь она лепила что-то в пространстве, сотни раз дотрагиваясь руками до одного и того же места, вытягивая, разминая, сжимая. От ветра осыпалась мука, которой она пудрилась, белый прах падал перед ней, останавливался на подороге, облеплял скульптуру.

Деметрио приказал мне влезть на комету. «Я покажу тебе кладбище самолетов». Мы пробрались внутрь полого облака и там обнаружили старинные аэропланы, – машины времен первой мировой. В кабинах – мумии летчиков: руки на рычагах, пустые глаза под очками, истлевшие куртки, вскрытая грудь, где спали летучие мыши. Деметрио издал негромкий крик. Вампиры забили крыльями, тела зашевелились. Негнущиеся руки задвигали рычагами, самолеты стали выделять пируэты в облаке, пока животные не успокоились.

Мы посетили публичный дом. Проститутки на верхних этажах заставляли ручных пауков размером с кошку источать слюну, нити которой спускались на мостовую. Моряки, проходя через калитку, задевали за них, каждая издавала почти неслышный звук, но звуки накладывались один на другой, и весь квартал, превратившись в арфу, томно вздыхал.

Мы побывали на празднике Гаргульи: флаги, ятаганы, тюрбаны. Она дала нам наваху и упала, голая, навзничь на кровать. Мы срезали по прядке с ее громадного лобка и приклеили их на безволосую голову Бога-младенца. В соседней комнате моряк умер, занимаясь любовью. Проститутки купили гроб, окружили его свечами. Гаргулья расстегнула покойнику брюки, отсекала ему член и преподнесла, завернув в цветную бумагу, Деметрио. Мы отправились на кладбище – семиэтажную башню, возведенную близ шахты, – соорудили небольшую могилку и захоронили тело. Деметрио набрал несколько красных ящерок, казавшихся в его ладонях каплями крови, и, скрестив руки, затянул песнь птицы Феникс.

Большие краны подняли дома из меди, и нищие, до пояса погрузившись в море, стонали, видя, как охранники конфискуют ценный металл для компании. Были видны ярко блестящие кровати, светлая посуда, музыкальные инструменты. С каждым снесенным домом нищие делали шаг вперед. Когда приехал бульдозер и все разровнял, они утопились в океане...

Рыдания надолго застряли в ее горле, не решаясь вырваться наружу, и растворились только после полбутылки красного.

– Как ты, Энанита?

– Его отсутствие, когда он был рядом, превратилось теперь в присутствие, и мне надо, чтобы он снова сел рядом со мной и я смогла его позабыть.

### III. БАНКЕТ И ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

*Обрубив все концы, ты можешь связать себя  
прекраснейшими в мире узлами.*

**Зум (последние слова из его дневника)**

Деметрио, Га, Толин, Энанита, Зум и Ла Кабра обрывали звонок каждые полчаса, днем и ночью, – но Хумс не отворял. Пришлось без него отправиться на могилу Ла Роситы, дабы украсить ее искусственным венком, причем для цветов использовали страницы книги со статьей о Карло Пончини, вырванные по такому случаю в Национальной библиотеке. (Священник церкви Святого Франциска разрешил похоронить самоубийцу на католическом кладбище в благодарность за неожиданный приток средств, доставленных ему пресловутым копьём: легионы голубых притекали, чтобы поцеловать это орудие и быть счастливыми в любви, – и приносили в церковь свой скромный обол).

Возвращаясь с места упокоения Хумса, процессия наткнулась на русского весом в два центнера, одетого псом Сан-Бернардо. С шеи его свешивалась пятидесятилитровая бутылка водки, из которой он пожелал влить в глотку каждому скорбящему. Зум решил прихватить русского с собой в подарок Хумсу.

Они выломали дверь квартиры и ворвались во главе с русским, бутылкой и ящиком облаток, обмазанных яичным желтком. Хумс завопил, не надо, мол, никакого света, – но друзья-приятели, завывая грегорианские песнопения, зажгли двенадцать восковых свечей. В центре гостиной возвышалась девушка из железа!

Хозяина успокоили, заставили выпить водки, преподнесли ему русского. Хумс немедленно подыскал объяснение происходящему:

– Се алхимическая печь, где сатанинская гниль обернется Багряным Христом...

Он раздул угасавший огонь, что согревал живот металлической девушки, и затушил свечи.

– Свет рождается из тьмы. Мой священный тигель донесет Новый Глагол до самых растленных уголков мира...

В этот момент дева с глухим шумом покрывалась трещинами, покачнулась и провалилась без видимой причины, оставив после себя черную дыру. В это отверстие стали падать мебель, книги, фарфоровая жаба. Хумс с друзьями уцепились за унитаз, в то время как ненасытное жерло поглощало ботинки и носки. На ногах удержался только Сан-Бернардо, – благодаря своему весу он успешно сопротивлялся засасыванию. Он приподнял бутылку и попытался отхлебнуть из нее, – но сосуд был отнят от его губ и тоже исчез в пропасти. Возмущенный русский затряс кулаком. Щель затянула его руку, и меньше чем за минуту колоссальное тело исчезло. Затем дыра закрылась со звуком отрыжки, извергнув назад только жабу. Выжившие всхлипывали. Хумс помолился среди голых стен:

– О Владычица, отнимая, ты награждаешь!

Чтобы успокоить нервы, все отправились в немецкий ресторан.

В детских слюнявчиках с портретом Вагнера, повязанных им на шею фон Хаммером, владельцем заведения, приятели принялись пожирать фирменное блюдо: *Gebratene Würstchen mit Kartoffel Salad*<sup>1</sup>. Появился струнный квартет и начал наигрывать вальс паяца Пирипипи. И наконец подали вино!

– Совершим же возлияние в честь русского по имени Сан-Бернардо. Этот волшебный пес возник из Пустоты, дабы утолить людскую жажду, и вернулся обратно в Ничто, промелькнув настоящей слезой в нашей юдоли крокодилов, – сказал Хумс.

Все пролаяли мелодию Палестрины и выпили пол-литра. Опытный садовник продолжал:

---

<sup>1</sup> Жареные сосиски с картофельным салатом (нем.)

– В память ушедшего предлагаю каждому произнести речь, восхваляющую Любовь...

Деметрио, украсивший голову квитанциями из ломбарда, подрезанными, чтобы напоминать листья лавра, изобразил задумчивость греческого философа, обнажив фиолетовые десны.

– Эриксимах в платоновском «Пире» говорит, что человек должен любить прекрасное. Неверно! Прекрасное – это именно то, что человек любит. Уродливое же – то, что пока еще не удостоилось ничьей любви. Не красота притягивает любовь; напротив, любовь делает прекрасным все, на что направляется. Красивое самодостаточно, «низкое» же требует всего пыла нашей страсти, способной его облагородить...

Но закончить он не смог: Энанита с помутневшими от слез очками кинулась ему на шею.

– Люби меня, ибо я самое низкое существо!

Пока Деметрио пытался стряхнуть Энаниту, Зум тоном стюардессы указал ему:

– Как ты можешь заявлять перед всем городом, что не встречаешься с Энанитой, когда она, невзирая на все твои уверения, ждет ребенка! Признай же, что ты – его отец, и не веди себя, как лишенный родительских прав!

– К этому зародышу я не имею отношения! – прорычал Деметрио, позеленев.

Ла Кабра во внезапном приступе одержимости решил задушить парочку. Пришлось обрушить ему на голову арбуз. Энанита не унималась:

– Это ребенок Деметрио! Я зачала его, думая о моем господине!

Ла Кабра весь изошел слюной:

– Лживая сука! Он мой! Меня от твоего роста не воротит, да и ты не отказывалась от моей палки, смазанной зеленым маслом!

Энанита умоляла Деметрио, уткнувшись носом в грудь Ла Кабры, словно тот был из стекла или не существовал вовсе:

– Сжался надо мной... Твое Имя запечатлено там... Вспомни... Исписанный холм...

(Га соблазнил десятилетнюю девчонку. «Она ростом с Энаниту. Мы можем вчетвером совершить экскурсию к исписанному холму, Деметрио, и я надеюсь, что ты останешься доволен». Они подошли к дому, присыпанному песком. Из проигрывателя доносилась музыка, продавали пиво. Обе женщины, привстав на цыпочки, танцевали, прижавшись щекой к склоненным над ними мужчинам. Га рассказал историю ребенка-птицы. Родители хотели, чтобы он стал человеком, но он сам мечтал о жизни птицы. Под простыней он прятал гнездо, сделанное из перьев подушки. Ночами он прилипал к оконному стеклу, вместо слез по его лицу катились крошечные глаза. Энанита сбежала в птичник, откуда виднелся исписанный холм. «Никто не расшифровал надписи на нем, Энанита. Это послание – загадка для всех». «Я знаю, что говорят об этом, Деметрио». И она рыдала, не замечая, как куры щиплют ее за ноги. «Утром ты уйдешь, а я останусь здесь. Под холмом лежат камни, пустившие корни. Все пускает корни во мне, даже мои очки. Твой орган растет в моем животе, будто дерево, его ветви пронзают меня, его листья забивают мне легкие». И вот Деметрио видит, как куры склевывают Энаниту, стоящую, скрестив руки, лицом к холму; изо рта ее торчит, словно хобот, толстая ветка с каменными листьями, и на каждом вырезаны восемь букв его имени).

Деметрио с глазами, где отражались чувства настолько сложные, что никто не смог их определить, – только насмешник Зум, кривляясь, пропел: «рас-ка-я-ни-е!» – обнял Энаниту со словами благословения. Затем подставил левую щеку Ла Кабре, который прописал ему крепкую пощечину. Подставил правую, и Ла Кабра поцеловал его. «Эвоэ!» – проорал Га, облив философов красным вином из бутылки. «Крещение! Огнем и вином!» Энанита раскрыла объятия и прижалась к стене. Хумс повел мраморно-белой рукой, элегантно расстегнул ширинку и направил желтую струю прямо на мученицу. Та впала в транс и пошла выпрашивать милостыню у сотоварищей, обливавших ее по очереди мочой.



На страницу низвергались потоки жидкости под аккомпанемент дружно затянутой генделевской «Аллилуйи». Вернувшись к стене, откуда начался ее путь, она вновь раскрыла объятия:

– Охота близится к концу, лисица затравлена собаками, ей некуда бежать... Что она делает?

– Падает наземь и ждет чуда! – откликнулся Зум.

– Взбирается вверх по стене! – предположил Деметрио.

– Прыгает и взлетает в воздух! – промычал Га.

Энанита приблизилась к своим слушателям:

– Лисица идет навстречу собакам, которые пожирают ее. Она рада стать пищей. Это полное самоотречение и есть Любовь.

И Энанита распростерлась на столе: «Пожирайте меня!» Ее обмыли писательским супом, чтобы изгнать запах мочи. Ла Кабра взял слово, стараясь изо всех сил держаться на ногах:

– Я скромно напоминаю, что Любовь – это прежде всего любовь к родине, где мы увидели свет...

Словно по телепатическому сигналу, все запели национальный гимн:

– Земля, в которую мы ляжем...

Тут последовал другой сигнал, вполне обычный, исходивший от Хумса. Все скопом кинулись на Ла Кабру. Когда его как следует связали, Толин смог выступить тоже:

– Говоря о Любви, я отношу это слово к своей матери...

– Заткните ему рот!

Только лишь в рот Ла Кабры засунули смоченную коньяком салфетку, как прибыл, шатаясь, пьяный Акк и вместе с ним – двенадцать музыкантов симфонического оркестра, игравших «Волшебную флейту» начиная с конца.

– Мы пили Шанель №5, – заявил Акк, – но я вижу, что пришел к середине пира, подобно Алкивиаду. И чтобы остаться в кругу платоновских ассоциаций, я вознесу хвалу Хумсу.

– Чего ты хочешь, Акк? Выставить меня на посмешище?

– In vino veritas, маэстро.

– Тогда начинай немедленно!

– О мудрейший творец толстолистой орхидеи, первое, что я восхваляю в тебе – это твоя хрупкость, несомненная, но готовая обернуться беспредельной твердостью. С восхищением вспоминаю я тот день, когда Ла Кабра, в ярости от своего унижения – он перепутал Достоевского со Стравинским, – приткнулся к окну твоей квартиры, угрожая кинуться в пропасть. Сорвав с ноги лакированный ботинок, ты изо всей силы принялся колотить его по пальцам. Обратившись в смиренного кота, Ла Кабра, цепляясь за стены, дополз до гостиной... Хвала тебе...

Я не в состоянии продолжать, ибо в этот момент фон Хаммер и еще двое, не скованные сном, – Аламиро Марсиланьес и Эстрелья Диас Барум – ворвались в комнату с факелами и нацистскими флагами, вытянув руку в арийском приветствии, толкая перед собой в тележке меренговую свастику.

(В генеалогическом древе Марсиланьеса имелись испанский конкистадор, президент Республики и дедушка-миллиардер. Отец его, перед тем как стать обитателем психушки, утопил большую часть своего состояния в горячем источнике, откуда намеревался разливать воду по бутылкам, придавая ей вкус меди, железа и никеля. Прохладительный напиток не получил популярности в народе; специальные киоски выдавали его бесплатно, но только дети, по родительскому заданию, брали по три бутылки, ибо за это полагалась премия в десять песо. Наш кабальеро, тем не менее, упорствовал во внедрении обычая пить металлическую воду, пока на него не надели смирительную рубашку. Так или иначе, оставшихся денег Марсиланьесу хватило, чтобы ходить на вечеринки шесть дней в неделю, а по воскресеньям – отдыхать. Он так и не обзавелся невестой, поскольку, выпив лишнего, отвинчивал свою пластмассовую руку и, стуча ею по столу, требовал молчания. После чего задавал метафизический вопрос: «Кто мы и где мы?», переходя затем к фразам, пародировавшим Бог знает что: «Капуста – это также и роза», «Можно сказать, чернота, но мы говорим, и так

далее», «Я никогда не забуду эту ночь этой ночью»; заканчивалось же все торжественной клятвой, что он сидит там, где прекратил движение. Однажды Марсиланьес принялся переписывать свои рассказы, обнаружив, что понятие «Долг» наполнено, а понятие «Обладание» – пусто. Прилично одетый, с девяти до шести он работал секретарем у одного архитектора. От шести до двенадцати ночи, с крюком на месте пластмассовой руки и в пиратской шляпе, он превращался в грозу баров по прозвищу «Черные сиськи». Виртуозно удерживая равновесие, он опустошал один бокал за другим, оскорбляя посетителей в таких выражениях, что срывал аплодисменты: «сеньора, я тоже был бабочкой: поговорим как корова с коровой!», «уважаемый, когда вы передо мной, я кричу от ужаса, думая, что вы – зеркало!». Так все продолжалось, пока в «Золотом льве» он не повстречал Эстрелью Диас Барум, поэтессу-детектива.

Увидев ее, он сразу же захотел погрузить свои руки в огненную шевелюру, освещавшую унылое помещение с полом, посыпанным опилками. Он мечтал крутить ее бесстыдные соски, большие, как две ноздри, просвечивавшие из-под футбольной майки; в похотливом нетерпении ему даже казалось, что они шумно дышат. Он сполз на пол, чтобы посмотреть на нее из-под стола, уставил глаза на розовую раковину, крошечное чудо, спрятанное между могучими мускулами кобылицы и мирно спавшее в лиловом полумраке потертой короткой юбки – трусиков под ней не было. Жаркий взгляд заставил бутон раскрыться, окружил его ореолом шелковистых лепестков, вызвал дрожь в четырех янтарных губках, покрытых росой. Лоно задышало подобно химере, испустило стон. Отбросив сомбреро и крюк, Аламиро навсегда похоронил «Черные сиськи». Он выхватил нож, достал из сумки искусственную руку и проткнул ее лезвием, – пронзенное сердце! – прямо над листком бумаги, на котором Эстрелья набрасывала свои одиннадцатисложники. Та затулилась гаванской сигарой, выпила пол-литра пива и, не поведя ни единым мускулом лица с причудливыми зелеными

татуировками, принялась жужжать. Жужжать! Марсиланьес упал на колени, подполз на четвереньках к овалу, одарившему его улыбкой, и принес на это святилище поцелуй – символ своего возрождения.

Североамериканские инструкторы из Штрейкбрехерской бригады обучили Эстрелью Диас Баррум ударам, способным повалить быка. В кишках одного из рабочих она прочла предзнаменование – и сменила полицию на поэзию. Перейдя к сочинению александрийских стихов, Эстрелья утратила агрессивный настрой, но не мускулы. Когда рифмы утомляли ее, она схватывалась на равных с профессиональными борцами. Если что и спасло жизнь Марсиланьесу, так это ее преданность. Когда женщина оторвала его от своего лона при помощи убийственного кулака, Аламиро прозрел в этом действии божественное дуновение и решил двигаться, отталкиваясь от пола, стен, столов, полный решимости повиноваться толчку, исходящему от Нее, до самого конца жизни. Такой способ передвижения разрушил бы бар до основания, и хозяйке пришлось отключить его ударом бутылки. Аламиро проснулся голый, под распятием (четыре таракана, приколотых булавками), на тощем тюфяке женщины-поэта.

– Теперь ты – моя муза, – сказала она. – Мы станем жить ночью и спать днем. Я буду царапать тебе спину, сочиняя стихи, и через страдание ты постигнешь суть моей поэзии. Ты волен вставлять мне во все дырки, но только не во влагалище. Оно – для человека с божественным ликом. Ты займешься добыванием еды, я же позволю тебе пить мою слюну.

Марсиланьес продал то немногое, что оставалось у него: земельный участок, акции рудников, драгоценности, мебель. Он поселился в пансионе, в комнате номер тринадцать. Денег имелось ровно на одно блюдо фасоли и четыре бутылки вина ежедневно. Еще у Марсиланьеса был запечатанный флакон. Эстрелья открыла его, пока возлюбленный спал, нашла там нечто, похожее на муку и подумала, что это – съедобный порошок. Запах ей понравился, и она съела содержимое. Позже Марсиланьес обнаружил, что урна с останками его матери пуста.

– Любить – значит любить то, чего нет! – провозгласил фон Хаммер, мужчина атлетического вида, хотя никто его об этом не просил. Я пою о будущем, о Военном Правлении, способном расположить звезды в виде свастики, занимающей полнеба!

– Отлично, – сказал Хумс шелковым голосом. – В ожидании столь грандиозного события удовлетворимся пока свастикой из меренг.

Они разделили ее на части, завывая партию из «Лоэнгрина», обнажили свои клыки, готовясь вонзить их в кушанье, отбросив всякие политические предрассудки, но тут земля затряслась, и слюнные железы у всех мигом пересохли.

По полу пошли волны, комната обратилась в свод, а все, что свисало с потолка или стен, – в подобие маятника. Пыль осыпала собравшихся, столы и стулья взметнулись кверху, смешавшись там с обломками крыши. Когда погасло электричество, философы вышли из замешательства и, торопясь, прыгая, толкаясь, столпились у дверного косяка, обнявшись вокруг огонька спички – такого же слабого, жалкого, недолговечного, незначительного, как и они сами, по сравнению с этим приступом рвоты, случившимся у неумолимых сил. Хумс и Зум затагнули молитву Богородице. Ла Кабра, рыдая, рассказал о смерти своего отца, хотя никто его и не слушал:

– После парада в день 18 сентября папа отправился веселиться с одним кавалеристом. Они пили пунш в каждом кабаке, чтобы посмотреть, кто выдержит дольше. Когда тот тип рухнул на пол с рыбкой, кем-то вставленной ему в задницу, мой старик увел у него коня. Он забрался вместе с жеребцом на третий этаж, но мы ничего не слышали, потому что плясали куэку во внутреннем дворе. Отец закрыл дверь спальни на ключ и хотел уложить коня в постель, чтобы спать в обнимку с ним. Но животное, обезумев, проломило ему копытами череп...

Га тяжело задыхался, борясь с приступом астмы. Акк бегал туда-сюда, стараясь не споткнуться о куски стен. Дрожащее пламя спички усиливало суматоху. Эстрелья Диас Барум оценила это и отпустила такое словцо, какое еще никогда не

доходило до ушей Аламиро. Затем скинула юбку – сокращая мускулы влагилица, она могла заниматься чревоуещанием, – и перед ошеломленными зрителями возник черный трюгольник, откуда несло:

– Все погибнут, ибо не стоят ни гроша!

Если землетрясение привело собравшихся в ужас, то вагина-предсказательница сразу же вызвала клаустрофобию. Эстрелья остановила паническое бегство, усевшись на стул прямо у запасного выхода. Ее нижние губы вытянулись в трубочку, словно для укуса.

– Стой! – пророкотало говорящее лоно.

Мужчины упали на колени, прикрывая кое-какую часть тела из страха быть кастрированными. Только фон Хаммер, коричневый от гнева, выхватил револьвер и вставил дуло Эстрелье в дырку:

– Грязное очко, не вздумай предсказывать мою смерть! Я и сам все отлично знаю: из-за твоей тупости ты получишь пять пуль, а шестую я пушу себе в висок!

Аламиро Марсиланьес попытался закричать, но смог издать лишь свист. Поняв, что никто не способен остановить немца, он решил слизать побольше вина с пола и стал причмокивать языком, напевая одновременно «Singing in the rain», пока ярость нациста не прошла и он не спрятал оружие. Землетрясение сменилось тишиной, настолько непроницаемой, что слышен был лай собак во всех концах города.

Аламиро успокоил пострадавшее лоно при помощи кубика льда. Не заметив ничего, музыканты симфонического оркестра по-прежнему спали, привалившись к своим инструментам, украшенным салатными листьями. Банкет закончился. Сотрапезники расходились молча, пытаясь заткнуть отверстие в осыпавшейся стене, сдерживая лавину возникших вопросов – насчет старости, нищеты, боли и смерти. Уже светало.

Хумс предложил:

– Сегодня в бенедиктинском монастыре посвящают в монахи нашего друга Лауреля. Давайте посмотрим, как омывают ноги юному иудею!

(Когда сгорела «Комбате» – лавка в рабочем квартале, где Лаурель Гольдберг, так же как Ла Кабра, страдал восемнадцать лет, он лишился большей части своей памяти. Но он не забыл яркую вывеску, намалеванную его отцом: два бульдога, раздирающие на части трусики некоей дамы, что должно было символизировать прочность продаваемых в лавке товаров. Не забыл Лаурель и самого отца, перерезанного поездом ровно напополам. Уволенные им служащие поставили верхнюю часть тела на бочку и надели на голову сложенную из газеты треуголку. Одну руку сложили на груди, другую же воткнули в зиявшую внизу рану. Затем они играли в футбол его печению...

Иногда являлись и другие воспоминания.

Серулея, бабка Лауреля, окруженная индианками, вышла из спальни, топча фотокарточки, испачканные камфорным спиртом, кровью, испражнениями. Ее повели в ванную, но, проходя через столовую, она не смогла сдержаться и вытошнила клочок волос. Торговец травами обитал внутри пирамиды из бутылок: в каждой из них плавал какой-нибудь червь, которого торговец извлек из собственных внутренностей... Отец месяцами склеивал почтовые марки в огромный шар, который однажды прикатил к дому, словно жук-навозник... Мать выбрала нужные материалы, нашла фабрику и слепых рабочих – изготовить зеркало, куда не смотрелся бы никто до нее...

Больше ничего не вспоминалось.)

После пожара дом обуглился, но остался стоять. Когда Лаурель прикоснулся к одежному шкафу, тот превратился в груды черной пыли. Остался лишь прозрачный материнский корсет, чудом сохранивший свою форму. Лаурель подул на него и выбрался вместе с ним через дыру в крыше. Тут налетела стайка воробьев и склевала корсет прямо в воздухе.

Семья Лауреля вся погибла в огне. Он стал бродячим кукловодом. Но его мини-опера, где холодная кокетка Изольда влюблялась в мужчину с зеркалом вместо лица, не имела никакого успеха.

Лаурель стал захаживать к Боли, двоюродной сестрице. Полгода он заплетал ей тайком косички на лобке, пока бабушка ткала шерстяную накидку с большим алефом... Наконец, явился фон Хаммер, сломал нос отцу семейства, похитил девушку, а Лаурелю предложил бежать с ними – в автобусе, что направлялся к пляжу Альгарробо. Тому казалось, что он ненавидит фон Хаммера, но когда немец произнес, дотронувшись до живота Боли: «Поезжай с нами – так для нее будет безопаснее», – всю его ревность как рукой сняло.

Немец не впервые имел дело с девушкой. Он уже пытался похитить одну. Родители-иудеи заставили дочь сделать аборт. Та постриглась в монахини. Семья заплатила раввину, чтобы тот рыдал, пока хоронят гроб с фотографией отступницы.

Боли рассказала брату, что, когда отец повалился наземь со сломанным носом, они с немцем совокупились стоя и успели все меньше чем за минуту. Фон Хаммер позвонил, Боли вышла, и все произошло прямо у двери. Потом Боли вернулась сообщить, что кто-то ошибся номером дома.

По приезде в Альгарробо немец забрал их в замок, выстроенный среди скал на другой стороне залива. В замке их встретила старуха, говорившая только по-французски. «Это приятельница Клоделя, – объяснил фон Хаммер. – Она тут прибирается и пишет труды о средневековых бестиариях». Женщина отвела им две комнаты. Потом, откинув занавеску, показала большое гнездо на балконе, нависавшем над водой, – в это время Боли с немцем быстро занялись любовью. Только один застегнул ширинку, а другая подняла юбку, как писательница обернулась к ним:

– A minuit un pélican vient nourrir ses enfants du sang de ses propres ailes<sup>1</sup>.

В полночь парочка зашла в комнату Лауреля – поглядеть на птицу. Птенцы и вправду пили кровь матери.

---

<sup>1</sup> В полночь пеликан кормит своих птенцов кровью из собственных крыльев. (*фр.*)



– Боли чувствует холод в животе. Твое невинное тело теплее моего. Она будет спать здесь.

Фон Хаммер удалился. Боли, всхлипывая, потянулась к Лаурелю, прижавшись животом к его члену. Тот закрыл глаза и лежал неподвижно, пока не появился немец с каким-то незнакомцем.

– Жди нас на пляже.

Лаурель не стал задавать вопросов и спустился к морю. Поплавал. Покидал камешки в отражение луны. Выбравшись на берег, он заснул и пробудился лишь к вечеру. Побрел обратно в замок.

Комнаты были пусты. Лаурель вошел в спальню. На кровати лежал младенец: руки скрещены, личико напудрено, веки подведены, волосы заплетены в кукольную прическу. Это была девочка, похожая на Боли. Лаурель взял ее на руки, поцеловал красные от помады губы, бросил голодным птенцем пеликана и уехал в Сантьяго на последнем автобусе.

Проезжая по городу, он по-новому видел церкви. Они вызывали теперь все большее волнение, точно преследовали его; двери некоторых храмов пытались засосать Лауреля внутрь. Войти он не мог: останавливался перед величественными сооружениями и тут же бежал прочь. С чувствами, обостренными до предела, он приблизился к кафедральному собору – и увидел его плоским: все острые зубцы, прямые линии, выступы обратились в шахматную доску. Левая башня – единственная, сохранившая объем, – огромной ладьей тянулась к нему, пульсируя. Не убежать, – понял Лаурель. Все пути отрезаны. Шах и мат. Он зашел в собор, поискал священника и тут же обратился.

И было ему видение:

Он идет с трудом, голова и руки едва не падают, спина сгибается. Он не может оторвать ног от земли, встает на колени, затем распластывается ничком, тяжесть давит на него сверху, он проникает через гранит, через металл, к самому центру планеты, – и его расплющенное тело становится земным сердцем.

(Выйдя из церкви, он открыл рот; оттуда вывалились груди его матери).

Разрушенный ресторан закрылся. В грузовике, украшенном зелеными ветками, намереваясь выпить по пути три ящика «Конча и Торо», Га, Толин, Энанита, Деметрио, Акк, Ла Кабра, Хумс, Зум, Аламиро Марсиланьес, Эстрелья Диас Барум и фон Хаммер направились напрямиком в Анды.

## IV. ЧУДОВИЩНЫЙ ХРАМ

*Я умру без тревоги, если буду знать, что миру конец, что я  
последний из людей, что никто не переживет меня и все  
уйдет в вечность со мной.*

**Акк – Толину, испражняясь под фиговым деревом.**

На рассвете, когда грузовик взбирался по серпантину пахучей грунтовой дороги, оставляя за собой облака пыли, оглушительное щелканье птиц привело Эстрелью Диас Барум в чувство, и она пожаловалась на разрыв своей плевы. Фон Хаммер, озабоченный лавированием между крупными камнями, совершенно не удостоил ее вниманием. Используя Марсила-ньеса как матрас, поэтесса издала свой последний стон:

– Мы занимались сокрытием с уверенностью, что никакой Тайны нет. Мы запечатали Аркан из боязни найти его пустым...

И ее храп влился в общий хор. С гор спускалась вереница черных туч. Резкие запахи, кваканье, щебет, беспокойное ржание смешивались с теплыми испарениями. Две болотные летучие мыши летели за машиной. Наши путники уже проехали несколько заброшенных деревень, но теперь эта обезлюдившая местность, благодаря искусству тумана, приобрела зловещий вид. Встревоженный фон Хаммер понял, что в этом грандиозном концерте не хватает человеческой партии: ни разговоров, ни криков, ни смеха. Собаки были привязаны возле дверей, печи дымились, накрахмаленные занавески высывались из окон, слизывая капли дождя, – но кто-то пожрал всех жителей. Фон Хаммер зажег фары, сбавил скорость. Клубы тумана вились вокруг снопов лучей, каждый со своим характером: взбешенный, утонченный, ироничный. Водяные пары собирались вместе и снова рассыпались на тысячи частей, словно галактики или буквы священного алфавита. Немец закрыл глаза, тряхнул головой.

Грузовик, выделявая зигзаги, уперся в стену церкви. От слабого подземного толчка звякнул колокол. Вдалеке, с колокольни бенедиктинского монастыря, откликнулся другой.

Дождь прекратился. Хумс жестом фехтовальщика сунул правую руку в жилетный карман и вытащил таблетку аспирина, которую и скормил фон Хаммеру. Налетел холодный ветер и донес звук тысяч голосов, читающих молитву. Казалось, все окрестные жители назначили встречу в монастыре. Акк сел за руль, Зум принял на себя заботу о немце, – и веселье продолжилось, в то время как благочестивые голоса, отражаясь от скал, слышались все отчетливей.

Планы бенедиктинского монастыря, присланные из Рима в надушенном чемоданчике одним из князей церкви, были начертаны архитектором с впечатляющим послужным списком; строители слепо повиновались указаниям брата Теолептуса. В миру его звали Серхио Баркакас, и был он состоятельным художником, бросившим холсты с андскими закатами ради черной рясы и пуантилистских распятий: Христос в технике Сёра плюс сезанновские пейзажи. Под эти гибриды он подводил мощную теоретическую базу, играя фразами вроде «Внутри пейзажа, который становится все отчетливее, плоть Иисуса как бы распыляется: чем прочнее материя, тем глубже в нее проникают стрелы дождя». Брат Теолептус, в свою очередь, неукоснительно исполнял указания свыше. В монастыре поставили скульптуры Цадкина и Певзнера, засадили лужайку синими тюльпанами, раскидали по песку мраморную крошку и повесили сотни посеребренных клеток с кенарами. По воскресеньям колокол, сзывавший поселян к мессе, наигрывал Шёнберга. По прошествии трех лет строительство было закончено; с комком в горле и бьющимся сердцем десять монахов из Европы (специалисты по григорианским песнопениям), два преподавателя языков – латыни, греческого и еврейского, четыре брата-повара и сам Теолептус прибыли к аббату, дабы нажать на кнопку и привести в действие сложный музыкальный механизм. Мелодия оглушила грифов на много километров вокруг; но

ни один человек не решился прийти. Постройки отпугивали крестьян. Купол с витыми башенками вокруг, сверкающие стены, холодные ступени, геометрически правильные тени, художества, напоминавшие опухоли инопланетного происхождения, – ничто из этого не могло прельстить земледельцев, привыкших к пахучему дереву и неказистому кирпичу. Они укрывались в своих хижинах из соломы, глины и черепицы, и самая пышная проповедь не заставила бы их посетить монастырь.

Светлые глаза Лауреля, его рыжая грива, белокурая борода, молочная кожа, ухоженные руки, казалось, блестели на фоне черной рясы, чистой, прекрасно сшитой, плотно облегавшей тело. Лаурель, высокий и мускулистый, внушал почтение своим видом, но с тех пор как его осенила благодать, слова его шли не из легких, но из сердца, а потому голосовые связки, смягченные добротой, издавали детский писк. Когда дряхлые монахи, прикрывая веки, слышали этот детский голосок, выбивавшийся из хора, то холодный монастырский воздух будто согревала теплая волна.

В час сиесты тишина стояла настолько полная, что во всех кельях слышалось жужжание мошек, осаждавших лампочки алтаря. Лаурель впал в транс! Собственный язык представлялся ему океаном в сотнях миль отсюда, океаном, где медленно растворялась горечь его рта. Он не сразу мог отличить распятие от стола, сандалии – от пола, шкаф – от стены: пространство кельи виделось ему одной сплошной поверхностью, и непонятно было, лежит он или идет. Он провел пальцами по своему телу, обнаружив гладкую поверхность. Кровь Лауреля трепетала: раскаленная сфера выдавила ее прочь из себя, пометив каждую каплю Христовым именем. В плоти его – ледяном лабиринте – открывались улицы, целые кварталы, куда вливалось, в ритме сердечной пульсации, божественное семя. Кислород врывается в легкие с плачущим хрипом, напоминая при каждом вдохе: «Я не принадлежу тебе». Все тело превратилось в один сплошной орган, куда, с каждой фазой сердечного цикла, проникал

лучик золотого воздуха, чистая пища, Отцовское Дыхание; превратилось в зачарованную пещеру, где он – отныне золотой ребенок – бродил в ожидании прихода нового обитателя... С немалым усилием он отворил нечто невообразимо хромированное, служившее оконной рамой, и сел, ожидая, что ослепительная целостность его духа брызнет из земли или спустится с неба, чтобы завладеть им.

С каждым днем транс делался все глубже. Оставался месяц до посвящения Лауреля в монахи, когда кто-то взломал дверь его внутреннего дворца, выстроенного из молитв. Лаурель исчез, оставив свою внешнюю оболочку арауканскому божку; движения его тела стали быстрыми, как у пумы, а голос хриплым. «Брат Аурокан» оторвал металлического Иисуса от фарфорового креста и с невероятной силой придал его ногам такую форму, чтобы те служили ножом. Не открывая глаз, он вышел из кельи, проследовал вдоль фасада, незамеченный, миновал привратника, – и, сжимая оружие в вытянутой руке, направился к ближайшей деревне.

Грузовик полз по узкой горной дороге, голоса делались все громче. Деметрио пытался не забыть то, что написал во сне, но проснулся, сохранив на языке одну лишь фразу: «Ты проходишь по ступенькам, и они сгорают позади тебя; но никогда не перепрыгивай через них, ибо непройденные ступеньки останутся внизу; тебе будет куда упасть, и ты непременно поскользнешься». Он попытался записать это изречение обломком карандаша на бутылочной этикетке. Хор голосов, несшихся мощным потоком, заставил его позабыть о своем намерении. Хумс, ошарашенный тем, что не лежит в своей ампирной кровати, вцепился в шелковый носовой платок, пуская густые слюни. Коварная жидкость текла прямо на брюки Га, в чей затылок устремились пурпурные глаза Акка. Эстрелья Диас Барум, глядясь в кусок стекла, не находила у себя никакой разницы между лицом и задом. Толин, раскинув руки и ноги, не открывал глаза, рассчитывая, что мама сейчас принесет ему завтрак. Энанита соскочила с ящика цветной капусты, завопив с отвращением: «Черт, еще

один день!» Зум, погрузив свою складную щеточку в пол-лимона, принялся начищать зубы с энтузиазмом бойскаута. Аламиро Марсиланьес выбрался из-под своей возлюбленной и уселся на бутылку, содержимое которой за секунду до этого исчезло у него в глотке. Фон Хаммер три раза отсалютовал солнцу нацистским приветствием, а Ла Кабра, устроившись между гнилых помидоров, пукнул так громко, что на миг заглушил неумолчный рокот крестьянских голосов.

Они спустились в долину. Вокруг монастыря, на мраморной крошке, сидели десять тысяч поселян – детей, женщин, мужчин в арауканских уборах из перьев, в набедренных повязках, с бубенчиками и щитами. Все они пели на индейском языке и притопывали сандалиями, поднимая облачка белой пыли. На импровизированных латинских буквах лежали младенцы со струпьями, паралитики, хромые; старики с полипами, зобами, угрями, гангреней, переломами, страдающие от рахита и от рака. Все болезни были здесь представлены. Люди лежали с напряженными лицами, устремив немигающие глаза в одну точку.

Немец снова взялся за руль и стал прокладывать путь через толпу при помощи гудков. Беспорядочное скопление людей, как выяснилось, было отлично организовано изнутри. У каждого имелся четко отграниченный участок для выражения своих чувств. Специально посланные гонцы отодвигали танцующих с пути грузовика, но так, что те не прекращали пляски. Руководители групп по цепочке передавали приказы главного вожды. У церковного портала (масса кристаллических кишок) лжеиндейцы разыгрывали драму – что-то из доколумбовых времен, используя для декораций цветы, бумагу, куски коры. Под навесом стройная молодая девушка в синей пижаме – черные курчавые волосы, веснушчатая белая кожа, острые груди, движения львицы, – испускающая лучи из зеленых глаз, управляла всеми десятью тысячами душ. Га, Деметрио, Ла Кабра, Толин, Акк и фон Хаммер – у каждого член мгновенно обратился в перископ – подозревали, что под индиговым одеянием скрываются великолепные ножны, достойные их шпаг. Грузовик подъехал ближе,

изрыгая призывные сигналы, но был остановлен отрядом солдат. «Стой! За нами!» – «Вы смеее нам приказывать, тупые солдаты? Знайте, что вы говорите с сестрой министра внутренних дел...» – принялась было врать Эстрелья. Не слушая ее, солдаты попрыгали в грузовик, а один, по виду сержант, приставил свой пистолет к виску Акка, заставив того отступить. За пригорком располагалось целое войско с примкнутыми штыками, пулеметами, противогАЗами, пластмассовыми щитами и танками.

Брат Теолептус, исходя по́том, чертил на песке план долины; позади него шестеро франтоватых штатских, в неярких галстуках и черных очках, спорили с аббатом. Властные жесты, прямые позвоночники и отрывистые голоса изобличали в них военных высокого ранга. Рядом в брюках для верховой езды стояла женщина, поставив ногу на подножку своего «ролс-ройса» цвета соли с перцем, и энергичными хлопками призывала заговорщиков вылезти из грузовика на землю.

– Да ведь это же Загорра, миллионерша, – пробормотал Хумс.

(Кто не знает самую богатую женщину в Чили? Владелица угодий, стирающихся от гор до моря; супруга магната, которому принадлежала сеть газет правого толка, выписывавшая для своих праздников заграничные балетные труппы, она стала известной, когда из-за смерти мужа ее имя перекочевало из отдела светской хроники на первую страницу, в рубрику горячих новостей.

Энрике Загорра Кириньес, устав от безрассудства жены и непроходимой глупости любовниц, сделался гомосексуалистом и отошел от светской жизни, построив виллу у самого моря. Оттуда он руководил своей прессой и назначал президентов. Каждый уик-энд его навещали политики, промышленники, аристократы. Развлечения ради он взял в любовники рыбака, одев его рыбаком: белые штаны, сандалии, грубая хлопковая рубашка. Хотя этот смуглый юноша и пытался оставаться незамеченным, он приковывал к себе всеобщее внимание. Толстосумы беседовали с этим слегка



обтесавшимся голодранцем, который, скованный своим крахмальным панцирем, выпивал за раз немаленький кувшин джин-тоники. Однажды рыбак методично расчленил своего хозяина при помощи молотка и клещей).

Ла Кабра первым прыгнул на землю и бросил в лицо солдатам:

– Это произвол! По какому праву...

Его речь была прервана пощечиной.

– Молчать, подонки! Смирно! Если не хочешь быть застреленным на месте, заткни пасть, дерьмо собачье!

Командир выставил вперед подбородок под углом в сорок пять градусов. Видя, что на него наставлено двадцать автоматов, Ла Кабра высунул язык и затолкал обратно в рот пальцем, сделав вид, будто глотает его. Убийственный взгляд обратил его в статую.

– Принести аппарат для пытки электротоком! Привязать электроды к ногам! Эти коммунисты во всем признаются, пусть даже придется завязать им член узлом!

Остальных тоже согнали вниз пинками и тычками. Последним был Аламиро Марсиланьес. Перед этим он успел отряхнуться, облизать себе руки и причесаться с помощью арбузной корки. Он стоял, беззаботный, элегантный, с широкой улыбкой, точно среди товарищей в Поло-Клубе. Слова выскакивали у него изо рта, как хрустальные шарики:

– Какой чудесный сюрприз, дорогая Габи! Если ты не знаешь меня, ты наверняка помнишь Туко, моего папочку, Марсиланьеса из рода Марсиланьесов Гонгора де Самбруньесов, минеральная вода Ньюбле, разлитая в бутылки, с железистым привкусом!

Загорра допустила его к ручке, стволы опустились. Один Ла Кабра из-за смуглого лица, кобылих челюстей и волосатой кожи, был оставлен под прицелом. Аламиро, воздевая руки к небу, пробулькала:

– Ребята, да оставьте же в покое моего лакея! Ему можно доверять. Он у нас в доме с самого своего рождения. Он совершенно безобидный, бедняга, клянусь вам. Несчастный

случай на охоте, понимаете... дядя Илларион отстрелил ему оба яйца...

Ла Кабра почувствовал, что пот катится у него по затылку, но все же, изобразив улыбку кастрата, стойко выдержал похабные ухмылки солдафонов. У Хумса не было с собой паспорта. По счастью, порывшись в кармане среди крошек и таблеток, он нашел удостоверение Общества садоводов-любителей.

– Мадам Загорра, надеюсь, вы помните копию лабиринта в Шартрском соборе, которую я сделал из роз и магнолий по случаю вашего майского приема. Никогда не забуду, сколь горячими аплодисментами вы приветствовали мое скромное творение.

Приход зари, – фарфоровые зубы мумии блеснули между узких губ:

– А... да... правда! Так это ты? Ты вывел... вывел...

– Толстолистую орхидею, мадам!

– Вот именно! Да, теперь вспоминаю... Но что ты здесь делаешь?

Вмешался Зум, тоном профессора философии:

– Сеньора! Досточтимые господа! Нас спутали с шайкой бандитов, но имена, которые мы носим, – лучшая защита для нас. Я, как университетский преподаватель, руковожу экскурсионной поездкой поэтов, цель которой – изучение камней, растительности и живых существ андских предгорий. Все они войдут в грандиозную коллективную поэму – нечто вроде полного каталога в стихах, подробного, как топографическая карта, призванного прославить наше Отечество и его священные институты: Религию, Армию и Семью! Эти экскурсанты – интеллектуальные сливки чилийского общества, будущие Гомеры, что увековечат ваши героические деяния. В этот незабываемый миг Сила и Дух подают друг другу руки!

И Зум пылко потряс правую руку каждого из шести военных, пользуясь всеобщим замешательством после своей речи. Фон Хаммер разразился несколькими «гип-гип-ура!» и замаршировал на месте с вытянутой рукой, не сгибая ног, чтобы все сочли его мастером «гусяного шага». Эстрелья

Диас Барум полезла себе под лифчик и кинула Акку бутылку вина, спрятанную между грудей; тот поймал ее на лету, насвистывая арию из «Сельской чести». Деметрио, Га, Энанита и Толин принялись подпевать ему в четыре голоса, выделявая антраша, точно балерины в «Лебедином озере». Загорре предложили хлебнуть из бутылки. Мумия вытерла горлышко и сделала глоток.

– Как здорово, что эти психи тут! Может, они помогут: не знаю, как быть! Вся деревенщина бросила работу и затеяла арауканский карнавал. Они не хотят ничего делать, пока не увидят брата Аурокана: так они зовут какого-то Лауреля, послушника, которого сегодня посвящают в монахи. Подружка парня устроила тут весь этот кавардак. Наш аббат сегодня вернулся, чтобы омыть ноги новообращенному. Не знаю, чего все они ждут от парня и правда ли, что его считают богом. Может быть, это все для отвода глаз, а на самом деле коммунистические агитаторы организовали стачку. Ладно, они обещали вернуться к работе после церемонии. Посмотрим. Мне на подмогу прислали армейские части, но я пока не хочу чтобы они вмешивались. Надо поговорить с подружкой Лауреля: пусть она уговорит фанатиков. Железо – последний из доводов!

Друзья забрались обратно в грузовик. Подошли брат Теолептус и аббат. Самый злобный из шестерки заявил, как бы прощаясь:

– Наш президент, Его Превосходительство Геге Виуэла, запретил подобные индейские сборища. Будьте настороже. Если начнется стычка, аббат укроет вас в монастыре, а мы тем временем сделаем из этих паршивцев кровяные колбаски.

В окружении солдат ростом с Энаниту, гордых своей формой и даже не замечавших, до чего они похожи на грибы в немецких касках, грузовик вновь разрезал экстатическую толпу. Всеобщее внимание опять было приковано к девушке в пижаме, которая теперь распределяла больных по группам: сначала ходячих, потом сидячих, за ними лежащих и, наконец, окоченевших. Хотя арауканы безропотно повиновались, двигались они медленно и преграждали ход грузовику.

Чтобы скоротать время, Га завязал беседу с монахами, которые при первых же его словах вытащили Библии и принялись ими обмахиваться.

– Вина в том, что случилось, – на этом монастыре! Вы не только служители духа, но и художники, а потому должны были построить идеальный Храм: не из мрамора, пластика и алюминия, а из экскрементов! Иисус явился в мир во плоти и крови, он пил, ел, обедал, ужинал и облегчался, как облегчались святой Иосиф, Мария Магдалина, дева Мария и апостолы. Божественные отбросы не исчезли! Продолговатые – или округлые? – эти сокровища до сих пор хранятся нетронутыми на земле Израиля. Вам следует пуститься на поиски реликвий, оставшихся от Сына: он прожил тридцать три года и ежедневно извергал из себя двести пятьдесят граммов, то есть в общей сложности, учитывая високосные годы, три тысячи тринадцать килограммов! Прибавьте к этому две тонны, оставшихся от каждого апостола, – я считаю с середины жизни, ведь они не родились святыми, и кал становится светозарным, лишь когда озаряется сердце, – умножьте это число на двенадцать, и выйдет двадцать четыре тонны. Еще четыре от девы Марии, тысяча триста от осла, который вез святое семейство. Получаем целый холм: тридцать шесть тысяч шестьсот килограммов! О благословенные монахи, возьмем этот грузовик, отправимся через реки, моря и пустыни в Святую Землю, дабы собрать божественные испражнения и возвести храм в форме какашки, где священники будут переодеты мухами!

У аббата схватило живот и, мучимый рвотными позывами, он раскрыл свой вороний клюв. Хумс повернул его голову затылком к себе и задал коварный вопрос:

– Разве не вы уверяли меня, что бенедиктинцы придерживаются вегетарианства, ваше преподобие?

Аббат, с полупереваренными остатками колбасы и яиц на бороде, раскрыл рот, откуда повеяло таким уксусным духом, что собеседник обратился в бегство. Брат Теолептус, чувствительный к резким запахам, позеленел и попытался скрыть это обстоятельство, уткнувшись в сто двадцать шестой псалом,

но только лишь дошел до второй части третьего стиха – «награда от Него – плод чрева», как желудок его опорожнился.

Толин, уютно лежавший на груди мешков, понял, что ему отчего-то неудобно, сполз с тюков и обнаружил под ними целый ящик водки. Это вызвало всеобщие аплодисменты. Акк показал ему зернышко риса.

– Ты как та принцесса, которая ощущала горошину сквозь двадцать перин...

Пьянство возобновилось: вместе с солдатами-грибами, но без священников. Грузовик вплотную приблизился к сцене, где женщина в синем неумоимо продолжала руководить больными – так, что фон Хаммер давал газу, тормозил, снова газовал, едва не давя индейцев в перьях, делал зигзаги.

– Да это же Боли! Не может быть!

Он вспомнил ее: робкую, забитую, покорную. После первого аборта она без единого слова последовала за ним в жалкую клетушку на задворках ресторана. Как забыть ее взгляд смиренной жертвы, когда она пообещала больше не заводить детей! И все-таки, несмотря на все меры предосторожности, это случилось. Ей выскоблили все дочиста, но живот почему-то не уменьшился: остался ребенок-близнец! Когда он родился, мать положила его в таз с абрикосами. Пока Боли, лежа в постели, вышивала на своем подвенечном платье лес на морских волнах, фон Хаммер положил новорожденного на стол, чтобы отрезать пуповину. Но не рассчитал и отхватил ему руку, порезавшись сам. Тут его охватило буйное веселье, и он разделал собственного сына так, как разобрал бы автомобильный мотор. Он разложил все части по порядку: вот уши, вот глаза, нос, позвонки. Из двадцати пальцев сделал солнце. Боли встала, чтобы попросить прощения за очередные роды, увидела кровавые игрища фон Хаммера и согнулась, словно получила удар в живот. После чего собрала вещи и уехала, не глядя на него.

Фон Хаммер, не дожидаясь, пока Га и прочие хищники накинутся на добычу, резко затормозил, зашагал к подмошкам, выпячивая грудь и высоко поднимая колени. Затем принялся самым задушевным голосом изливать объяснения:

– Боли, ты бросила меня, даже не попыталась войти в мое положение! Клянусь священной свастикой, это был просто несчастный случай! Я хотел нарисовать ребенка, приготовил костюмчик с помпончиками, крестик и ниточки, чтобы он плясал перед тобой, как марионетка! Но когда я отрезал пуговину, рука моя дрогнула...

Фон Хаммер начал свою речь метров за двести до Боли, с галантным видом расталкивая убогих, славших в ответ стоны и проклятия; но девушка расслышала только слово «рука» – и как раз руку немец, потный, хромающий, с больной селезенкой и набухшим членом, тяжело дыша, приложил ей к нижним губам, чтобы добиться молчания. Но его блицкриг был прерван ударом колена: фон Хаммер полетел прочь, ударившись спиной о доски. Рядом кружил какой-то жук.

– Не думай, что ты можешь давить мне на клитор, как раньше, чтобы я разрядилась двадцать раз! Я не сразу поняла, что это не ты меня ведешь, а я тебя толкаю! Ты не способен доставить меня, куда мне нужно, а только заставляешь кружиться на месте! Ты воспользовался моей наивностью! Ты хотел взять меня нескрытой!

Привлеченные пламенными словами Боли, остальные путники тоже поднялись на помост и расселись полукругом, слушая, как женщина выкрикивает накипевшее. Не было только Зума, который зачем-то пошел с солдатами: с трудом поддерживая его, чтобы он не упал на землю, ставшей благодаря водке бурным морем, те понемногу удалились от монахов. Зум обещал поиграть с ними в «слепую курочку». Не дожидаясь жеребьевки, он завязал себе глаза и, кудахча, выпятил зад, поскольку именно эту часть тела курочка подставляет петуху. Когда ягодицы его коснулись лобка одного из солдат, остальные поняли, в чем дело. Они уже готовились вонзить штыки в то место, которым птица высидживает яйца, когда примчался Хумс – спасти Зума:

– Мерзкое отродье! Разве не знаешь, что с властями не шутят? Отдай этим достойным защитникам отечества свои часы, золотую медаль, зажигалку и бумажник из крокодиловой

кожи – пустой, но с серебряной монограммой. И это еще будет легкой расплатой за проявленное тобой неуважение.

После краткого спора солдаты разделили трофеи, не позволив Зуму вынуть из часов портрет тети. С последним глотком их раздражение сменилось желанием. Военные выплеснули его на двух штатских, норовя прижаться к ним, потереться, отряхнуть пыль с брюк, щекотали их кончиками усов:

– Мы же друзья-приятели! Давай обнимемся!

В конце концов, штатских затащили под помост. Хумс, ошеломленный не самим изнасилованием, а тем, с какой яростью эти двое защищали свою мужскую честь, замахал руками в направлении солдат:

– Важное послание от капитана!

Вдали блестело нечто – возможно, чье-то зеркало, еще не знающее о своей участи оптического телеграфа.

– Ты, пакостник, был бойскаутом? Телеграфируй!

Зум попытался составить послание:

– Всем сое... ди... не... ниям... точка... спать... пока... ка... пи... тан... не... про... снет... ся.

Словно от удара по голове, грибы повалились на землю и захрапели. Зум пожалел:

– Ах, почему с нами нет Ла Роситы! Он любил это делать именно со спящими! Помнишь историю с карабинером Моралесом?

(Каждые сутки, между полуночью и двумя часами, Ла Росита сочинял десять страниц своего романа «Черви земные, морские и небесные» и затем читал на десерт к обеду, который оплачивали члены Общества любителей полупариков, дабы насладиться вдохновенными строками, полезными к тому же для пищеварения. Несколько месяцев спустя, когда книга вышла в одном аргентинском издательстве, выяснилось, что это – точная, от начала до конца, копия «Степного волка» Гессе. Ночная тишина нарушалась только упорным стуком бабочки о стекло да резким скрежетом трамвая, полного пьяниц, с трудом одолевавшего встречный ветер. Три громких стука в дверь. Это означало, что зашел на огонек блюститель порядка, покинувший свою будку.

– Доброй ночи, сеньор. Зашел посмотреть, не перекусываете ли чем-нибудь.

– Нет, господин карабинер, но раз уж вы здесь, хотите кофе?

Как всегда, Ла Росита влил туда полстакана коньяка, положил шесть ложек сахара и снотворное.

– Да вы зеваете, командир. На всякий случай, приятных сновидений...

И сторож грузно повалился на желанный матрас. Ла Росита поставил в проигрыватель пластинку с благородными сентиментальными вальсами Равеля, задернул шторы, убедился, ткнув иголкой, что сон достаточно глубок, сдернул с полицейского брюки защитного цвета, грубые трусы и, облегчив себе задачу при помощи капли стуженного молока, овладел представителем закона, стараясь не трясти его сильно, чтобы не разбудить. Здоровяк проспал два часа: это дало Ла Росите возможность повторить операцию. Во второй раз он возбудился даже больше, ибо опасность увеличилась и каждая ошибка могла стать смертельной. Рассчитав все с точностью до минуты, Ла Росита успел подтянуть несчастному брюки, раздвинуть шторы, выключить проигрыватель и сесть за пишущую машинку до того, как полицейский потянулся, поблагодарил за кофе и удалился с учтивым «до завтра, сеньор».)

Хумс и Зум вернулись на помост, чтобы послушать Боли, которая, поставив на место фон Хаммера, – тот снисходительно улыбался левым уголком губ, простив все этой еврейке с длинными волосами и короткой верностью, – рассказывала теперь, почему десять тысяч индейцев устроили карнавал и чего они ждут.



## V. ОГНЕННОЕ КРЕЩЕНИЕ

*Как же ты хочешь стать прозрачным,  
если у тебя нет тела?*

**«Черные сиськи» – одному нахалу в баре.**

Когда Боли отрезала щупальца фон Хаммера, из углов ее спальни, обратившихся в бездонные трещины, поползли тени. Она решила отныне спать на свежем воздухе, на вершинах скал, где пространство беспредельно – а значит, породит беспредельность внутри нее самой. Она взяла с собой спальный мешок, синюю пижаму – и стала побираться, выпрашивая еду у туристов. Ее насиловали, однажды пришлось отдаться за банку чечевицы; ложась под мужчин, она клеймила себя похотливой сучкой, но при этом не теряла надежды: эти мучения были тьмой, из которой рождается свет. Как-то вечером, идя по деревне, она заметила целые семейства с озаренными лицами: сотворить такое могла только близость храма.

Каждый житель держал в руке яйцо. Все стояли в очереди к палатке на главной площади, где светлый монах-бенедиктинец с горящим взглядом, потеряв яйцо о тело страждущего, протыкал несчастного ножом. Боли, ошеломленная, видела потоки крови, красный дождь, что проливался на безмолвных поселян, шаг за шагом идущих на бойню. Помощники монаха приносили тела и укладывали на траве. Сотни неподвижных фигур покоились под окровавленными простынями. Боли узнала монаха. То был Лаурель Гольдберг! Невероятно! Он, слабый, робкий, целомудренный, сейчас вскрывал грудь старику, раздвигал пальцами ткани, чтобы рвануть на себя сердце, оторвать от него зубами кусок и вернуть обратно в грудную клетку. Нет, это не ее старый друг! В Лауреля вселился демон! Никогда у него не было такой магнетической силы, всеослепляющей власти, мощи, свойственной богу: посреди

лужи из сгустков крови, в сутане, залитой гноем, с руками, выпачканными красным, он стоял, словно в ореоле северного сияния.

Боли вскрикнула, пытаясь не допустить очередного жертвоприношения. Когда нож вошел по самую голову Христа в печень крестьянина – поддерживаемый беременной женой, тот кусал палку от боли, – взгляды демона и Боли на миг скрестились. Это мгновение показалось девушке вечностью: глаза демона взрезали ей живот. Яичники Боли будто стали раздуваться и лопаться; внутренности вывалились наружу; и тот, другой, знал о ней больше, чем она сама. Секунда – и Боли, не в силах сдержаться, опрокидывая свои самые стойкие убеждения, упала на колени среди потоков крови и кусков плоти, целуя ноги злодея.

Две ладони – казалось, что четыре – легли ей на плечи, впрыснули в нее сладкую жидкость. В той части пространства, которое занимали две горячих мускулистых руки, существовали еще две, но бестелесные, дававшие знать о себе благодаря сильной пульсации: касаясь кожи, они соединялись не только с телом, но и с темными областями подсознания, неся с собой пищу и обновление. Боли поняла, что ее поднимают двое стоящих рядом: на их лицах, покрытых струпьями, читалось бесконечное милосердие. Ее усадили на каменную скамью, сунули между зубов стебель сахарного тростника, крепко держа за руки и за ноги.

Пока монах поднимал свой нож и бормотал что-то, не разжимая губ, его черная ряса исчезла прямо на глазах. Вместо нее появился наряд из длинных радужных перьев; на голове – шлем из чистого золота, на груди – украшения в виде маленьких планет, на плечах – пурпурная мантия, составленная из тысяч крошечных перьев в виде сложного лабиринта: космический календарь, священная книга и талисман одновременно. Мандалы внутри лабиринта посылали лучи света в разные части тела: солнечное сплетение, лоб, пупок. Боли ощутила, как семьдесят две точки ее тела нагреваются под воздействием этого наряда... Затем вокруг светящегося демона, потрясавшего клинком, послышался шепот многих голосов, его

окужило облако непонятных существ: некоторые походили на людей, другие же напоминали геометрические фигуры или клубки линий. Они были там и не были одновременно. Палатка оказалась перекрестком пространств и времен.

Когда Аурокан – так звали демона – заговорил, то вместе с ним заговорили и эти существа. Боли слушала целый хор, где за словами угадывались формулы, вибрации, вой...

– Кто слушает нас, тот слушает себя. Мы пришли в мир, чтобы очистить его и стать его хозяевами. Мы откроем каждому путь к самому себе...

Лезвие пронзило Боли в области пупка и теперь взрезало ей живот. Она слышала хлюпанье своих внутренностей, видела, как они вылезают из дымящейся, теплой полости; в нос ударил серный запах. Девушка не могла пошевелиться: боль пригвоздила ее к скамье.

– Принеси нам свою боль. Раздели чужую боль, тебе не принадлежащую. Нет ничего только твоего. Этим помазанием мы отбираем твою болезнь. Мы не оставим тебя одну. Если у нас болит рука, разве мы отрезаем ее, отчуждая от тела? Дай сюда опухоль, которую носишь в яичниках.

Аурокан просунул руку в рану и потянул с такой силой, что тело взлетело в воздух

– Надо вырвать корень!

И Боли увидела, что из нее вырвали нечто живое, трепещущее: член, в точности такой, как у фон Хаммера, с бугорком на крайней плоти, с перепончатыми крыльями и цепкими лапами. Тварь хрипела во весь мочеточник, изливая струи семени. Брошенная на горящие угли, она вздулась, лопнула, разлетелась в стороны, продолжая плевать до последнего. Стоило Брату возложить руки на рану, как та затянулась, не оставив рубца; боль мгновенно прошла. Боли словно вышла из турецкой бани: теплый, прозрачный пар вырывался изо всех пор тела, кровь мчалась по венам, отчего щеки сделались гранатовыми... Ее завернули в простыню, подняли, отнесли на траву и приказали не двигаться сорок минут. Прежде чем заснуть ангельским сном, Боли увидела, как вокруг встают те, кого она раньше приняла за мертвецов.

Боли проснулась. День весело плясал вокруг нее, кожа часто подрагивала, аромат цветов был одной из нитей, вплетенных в ткань бытия. С нее сняли панцирь, и теперь все сущее находилось внутри нее.

– Ты получила крещение!

Тучная мать семейства, которой вставили барабанную перепонку, обняла Боли:

– Аурокан пришел, чтобы слепые прозрели и парализованные встали на ноги, он пришел излечить тела и просветлить души. Грехи каждого стягиваются в опухоль, печаль обретает плоть, и чудодейственный нож отсекает от нас то, что было годами страданий. Вот что сказал Аурокан: «В человеческом сердце есть место, ключ к которому – птичье пение. Омойся в лучах солнца на рассвете, чтобы трели птиц вошли в твою грудь. Они откроют дверь, ты упадешь внутрь себя, погрузишься в источник жизни и родишься в ином мире».

Давать миру то, что ему не нужно, отвергать то, что ей не предлагали, – так протекала жизнь Боли. Но теперь всю землю охватило величайшее спокойствие. Все сделалось Одним, обладания не стало, не надо было больше ни давать, ни просить. Предлагать и принимать означало соблюдать Всеобщий закон, который был незнаком Боли, но, тем не менее, двигал ею.

Аурокан принял последнего из жителей деревни и спустился из палатки на площадь: движения его были плавными, согласованными. Мускулы, словно обладая сознанием, управляли костями, отмеряя строго необходимую дозу энергии, и все тело двигалось в такой великолепной равновесии, что казалось плывущим в нескольких миллиметрах над землей. Аурокан скользил, не сходя со своего пути ни единого пера или волоса. Вот он приблизился к ней; за его губами тысячи других, прозрачных губ, образуя единый хор, но, не сливаясь полностью, выпускали из себя нити голосов, сплетенных в золотую ткань, пульсирующее Слово соединявшее в себе речь и музыку. Боли не знала арауканского языка, на котором изъяснялось божество, но каждое биение ее сердца

говорило, что Аурокан одаривает ее видением – видением того, что она тщетно искала в искаженной действительности: мужской любви.

Он взял ее за руку, вывел из деревни к реке, раздел, натер глиной, омыл в холодной воде, приложил к коже горячие камни, чтобы тело впитывало солнечную энергию, натер ароматическими травами. После этого вонзил нож в песок и начертил круг; набрав в легкие воздух, он издал длинную музыкальную фразу, построенную подобно лабиринту, с таким расчетом, чтобы последняя нота мелодии соответствовала последней частичке выпущенного воздуха. Затем молчание, полное смысла, и новая фраза; все вместе образовало звуковой храм – настолько могучий, что насекомые, птицы, прочие твари затихли и вслушивались, зачарованные. Когда Аурокан замолкал, животные раздражались концертом оглушительных звуков, когда вновь подавал голос, они смолкали. Круг превратился в алтарь и брачную спальню. Бог приглашал Боли ступить на священную землю.

Ее всегда вела по жизни боль – и шаг, сделанный при вхождении в круг, показался ей первым шагом с самого рождения. Простое передвижение ног из одной точки в другой несло в себе перемену. Мир потерял свою силу, круг сделался Эдемом. Влагалище ее начало сокращаться, открылся вход в темную вселенную увлажненных яичников. Боли застыла на месте, стоя с раздвинутыми ногами, лицом к востоку. Аурокан, миллиметр за миллиметром, стал входить в нее, пока не ввел член до половины. Это неполное обладание, способное удовлетворить лишь частично, заставило стенки лона вибрировать от жажды принять орган целиком. Плоть Боли готова была всасывать и всасывать. Аурокан посмотрел ей в глаза и вошел до самого предела, до первых воспоминаний. Он присутствовал при ее рождении, играл с ней в детстве, утешал ее – день за днем, год за годом, – пока не проник в каждый уголок ее памяти. Добравшись до сегодняшнего дня, он раскрыл свой разум и провел Боли по всему прошлому человечества, вплоть до космических основ, до сотворения

мира. Этот взрыв жизненной силы заполнил ее мозг, потоком лавы спустился по хребту и, пульсируя, обосновался в центре всего – в глубине ее лона. Яичники, став магнитами, испускали частицы энергии, электризуя Боли; она должна была разрядиться всеразрушающей искрой. Аурокан издавал рев – быка, потом жеребца, льва, волка, и Боли чувствовала, что каждая клетка ее тела живет своей жизнью: в этом месте она была коровой, здесь – кобылой, там – львицей, а вот тут – волчицей. Корни волос на голове выкачивали сексуальную энергию, которую выбрасывали затем в пространство, в ответ на порыв самца. Волосы обоих заплелись в невидимые косы – через них сливались два желания и проникали дальше в тело, до пальцев ног, которые росли, извивались, словно змеи, завязывались в немыслимые узлы. Голова к голове, губы к губам, руки раскинуты в виде креста, из груди рвется нутряной вой, два глубоких дыхания смешиваются в одно, языки, покрытые соленой слюной, прижимаются друг к другу, как две улитки. Боли теперь не было, остался один извечный взрыв, Первоформула, исходящая из уст Бога, чтобы рассыпаться на звезды, жизнь и смерть.

– Аурокан подхватил меня на руки, мы покинули круг и оказались в палатке. Крестьяне упали на колени среди оплывших свечей. Он заговорил, не прекращая ласкать мои плечи. «Пришло время расстаться с плотью. Я вернусь в день зимнего солнцестояния, чтобы принести новый свет. Когда вы омоете мне ноги, идите к бенедиктинскому монастырю... Вы образуете двенадцать кругов по тысяче человек в каждом, вокруг двенадцати избранных. В этот день не станет больных, голода и оков. Тот, кто верит в меня, войдет в мое Царство...»

И Аурокан исчез. Наш Лаурель очутился среди почти взиравшей на него толпы, никто не решался сказать ни слова. Сутана его была залита гноем, в руках он держал нож. Он ничего не понимал. Сбитый с толку, он склонился мне на грудь и зарыдал, не узнав меня. Какая-то старуха принесла горшок козьего молока, помазала мне пальцы и омыла

его лицо. Я отвела Лауреля в монастырь. Привратник ничего не заметил. Я же вернулась к поселянам, чтобы готовить их к великому собранию в день зимнего солнцестояния. Знайте же, что сегодня Он возвращается, как и обещал! Знайте, что наступает конец мира и начало Его царства! Когда аббат омоет ноги Лаурелю Гольдбергу, Аурокан предстанет во всей своей славе! Его пути неисповедимы: исполняя его волю, двенадцать тысяч верующих собрались вокруг двенадцати избранных, и вот мы ждем Его... Сколько нас?

Деметрио, Энаниту, Га, Толина, Акка, Хумса, Зума, Ла Кабру, фон Хаммера, Аламиро Марсиланьеса и Эстрелью Диас Барум – всех заколотил озноб. Получалось, что они, вместе с Боли, – не кто иные, как двенадцать апостолов!

## VI. У КАЖДОГО БОГА – СВОЙ АПОКАЛИПСИС

*Можно заниматься взвешиванием и при помощи  
фальшивых гирь. Хотя в моем мире все законы  
произвольны, я применяю их и уважаю. Вот почему моя  
жизнь обладает некоей внутренней соразмерностью.*

**Ла Росита (из речи в Литературной академии).**

Электрическая мухоловка обезумела: ее бешеный треск прервал сиесту монахов. Посыпались возгласы на немецком, французском и итальянском. Черные сутаны закружились и потянулись к алтарю вслед за аббатом, который шел, закрыв уши руками в синих перчатках – надеваемых специально на тот случай, если во сне пальцы прикоснутся к стыдным частям, – и тонзура его казалась большим багровым глазом. Замыкал шествие брат Теолептус, с невысохшими кистями. (Во время сиесты он писал зодиакальный круг с Иисусом, парящим над волнами четырех океанов, в центре. Тысячи рыб в прозрачной воде, повернутых передней частью к ногам Мессии, образовывали триста шестьдесят спиц колеса).

На электрической решетке поджаривался огромный тарантул, издавая едкий запах. Почти исчезнув в облаке дыма, он медленно шевелил лапами, прощаясь с миром.

«Плохое предзнаменование!» – процедил аббат, и аккуратно выстриженная макушка его словно вздулась. Аппарат выключили, почистили и снова подсоединили к сети возле алтаря. Современная звуковая система наигрывала мотеты фон Брука, и бенедиктинцы продолжили мирный отдых в сверкающих хромом кельях, дабы в спокойствии встретить арауканский карнавал во время омовения ног.

И опять мухоловка сошла с ума!



Треск ее звучал сигналом тревоги. Все, задыхаясь, сбежали к алтарю прямо в трусах. Новый тарантул на решетке! Профессор латыни, поглаживая татуировку на бицепсе (Святой Себастьян), сказал по-гречески:

– Он не смог жить без самки и решил уйти навсегда...

Эта фраза с явным сексуальным подтекстом сделала атмосферу в церкви ледяной. Аббат закашлялся и удалился, читая «Отче наш». На сестру больше не было времени: настал момент посвящения. Через полчаса послушник с чистыми ногами примет имя брата Мартирио.

Несмотря на всеобщую суматоху, Лаурель лежал спокойно, стараясь сделать ровным свое прерывистое дыхание. В тысячный раз он зажал свой бледный член между большим и указательным пальцем, вытянул его, чтобы рассмотреть получше. Он не поддался возникшему приятному ощущению и потянул кожу. Она легко подалась назад, обнажив крепкую головку. Из остатков памяти выплыл образ кающегося отца:

– Нам было так тяжело, что я забыл позвать раввина для твоего обрезания! Твоя мать, чтобы вернуть себе стройность после родов, целыми днями спала и тоже упустила время! Тебя мыла и одевала служанка, так что прошли годы, пока мы заметили это. Но увы, слишком поздно!

Мать ни разу не приблизила к себе обнаженного младенца – приласкать. Лаурель потянул еще сильнее. Блестящая кожа, растягиваясь, причиняла боль. Оттого, что между ног у него обнаружился мужской орган, Лаурель пришел в полное недоумение. До впадения в транс его ряса застегивалась так, что сквозь щель между пуговицами можно было лишь с трудом помочиться. Теперь же голос Лауреля изменился, стал густым и, поднимаясь из живота, заставлял дрожать тестикулы. Тело его наполнилось глубоким удовлетворением. Лаурель Гольдберг не узнавал сам себя. Не в силах сдержать тревоги, он лег на плитки пола и перекатился по ним до кровати. Вытащил распятие-кинжал. Понюхал частицы гнойных корок, приставшие к лезвию. Попытался вспомнить. Бесполезно. Он жил в ожидании чудесного посещения,

а сейчас, когда оно произошло, не мог сказать – избранник ли он Божий или слуга Сатаны. Лаурель попробовал перекреститься, но рука бессильно упала. Он различил в биении своего сердца слова мольбы:

– Я... тво... е. Сжаль... ся.

Лаурель приостановил ход мыслей, чтобы превратить свой разум в придел церкви, вращающийся вокруг замкового камня свода, но единения с Иисусом не наступило – в мозгу пронеслось слово «Аурокаан». Лаурель застонал, тряхнул головой, стал колотить ножом вокруг себя, сражаясь с невидимыми существами. Но плакать он вскоре перестал, так как от этого волосы на голове вставали дыбом.

В алюминиевую дверь постучали. Он едва успел спрятать оружие под рясой. Вошел аббат в торжественном одеянии. За ним праздничные монахи несли золотую лохань и освященную воду, а еще – лиловое полотенце. Лаурелю хотелось бежать в пустыню, скрываться там, пока к нему не возвратится вера, – но он покорно присоединился к процессии. Брат Мартирио... Как ему идет это имя<sup>1</sup>! С помощью широких рукавов он скрыл, как мог, эрекцию и вверил себя Божьей воле.

Двенадцать тысяч верующих поднялись с песка, усыпанного мраморной крошкой, и прекратили пение, ожидая, что трехстворчатая металлическая дверь раскроется, пропуская через себя кусок избранной плоти, в которую вселится новый Бог. Тишина была нарушена жужжанием стаи мух, привлеченных блеском карманных зеркал, очков, пуговиц, искусственных перьев и жирной косметики индианок. В молодости аббат играл в театральной труппе, где, по причине скромных талантов, ему доверяли лишь производить звучание ангельской трубы в сцене Страшного суда. При виде толпы в нем проснулся актер, и, обильно выпуская газы, он затыкнул по-коптски, хотя и не к месту, хвалебную песнь Деве Марии. Когда Лаурель появился в дверях, двенадцать тысяч глоток проревели «Аурокаан!», так что аббат онемел, кенары

---

<sup>1</sup> Martirio – мученик.

обезумели, а мух просто сдуло. После этого раздался адский шум: барабаны, трещотки, свист, щелканье пальцами. Члены Общества цветущего клубня, оглушенные запахом тысяч подмышек, спаслись при помощи очередного флакона, который покоился у Эстрельи Диас Барум между грудей.

Процессия подошла к подмосткам. Уже темнело, и пришлось зажечь факелы. По монастырю разлилось огненное море. Уставшие глотки продолжали глухо выкрикивать божественное имя; оно смешивалось с завываниями ледяного ветра, быстро изгонявшего дневное тепло. Аббат наклонил ухо Лауреля к своим губам:

– Не волнуйся, брат. Порой мы бываем избранными, не будучи зваными. Ты стал магнитом. Благодаря тебе все эти индейцы потянутся в монастырь, будут посещать мессу. Примем же как должное их необъяснимое почтение к тебе и, соблюдая всю торжественность церемонии, устроим небольшое представление.

Аббат приподнял полы рясы и принялся скакать вокруг Лауреля, топая изо всех сил, как индейцы. Два-три безмолвных приказа взглядом – и вот другие монахи затопали в свою очередь. Чего еще могло желать Общество цветущего клубня? Компаньоны пустились в пляс, опустошая по ходу дела бутылку. Боли, хранившая неподвижность, пока остальные немислимо изгибались в танце, устремила на Гольдберга взгляд, полный обожания и желания. Лаурель не узнал еврейку, но почувствовал, как в тело вонзаются ее зрачки. Член, как живой, потянулся к лобку женщины. Послушник дал себе пощечину, громкую, как выстрел, и этим остановил шабаш. Все головы повернулись к нему. Лаурель, разутый, опираясь на брата Теолептуса и какого-то немецкого монаха, ступил в лохань со святой водой. Аббат преклонил колена и, пыхтя, принялся тереть ему кончики пальцев.

Тишина обеспокоила прилизанных людей в штатском. Стоило одному из них достать платок цвета хаки и вытереть очки, как остальные сделали то же самое.

– Вмешаться, господин генерал Лебатон?

Тот, кому задали вопрос, вновь скрылся под очками. Он барабанил пальцами по чемоданчику, с которым никогда не расставался. Загорра облизала языком толстые шнуры губ.

– Не будем спешить. Уверяю вас, несколько минут – и они разбредутся по домам.

– Нечего нас дурачить, сеньора: эти выродки – враги господина президента! Дону Геге Виуэла следовало бы объявить всех дерьмовых коммунистов вне закона!

Приспешники Лебатона, уловив звучащую в его голосе ненависть, разом махнули рукой. Танковые пушки, пулеметы и винтовки нацелились на толпу народа.

Загорра испустила смешок, такой же искусственный, как ее зубы, и попыталась разрядить напряжение.

– Генерал, признаюсь честно, меня интригует содержание вашего чемоданчика. Это военная тайна?

Лебатон подкрутил усы и, улыбнувшись, мягко объяснил:

– Я никогда не расстанусь с ним, мадам... Там внутри – коллекция оловянных солдатиков, воспроизводящих военную форму прошлого вплоть до мельчайших деталей...

Он открыл свой бронированный кейс и выставил на вершине холма маленькое войско.

– Эти солдатики стоят целое состояние. Некоторые сделаны по моему заказу в Англии. Двадцать лет исторических исследований!

Генерал с нежностью поглядел на оловянную армию. Затем устроил сражение. Надувая щеки, он изображал разрывы снарядов и вырвал с корнем небольшой кустик, назначенный неприятелем.

– Железная рука! – прошептала Загорра в тревоге.

Пока Лаурель, безнадежно барахтаясь, ползал по келье и прижимался к каждой плитке, дух понемногу начал покидать его тело, как человек, медленно снимающий маску с лица. Далеко отсюда аббат погружал толстенькие пальцы в освященную воду, дабы омочить ступни новому собрату. Дух взмыл кверху, стараясь избегать лучей, посылаемых кверху винтовочными штыками и птичьими клювами.

Одна только серебристая нить все еще связывала Аурокана с этим юношей, спавшим стоя, пока его поддерживали два монаха. Сверху скопление народа выглядело неким лабиринтом. «Я не хочу» – подумал он, внезапно почувствовав себя освеженной дичью. Женщина в синей пижаме поглядела наверх. Он узнал эту голову, от которой исходило сияние! Боли! Он понял, что образ Боли выгравирован в каждой частице его души, что он сделался монахом лишь потому, что утратил ее, что он проникал в нее до самых бездонных глубин. И ему сильнее, чем когда-либо раньше, захотелось вернуться в мир. Держась за сверкающий луч, он возвратился вниз, на помост. Сверху налетели мириады созданий: искалеченные лица, металлические тела, люди-медузы, ненасытные воронки, толкающие Лауреля на острия, чтобы ранить его астральное тело, порвать связь тела с ним и похитить его плотскую оболочку. Непрозрачная душа с сивилилиными повадками, преследуемая радужным шаром, провыла, уворачиваясь от натиска причудливых форм:

– Я – Ла Росита! Дай мне воплотиться в тебя. Солабелла гонится за мной. Он хочет видеть свою голову рядом со скелетом, который похоронен в одном хорватском замке...

Лаурель продолжал биться. Но вот в бездонной лазури показалось сияние и отделилось от небосвода, как сухой листок срывается с ветки. Тяжело дыша в вечернем воздухе, Лаурель увидел, как гигантское нечто входит в то, что было его телом. Затем его атаковали желеобразные твари, и он стал сражаться не на жизнь, а на смерть.

Напряженное молчание всех собравшихся, стволы орудий и пулеметов, вообще все действие живо напомнили аббату его театральное прошлое. Он ощутил себя героем драмы, великодушным патриархом, приласкавшим черную овечку под завистливыми взглядами девяти белых: примерные животные, они не нуждались ни в каких отличиях. Аббат был уверен, что, только он оботрет ступни нового монаха, как посыплется град аплодисментов, – в тайнике души, куда скрылось тщеславие, он не переставал желать этого. Он

взял полотенце, дал знак вынуть из лохани правую ногу – и застыл на месте с раскрытым ртом, часто моргая. Однако настоятель понял, что не бредит, ибо военные и монахи замерли на месте с точно такими же лицами – челюсть отвисла, веки хлопают – и вытянули головы, чтобы лучше видеть. Взгляды всех повернулись от лохани туда, где скрещенные лучи высветили гиганта в великолепном одеянии из перьев, золота и драгоценных камней. В животе каждого будто прошел электрический разряд, из глоток двенадцати тысяч человек вырвались два грозных слова, и с горных вершин покати́лась лавина:

– Аурокан вернулся!

Слыша рев толпы, Акк пожал плечами. Чего они ждали от этих не слишком привлекательных ступней, погруженных в жидкость? Что за ослепительный костюм, о котором все говорят, если видна только грубая ряса? Чувствуя позыв к мочеиспусканию, Акк, вечный раб своих желаний (любую моральную проблему он разрешал при помощи фразы: «Это приносит мне наслаждение»), покинул товарищей в поисках укромного уголка на помосте. Нарастающий гул, прилив эмоций, стадо людей, коленопреклоненных перед юнцом, – все это было перечеркнуто удовольствием выпустить янтарную струю. От аббатова пляса из доски настила вылетел сучок; сквозь дырку виднелся заснувший под помостом солдат, изо рта которого вылетали храп и гнилостное дыхание. Акк прицелился и направил струю в глотку «спящей уродины». Облитый, тот мгновенно вскочил на ноги, сжимая автомат.

Поры на коже ног божества превратились в маленькие вулканы, извергающие жидкую грязь: густыми волнами она затопила лохань, накрыла помост и полилась на землю, достигнув скопища больных. Тонны и тонны!.. Никто не мог сдержать этого потока. Аурокан, приветствуемый крестьянами, возгласил:

– Наши ноги не обретут чистоту, пока плоть мира не вручит нам свою боль! Не Правосудие принес я, но Испытание!

«Что за чушь он тут порет? И почему у евреев вечно развивается мессианский комплекс?» – проворчал Акк и показал язык разъяренному солдату, который прижался к дырке посмотреть, что за козел помочился ему на лицо.

Какой-то глухой зачерпнул пригоршню грязи, помазал свои уши:

– Я слышу! Свершилось чудо!

И началась вакханалия. Коснувшись глинистой массы, паралитики прыгали, слепые прозревали, чахоточные издавали громоподобные звуки, бородавки и опухоли рассасывались, старики молодели, скелеты рахитичных детей обретали крепость. Поток достиг пока только двух первых кругов. Остальные источали нетерпение, жаждали дотронуться до чудесной материи. Солдаты, начавшие пить, когда пришел приказ Зума, были разбужены несчастной жертвой Акка, – в гневе и панике при виде скопления народа тот принялся пинать своих товарищей:

– Вставать, засранцы! Сталинисты наступают! Отечество в опасности!

И нажал на курок. Под треск автомата в телах, вымазанных грязью, стали распускаться сияющие цветы. Другие солдаты слотнули горькую слюну, что болью отозвалась в печени, и начали стрелять, медленно наступая на верующих. Те падали с блаженными криками.

Прибежал часовой:

– Измена! Эти сукины дети убивают наших!

Кто-то включил сирену.

Но вопль, повторенный множеством гортаней, заглушил ее вой:

– Да здравствует Чили! Смерть красным!

Теперь бойню было не остановить.

Лебатон, озабоченный битвой между своим оловянным войском и чахлыми кустиками, не слышал выстрелов. Когда солдаты, спускаясь с холма, принялись топтать его армию, он разразился безудержной руганью:

– Вы что, совсем тронулись? Смотрите, что вы наделали, ублюдки! Я вам штыки в задницу воткну!

Грубо расталкивая солдат и стараясь не попасть под танк, он занялся собиранием своих любимцев, нежно, по-матерински лаская их.

Миллионерша привстала с земли, чтобы видеть происходящее.

– Генерал Лебатон, хватит дурить! Остановите стрельбу!

– Это ты мне, наглая старуха? Получай!

Охваченный яростью, он дал ей кулаком в лицо, отчего вставная челюсть раскололась. Выплывавая сгустки крови, зубы, куски розовой пластмассы, Загорра повалилась навзничь, ударившись головой о колесо своего «роллс-ройса».

Акку, литератору, все события виделись тесно связанными с памятью и сразу же укладывались в калейдоскоп, где стенками были прошлое, настоящее и будущее, а центром – чистейшая меланхолия. Не испытывая сочувствия к овощам, потрясавшим своими кишками, он вспомнил, как умирала от чахотки его сестра Ия, в платье из бархата незрело-зеленого цвета, как на распятии Грюневальда, и подумал о вере в воскрешение плоти. Пробудиться в викторианском саду! Встретить там сестру с лютней в руках, целовать ее желтоватый лобок, рассказывать ей о названиях плодов земных, бродить среди королевских павлинов, отдыхать в тени статуй Праксителя! Нет болезни страшнее своей собственной, нет худшего несчастья, чем потерять самого себя. Настоящий писатель должен чувствовать, как журналист – иными словами, ничего. Наблюдать, делать пометки. Приподняв ткань, прикрывавшую навес, он пробрался в сторону монастыря, поднялся по медным ступенькам на башню, раскрыл записную книжку в переплете из змеиной кожи и вывел несколько первых фраз нового романа «У каждого бога – свой апокалипсис», следя за кровавой сценой бесстрастно, как за футбольным матчем.

Монахи, пав ниц, в ужасе молились. Аурокан занес кинжал, и металлический Христос испустил луч, дошедший до облаков. Ни один из членов Общества не мог поверить своим



глазам. Столько было говорено о конце мира, и вот он перед ними – не так, как воображали себе эти утонченные умы, а во всей неприглядности, и оттого невыносимый. Против всяких приличий, безнадежно пытаясь скрыть от других чудовищное нарушение светских правил, Хумс припал к карману куртки Зума, и его вывернуло. Его приятель, ошеломленный, автоматически произнес «Спасибо» и продолжал шевелиться, лежа на досках. Стрельба шла в убыстрявшемся ритме. Боли, обхватив ноги Аурукана, молила вонзить кинжал ей в грудь:

– Хочу умереть, чтобы жить дальше! Возьми меня с собой, Аурукан!

Из простреленных тел вырывалась разноцветная эктоплазма и, вращаясь вокруг луча, что исходил от клинка, образовывала сверкающий свод.

Спаситель выбрасывал из себя все больше и больше грязи. Толин единственный из всех знал, как это приятно, когда твои ноги обволакиваются чем-то, – его мать обувала его прямо в постели, после завтрака – и лежал в позе «Обнаженной Махи». Он заметил, что первый раз за всю жизнь его мускулы напряглись. Бросая вызов пулям, он соскочил с помоста и врезался в толпу, пытаясь удержать старуху, напомнившую ему бабу: та пыталась вытащить наружу свои кишки. Но поздно! Убийца, намотав их на член, извергал поток спермы. Толин обезумел. Он бегал между клетками, выпуская канареек. Птицы, объятые страхом, устремлялись в небо и понимали, что им там нечего делать, ибо их родиной были клетки. Выстрелы сбили их с толку, и они слетелись к своему освободителю, садясь ему на плечи, окружив его лимонно-желтым облаком. Толина было уже не разглядеть. Комок птиц надвигался на солдат: перейдя в лагерь темноты, холода, апатии, они пропустили небесное видение, олицетворявшее собой свет, тепло, подвижность. Напрасно Толин вопил, пытаясь стряхнуть с себя канареечный нимб: между ним и миром воздвиглась стена из птиц. Сам не зная как, он оказался в монастыре и остался стоять, раскинув руки, – предводитель небольшого войска.

Фон Хаммер полз, ища убежища в монастырских зданиях. Узнать его было нелегко: все волосы выпали. Увидев атакующих солдат, он решил, что это Великая война и повсюду вокруг – коммунистические засады, еврейские заговоры, козни североамериканского спрута. Немец поспешил на помощь славной нацистской армии Чили, уверенный, что займет пустующее место вождя, – он, воин, поэт, покоритель земли и духа. Битва не закончится, пока звезды не расположатся в виде свастики! Порыв его охладила пуля, попавшая в колено. Фон Хаммер упал в жидкую грязь. «Соотечественники, это я!..» – хотел он было крикнуть, но тут ему раздробили второе колено, и немец вытянулся замертво. Боль сделала его другим человеком. Он видел страшную бойню, где все павшие были им, фон Хаммером: сегодняшние мертвецы и жертвы всех войн, восхищавших его доселе. Он отрекся от «Майн Кампф»; волосы его начали выпадать. Когда солдаты удалились, он пополз в безопасное место. Мир рухнул, оставив ему имя, ничем не наполненное: фон Хаммер.

Деметрио не был привязан к семье, родине или даже к самому себе. Подобно Бодлеру, он любил облака, одни облака, восхитительные облака. Но сейчас Деметрио лежал, уткнувшись носом в землю. Впереди была смерть, и он, как ни удивительно, цеплялся за жизнь. Что он боялся утратить? За что держался так крепко? Не за внешность – она вызывала смех, не за творческий дар – сам же Деметрио отверг его, заявив, что не станет троянским конем для муз-захватчиц. Он жил уединенно на крохотном островке посреди своего разума, и потеря этого островка пугала его. Деметрио понюхал свои руки с их бесчисленными запахами, пригляделся к среднему пальцу с мозолью от пера и поклялся: если я выживу, буду любить все, даже вареную фасоль. Он стыдился давать такой зарок, но все же сделал это. Сколько раз он смотрел в зеркало – и кого видел там? Законченного труса! Все страшило его, вплоть до собственных идей. Сквозь ужас пробивалось удовольствие от чужой смерти. Деметрио не мог не оценить всю красоту, всю ядовитую прелесть цветов, распускавшихся в

плоти под действием пуль, будто воздушные поцелуи. Он сдержал в себе желание броситься на тела жертв, вонзить зубы в яремную вену. На смену тигриной жажде пришел понос – и, прокладывая извилистый путь через трупы, прикрываясь ими по мере надобности, Деметрию побрел к монастырю.

Га охватило безграничное ликование. Убийство возбуждало его так же, как изнасилование, член достиг размеров ангельской трубы. Он давно привык к студенческим и рабочим манифестациям, забросал камнями не одного полицейского и сжег не один автобус. О свист пуль, старая, знакомая песня! Он знал, что делать, если услышал ее, – и оторвал от помоста железный прут. Свод из разноцветных душ, вращавшийся вокруг Аурокана, вызвал у него рвотные позывы, не меньше, чем центнеры грязи и фанатическое самопожертвование верующих.

– Чудо – это не выход! Если встретишь Будду, убей его!

И Га бросился в бой. Облитый мочой солдат и его товарищи выкашивали первый ряд больных, которые, раскинув руки, бросались на автоматы. Га врезался в них, точно бегемот-мститель, и через пару секунд, молотя вымазанными грязью кулаками, превратил их мозги в кашу. Раздавив с хрустом чье-то плечо, он выхватил из подмышки у противника автомат, направил на Аурокана, спустил курок... Пуля попала в щеку, отразилась от скулы, прошла через глаз и, чиркнув по лбу, потерялась в туче пыли. На лице Аурокана остался шрам в виде буквы L, и он рухнул на землю. Созвездие душ исчезло, как и луч, служивший ему осью. Лишенная грязи почва вновь стала сухой и бесплодной. Боли, колотясь в судорогах, лизала шрам, пытаясь вернуть силу божеству. Поселяне, казалось, пробуждались ото сна. Среди разбросанных повсюду внутренностей валялись пять тысяч трупов. Четыреста солдат по-прежнему наступали, словно зомби, с примкнутыми штыками. Внезапный, безудержный гнев охватил оставшихся в живых. Как один кинулись они на военных, раздирая их на части ногтями и зубами. Против них бросили танки. Крестьяне побежали в горы, знакомые с

детства, и исчезли там. Как-то сразу стемнело; большая звезда возвестила о приходе ночи.

В этом стыке между мирами Лаурель Гольдберг чувствовал себя отверженным. Теперь его сопровождал прозрачный Ла Росита вместе с призраком головы Солабеллы. Находиться в мощном поле двух эфирных сущностей было настолько утомительно, что Лаурель подумывал, не сдаться ли солдатам. Пусть со мной покончат! Зачем сражаться такому неприкаянному, как я? Еврей, укорененный в культуре, но не в пространстве, он придавал большое значение слову «кто» и пренебрегал местоимением «где». Слишком поздно он осознал, что главное в его существовании – точка соприкосновения с материей. Он сожалел, что впустил захватчика в свое тело, став виновником своего несчастья. Лучше навсегда уйти...

Лаурель видел, как сияние Аурокана становится ослепительным шаром в окружении ореола душ: они служили божееству пищей, не ведая того. Аурокан жадно пожирал их, мерцающих, невинных, и, глотая, раздавался вширь. Даже твари, похожие на желе, спрятались в испуге. Тело Лауреля осталось свободным! Он мгновенно взлетел к серебристой нити и уцепился за нее, не заметив, что следом движется Ла Росита. Лаурель спустился к своему пупку, испытывая к нему новую, особенную нежность и с облегчением вступил во владение своим организмом. Ла Росита, подкравшись, вошел через темя и притаился на задворках сознания, готовый при малейшей оплошности Лауреля захватить власть над телом.

Выпучив жабыи глаза, Га смерчем ворвался в монастырь:  
– Танки целятся в нас! Сейчас будет стрельба! Спасайся кто может!

Перед лицом угрозы аббат послал брата Теолептуса, игравшего на пианино, сесть за клавиши колокольного механизма и подобрать что-нибудь успокаивающее. Теолептус взобрался на башню, включил инструмент и заиграл фортепьянную партию из шёнберговского «Лунного Пьеро». Танки, нуждаясь в новых жертвах, полные ненависти к непонятной музыке – иностранной и развращающей, – взяли башню на прицел

и выстрелили. Алюминий, мрамор, прочие холодные материалы, пошедшие на архитектурные причуды, нагрелись и, падая, словно облака, цветы, пена, первый раз вписались в окрестный пейзаж. Брат Теолептус осыпался по частям на пол со своей незаконченной фреской; красные лоскутки стали последним штрихом, плавниками рыб в четырех океанах, на которых опирались ноги Христа.

Крошечный кусочек плоти Теолептуса упал на нос аббата. Тот печально и торжественно прошествовал к алтарю, взял облатку и положил ее в чашу. Потом затянул панихиду по усопшему среди грохота пушек и падения крестов.

Когда крестьяне кинулись на солдат, Лаурель проснулся в объятиях Боли и почувствовал укол в печень.

– Не растрачивай попусту свою любовь! Это я, Лаурель!

Боли издала разочарованное «о-о!». Лауреля с ног до головы пронизала дрожь:

– Я для тебя ничто! Тебе важно только тело, потому что в нем обитал твой любимый. Но знай, что твоя страсть направлена на меня! Я питал это тело, умягчал его молитвами. Я сохранил его девственным. Я – творец волшебства, и напрасно приписывать его демону, который прикрылся моей невинной оболочкой. Пока ты не признаешь, что тебе нужен я, ты не дотронешься до меня!

И он грубо оттолкнул девушку.

Боли, ослепленная взглядом глаз, некогда служивших Аурокану, слушала его, но не слышала. Наступление одержимых прекратилось, и, конечно же, Лаурель не замедлит поддаться ее чарам. Клетки этого тела хранили, подобно Граалю, память о Боге.

Крестьяне обратились в бегство, и бенедиктинцы поняли, что заслона между ними и танками больше нет. Они быстро поползли по песку, сдиравшему кожу, в направлении монастыря. Среди монахов были Зум и Хумс; последний то и дело морщил нос от вони, доносившейся из кармана приятеля.

– Где твой вкус?! Носи в карманах духи «Жуа» вместо этого прокисшего уксуса!

Зум опустил руку туда, куда указывали дрожащие ноздри Хумса, и достал пригоршню зелено-лиловой массы. Испытав рвотный позыв, он пополз быстрее и первым достиг монастырских ворот.

Энаниту, прикрытую смуглыми руками Ла Кабры, начали терзать родовые схватки; они непрерывно учащались. Лаурель нес золотую лохань, завернув ее в собственное праздничное облачение. Боли шла перед ним, виляя то вправо, то влево, добровольно обрекая себя на страдания, чтобы выбрать для обожаемого тела путь, свободный от острых камней. Лаурель же в гнев шел, не разбирая дороги. Шрам на лбу жег кожу, словно расплавленный свинец. Он улыбнулся: на лице его остался знак L – Лаурель, а не A – Аурокан! Все происходит с умыслом, случайностей нет. Итак, в этом теле должен обитать он, отныне и навсегда.

Ла Росита, строя коварные планы, следил за мыслями приютившего его мозга. Для себя он решил, что L означает «Ла», и помолился, чтобы новый выстрел прочертил на другой щеке R, то есть «Росита».

Все они добрались до монастыря на полминуты раньше Га. Когда разлетелся музыкальный механизм и невозмутимый Акк спустился с наблюдательного пункта, записывая обстоятельства превращения брата Теолептуса в отбивную, выяснилось, что не хватает Аламиро Марсиланьеса и Эстрельи Диас Барум.

Поэтессе мешала двигаться ползком ее обширная грудь. Скоро они с Марсиланьесом отстали. Аламиро подумал:

– Она сказала, что можно вставлять ей во все дырки, кроме главной, предназначенной для человека с божественным ликом. Но фон Хаммер уже сунул туда свой револьвер; и где Аурокан? Капитан Черные Сиськи, вперед! Теперь-то я возьму свое!

И Марсиланьес отключил возлюбленную ударом камня в висок. Он потащил ее под помост, расстегнул брюки, обнажил мускулистые ноги Эстрельи, сжал ее ягодицу и вошел в женщину страстно, до конца. Аламиро работал с мощью

быка и быстротой швейной машинки. Влагалище, непривычное к подобным опытам, откликнулось первым: удивление, затем удовольствие, предвкушение, экстаз. Эстрелья пришла в себя и хотела было отбросить своего поклонника кулаком, но могучий оргазм заставил ее заскрипеть зубами и раскинуться на земле морской звездой. Чтобы упрочить свои позиции, Марсиланьес ускорил телодвижения. Последовала новая разрядка, третья, четвертая, пятая. Безвольно-покорная, то расслабляясь, то напрягаясь, экс-чемпионка поддалась наслаждению, вытягиваясь до хруста в суставах. Она кончила двадцать раз, потом тридцать, а ее партнер, полный решимости дойти до конца, все терся о женщину лбом, доставляя ей новые и новые ощущения. Эстрелья ухватилась за опору помоста, и вся конструкция стала раскачиваться в том же ритме, теряя доски под кошачьи завывания и крики «Получай!». Наконец, Эстрелья выдохнула:

– Давай же, любовь моя, сильнее, давай, быстрее, до самого дна!

Шестидесятый раз был настолько бурным, что часть убранства сцены обрушилась. Экипажи танков, занятые монастырем, не обратили на это внимания. Ворох пепла с башен осыпался на «роллс-ройс», возле которого лежала Загорра.

Огонек блеснул на несколько мгновений и исчез в траве. Генерал Лебатон продолжал искать своих солдатиков, зажигая спички.

От гула пушек автомобиль задрожал, и беззубая Загорра очнулась. Пронизывающий холод заставил ее вспомнить все бессмертные женские образы, от Изиды до Венеры, не исключая Медузу Горгону. Тремя прыжками приблизилась она к склоненной фигуре того, кто посмел не выказать ей должного уважения, и с силой амазонки пнула его по яйцам, отчего генерал сначала встал в классическую позицию на четвереньках, а затем принял зародышевую позу.

– Свинья в погонах! Проглоти своих солдатиков, или я разобью тебе не только два жалких ореха! Давай, мышь в обличии петуха!

И, пользуясь временным бессилием противника, нанесла второй удар в то же место. Хлесткими пощечинами Загорра вывела его из оцепенения и, одной рукой ухватив за загривок, другой скормила ему гусара времен Первой республики.

Генерал Лебатон проникся к ней необъяснимым почтением, превратившись в трехлетнего ребенка. Пуская слюни, он попросил прощения у властной женщины и выполнил ее приказ с хныканьем и рвотой. Когда он, давясь, приступал к третьему солдатику, его повелительница, показав на гору трупов и разрушенный храм, прогремела:

– Смотри, что ты наделал, идиот! Убийство монахов – это стопроцентный международный скандал! Чили сравниют с землей! Мы еще поговорим об этом, а сейчас идем!

Лебатон поплелся за ней, как побитый пес, и они покатили в «роллс-ройсе» со скоростью в двести километров навстречу неизбежной расплате. Генерал обратился к бессмертному духу Наполеона: да поможет он переварить мушкетера, зуава и гусара.

В самом безопасном уголке монастыря аббат, окруженный монахами и приезжими, молился, стоя на коленях, защищаясь Библией от кусков серебра: раньше они служили материалом для крыши в стиле Гауди, а теперь, после пальбы, падали, норовя украсить собой чью-нибудь тонзуру.

– Христос, учитель наш, перед твоими святыми евангелиями клянусь, что если ты освободишь нас от этого испытания, я не сомкну глаз, пока не воздвигну в твою честь новый монастырь – из кирпича, камня, соломы и дерева. К мессе будет созывать простой колокол. Мы станем причащаться хлебом, приготовленным в глиняной печи из обычной деревенской муки. Вместо синих тюльпанов мы высадим мяту, лапагерию<sup>1</sup>, маргаритки, полевые маки, больдо и мирт. Вместо григорианских песнопений будут звучать напевы под звуки арфы и гитары... Мы заставим всех монахов пройти интенсивный курс испанского и выучить наш язык за неделю...

---

<sup>1</sup> Лапагерия розовая считается национальным цветком Чили.



Раздался пушечный выстрел, и половины помещения не стало. Абсида, однако, удержалась, прикрывая искалеченные тела, распластанные на полу. К счастью, никого не убило.

Послышался скрип шин: в облаке пыли перед монастырем затормозил «роллс-ройс», откуда вышел Лебатон с трехцветным знаменем в руках.

– Прекратить, мать вашу! Выйти из танков, дерьмо, или всех расстреляю! Что, обделались, недоноски?

И так как войско его, ослепленное жаждой крови, прекращать не собиралось, генерал затынул – фальшиво, но звучно – национальный гимн:

Небо чистой блестит синевою...

Загорра, вытянув руку в военном приветствии, присоединилась к нему:

Чистый воздух отраден нам всем...

Бенедиктинцы и члены Общества клубня оборванные и обожженные, поняв важность момента, встали из руин:

А луга с изумрудной травой...

Аламиро Марсиланьес и Эстрелья Диас Барум, празднуя сотый оргазм, выбрались из-под груды досок и, плечом к плечу, подхватили:

На цветущий похожи Эдем!

Слово «Эдем» эхом прокатилось над мертвыми телами, исчезнув в горах. Облака разошлись, выплыла полная луна. В этот светлый миг Энанита кое-как пробралась к алтарю, простерлась перед ним, раздвинула ноги, родила младенца, перегрызла зубами пуповину и протянула плачущего сына к звездному небу.

День зимнего солнцестояния закончился.

## VII. «РАССКАЗЫ ВАМПИРА»

*Зачем спрашивать «кто?», если вина безгранична?*

**Первая фраза в романе Акка**

**«Книга о Хамсе и Заме».**

Был полдень – но, несмотря на это, Зум рассуждал о сумерках. Он сидел перед цветком розы в позе полулотоса. (Позу лотоса он не практиковал уже лет десять: как уверял Хумс, когда-то прыгучий, как сверчок, Зум стал похож на кабана, а затем на бегемота.) Зум достал флакончик фиолетовых чернил, вставил перо в перламутровую ручку, открыл свой дневник и принялся заносить на бумагу то же стихотворение, что и прежде, с ничтожными отличиями: «О дочь заката, наклоненный стебель, готическая страсть, пчелиный храм...» Он раскрыл бутон, где угнездилась пчела, и... На этот раз насекомое не вырвалось, унося с собой секрет цветка, но продолжало высасывать сладкий сок! Вне себя от волнения, Зум окунул перо в чернила, покрутил его зачем-то несколько раз и с несокрушимым спокойствием, что приходит лишь по особым случаям, вывел: «чистое око». Он начал описание с важнейшей точки, божественного копья, предвестительного жезла, оконечности столба, на коем стоит Вселенная; перешел к шести лапкам, звезде Давида, королевской лилии, лучам Светила посвященных; спустился к брюшку, золотому куполу, священной горе, ковчегу Закона; поднялся к крыльям, ангельским орудиям, тайной материи сердца; и наконец, добрался до челюстей, спутав их с хоботком бабочки, – до трубы Страшного суда, отделяющей плотное от прозрачного, возносящей бесконечные мольбы к океану нектара, первой букве изначального алфавита. Он уже сам не понимал, что пишет. Стихотворение диктовали музы! Пчела села на лацкан его пиджака и застыла неподвижно, как орден. Пока невидимые всадницы, скача на пегасах, водили

его рукой, Зум попытался объяснить поведение насекомого. Утром среди руин монастыря нашлось несколько бочек со святой водой из Рима, Зум зачерпнул ее, чтобы почистить свою шляпу. Возможно, пчелка уловила следы папского благословения. Весь пропитанный святостью, получивший крылатую медаль Зум, ожидая, пока высохнет перо, обвел взглядом долину.

Там подбирали трупы, укладывая их в грузовики. Цистерны на колесах поливали землю известью. Сотни солдат сооружали вокруг монастыря стену из бетонных блоков. На стене висел плакат, гласивший, что монастырь закрыт на реконструкцию.

В шесть утра прибыли три «кадиллака» в сопровождении дюжины мотоциклистов. Внутри сидели важные господа в английских костюмах, черных очках, шевровых перчатках и серых галстуках, – они все время повторяли «да» и заносили в блокноты то, что говорил один из них. Это были министры, а с ними – сам президент Геге Виуэла. Они побеседовали с Загоррой и аббатом, вызвали к себе Лебатона. Отдали распоряжения. Уехали. Дороги объявили закрытыми до тех пор, пока последние останки не будут увезены в мусоросжигающие печи. В прессе сообщили о землетрясении в Андах, жертв нет. Когда очистка местности завершится, поэты смогут вернуться домой.

Зум, чтобы убить время, решил прогуляться к холму. Чудесная пчела! Величайший триумф в его жизни! Теперь он заткнет рот Хумсу, и тот не сможет повторять «Как это ты видишь?» Он, Зум, вырвал у пчелы ее тайну! И запечатлел на бумаге!

Он достал дневник и обратился к невидимым звездам:

– Спасибо вам, мои покровительницы: я испытал приступ вдохновения и...

Пчела изо всей силы вонзила жало в нос поэту и, присев на страницы раскрытой тетради, что валялась в траве, стала ходить по фиолетовым буковкам, туда-сюда, вверх-вниз, поворачиваясь, пытаясь взлететь, и наконец, после судорожной агонии испустила дух, зачеркнув таким образом стихотворение.

Зум зарыдал, не из-за вспухшего носа, а из-за крушения надежд, уверенный, что никогда не сможет подняться на высоту своего главного творения. Ему, как и Моисею, показали издалека землю обетованную, – но войти не позволили.

Он растоптал розу и побрел обратно. Со смертью пчелы умерло Слово.

Спецбригады прочесывали горы, не встречая ни одного крестьянина. Местность выглядела, как после чумы. На полях – ни души. Из печей доносился запах свежего хлеба. Лаяли собаки. Генерал Лебатон, сняв ботинки, засучив брюки до колен, прятался ото всех за картиной брата Теолептуса и напрягался изо всех сил, корчась от боли, пока из него не вышли гусар, мушкетер и зуав. Он щелкнул языком, жалея самого себя, и прикрыл образовавшуюся кучку обломками кафельной плитки. Президент, конечно, не смог разобраться во всех этих историях с чудесами, коллективным безумием и арауканскими богами и списал все на происки коммунистов. Поэты, свободные от подозрений – их невиновность удостоверяла госпожа Загорра, – после ухода войск направились в свою академию. Министр труда собрал безработных со всей страны, чтобы те заняли место исчезнувших жителей. Жизнь фон Хаммера все еще находилась в опасности: ему следовало ампутировать ногу, и как можно скорее. Но везти его в больницу означало демонстрировать всем огнестрельные ранения, слетелись бы журналисты, честь армии оказалась бы запятнана, а слова высшего должностного лица – поставлены под сомнение. Лебатон пожал плечами. Случилось нечто из ряда вон выходящее. После того как Загорра задала ему трепку, он не переставал думать о ней, несмотря на морщинистое лицо и осиротевшие десны сеньоры. Среди кухонной утвари блестели весы. Генерал мысленно положил на одну чашку все свое воинство, а на другую – даму, завоевавшую его сердце. Чашки покачались, пришли в равновесие и начали медленно склоняться в пользу Загорры. Сорок лет безупречной службы коту под хвост. Лебатон затянул потуже ремень и, преодолевая боль в животе, бросил:

– Если женщина стоит больше, чем стадо быков, будем покупать не кнут, а гребенку!

Уже было три часа дня, а солдаты все не уходили. Принесли свиных колбасок, ветчины, говядины, однако никто не мог взять в рот даже кусочка мяса. Фон Хаммер со взглядом, отуманенным сорокаградусной лихорадкой, просил вызвать врача.

Лаурель, с гноящимся глазом, отвергал все заботы Боли, не выпуская из рук лохани. Он искал убежища в снах, но напрасно, ибо ему, по наущению Ла Роситы, снились одни только гомосексуальные оргии.

Энанита, кормя ребенка, предложила Ла Кабре попить молока из свободной груди. Приложившись к соску, он заметил ореол вокруг головы молодой матери. Та с ангельской улыбкой посмотрела на ребенка, потом на него. Ла Кабра протянул руку к своему сыну и, в знак того, что мир заключен, сделал большой глоток.

Пользуясь затишьем, Боли взяла слово:

– Аурокан явился в этот мир, чтобы доказать истинность чудес...

– Хватит! Не хватало еще, чтобы всякая недоделанная устрица пудрила мне мозги иудео-христианскими измышлениями!

Боли, униженная, терпеливо ответила:

– Если ты не веришь в подлинность той глины, вот тебе кусок твоего сна...

Она бережно развернула позолоченную лохань: на дне ее были остатки пахучей глины!

Этой глиной помазали ногу немца, а также L на лице Лауреля. Генерал Лебатон с натужным хрипом спросил, не осталось ли еще немного: он страдает от недуга, в котором стыдно признаться. Ему дали последнюю пригоршню. Он отошел в сторонку, проглотил полпорции, а остальное использовал как горчичник. Немедленно по его внутренностям, вплоть до ягодиц, разлилось блаженство, и генерал, приплясывая, вновь присоединился к остальным.

Он воспользовался этим обстоятельством, чтобы пристроиться рядом с Загоррой.

Кости тут же срослись, и фон Хаммер смог ходить – правда, одна нога так и осталась короче другой.

Лаурель обрел зрение на оба глаза, а от шрама осталась лишь красная полоса.

Немец поцеловал еврейке обе руки.

Дементрио в знак своей неизменной разочарованности трижды хлопнул в ладоши.

Лебатона ждал военный автомобиль. Войска, очистив долину и уничтожив следы несчастья, возвратились в казармы.

– Поезжай без меня, – сказал Лебатон шоферу. – Я вернусь в грузовике вместе со штатскими. – И, поймав удивленный взгляд водителя, прикрикнул на него: – Молчать, свинья! – после чего вновь занял свое место подле Загорры.

Никто не издавал ни звука: все ощущали себя пленниками чего-то невыразимого. Хумс рискнул первым нарушить тишину:

– Помните ту книгу, «Веталапанчавимстика»...

Выплюнув изо рта кусочек мрамора, из-за которого длинное слово прозвучало невнятно, он продолжил:

– ... ту, что переведена с санскрита как «Рассказы вампира»? Царь тащит на плечах труп человека, который был повешен на дереве. Пока он изнемогает под страшным грузом, вампир, обитающий в мертвом теле, рассказывает всяческие истории – загадки, которые монарх должен отгадать. Как только очередная загадка раскрыта, труп возвращается на дерево. Царь должен отгадать все, чтобы избавиться от призрака... Мы тащим на себе не одного покойника, но тысячи. И пока не установим, кто виновен во всем этом, тысячи вампиров будут сидеть у нас на плечах...

Его перебил аббат, окруженный монахами, изучавшими испанский при помощи темно-серого словаря:

– Это мы виноваты! Мы построили монастырь, предназначенный не для этих краев! Если бы все здесь было понятно крестьянам, они не поклонялись бы языческим богам!

Лаурель воздел руки к небу:

– Стойте! Виноват я, и никто больше! Это в меня вселился Аурокан! Это я стал блудницей, соблазнившей демона!

– Нет, я! Я! Я! – закричала Боли. – Перестань считать себя пупом мира! Если ты превратился в Аурокана, виновата я! Что мне стоило сойтись с тобой? Мой эгоизм – причина твоей чистоты, а твоя чистота привлекла внимание бога. Это из-за меня все завертелось...

– Прекрати! – вмешался фон Хаммер, возложив себе на голову черепаху. – Это я похитил тебя. Если бы ты не влюбилась в меня, ты давно стала бы женой Лауреля. *Mea culpa!*

– Простите, сударь, но катастрофа разразилась из-за меня. Я посчитал простое скопление народа антиправительственной демонстрацией! Я вызвал войска! Из-за моего промаха явился второй всадник, с мечом в руке...

Генерал Лебатон нервно хрипел и откашливался, пытаясь добавить хоть немного сахара в свой голос, привыкший к непристойностям:

– Извините, госпожа Загорра, но я не могу допустить, чтобы такая женщина, как вы, волокла на себе тяжкий груз. Хотя никто и не хочет разговаривать со мной, я вмешался в беседу, дабы признать свою ошибку. Достаточно было одной команды, чтобы эти макаки не сделали ни выстрела, но я в это время играл с солдатиками...

Загорра, забыв, что вокруг люди, погладила его погон.

– Генерал, я так раскаиваюсь, что заставила вас проглотить...

– Сеньора, мы оба вспыльчивы. Это мне следует раскаиваться. Вы оказали мне благодеяние...

– Должна признаться, что, пусть даже с вами никто не хочет разговаривать, – я все равно считаю вас достойным моего уважения!

– О!

Тут, к изумлению всех присутствующих, и в первую очередь – себя, Лебатон разразился слезами, склонив голову на грудь миллионерши.

Зум, бледный, с дрожащими коленями и потупленным взглядом, ковыряя землю, пропищал тоненьким голоском:

– Если бы только мне не захотелось поиграть в «слепую курочку»...

Хумс прервал его:

– Пустяки! Это ведь я приказал им заснуть под помостом!

– Неблагодарная шлюха! Я пытался сделать так, чтобы тебя не проткнули шесть штыков, и навлек на всех беду!

– Солдаты стреляли, потому что напились! Это я нашел ящики с водкой! И от этого случилась бойня!.. – завопил Толин, испугав своих птичек.

Энанита и Ла Кабра заговорили одновременно, очень тихо, чтобы не разбудить ребенка, хотя вокруг стоял гвалт.

– Это мы предложили пойти на кладбище, помянуть Ла Роситу. Если бы не поминальный банкет, никто не оказался бы здесь. Мы – подлинные виновники!

Марсиланьес и Барум вспомнили, что они заявили к концу пиршества, из-за чего образовалось нужное число апостолов. Не соберись их двенадцать человек, Аурокан не вернулся бы.

Акк скривил губы в холодной усмешке, поправил пестрый галстук и стукнул в ладоши, держа их пальцами вверх, как учил его наставник, – правда, пальцы не утратили своего всегдашнего полнокровия.

– Довольно! Настало время искренности! Я не чувствую себя виновным ни в чем! Я удовлетворен! Я умиротворен! Жизнь продолжается!

Молчаливое негодование. Все замерли, но эта обездвиженность скрывала под собой вулканический поток гнева. Первым пришел в себя Хумс. Закусив губу, он вырвал из подмышки у Акка тетрадь. С пронзительным «а-а-а!» тот кинулся на учителя, но подножка Зума заставила его проехаться носом по каменным плитам. Не успел Акк подняться, все еще полный боевого задора, как Га пригвоздил его спиной к полу, наступив ногой на грудь. Хумс кинул тетрадь в камин, листки вспыхнули. Акк в эпилептическом припадке высвободился, дотянулся до пламени и, весь в ожогах, вытащил заветную птицу, которая под дыханием ветра уже лишилась сотни крыльев. Роман Акка стаей черных воронов устремился к вечным снегам.



– Вот тебе урок! Хватит высасывать из нас все соки! Ищи персонажей в другом месте!

Это высказывание Хумса получило всеобщее одобрение. Генерал поднял свой пистолет:

– А ну-ка, молокосос, делай ноги! И побыстрее!

Акк, полиловев, удалился с воплем:

– Все началось потому, что я помочился в рот солдату, а не на ваши рожи! От меня не так-то легко избавиться! Я проберусь на ваши вечеринки, переодетый паяцем!

Лебатон выстрелил ему вслед. Акк исчез в направлении гор. Деметрио, изнывая от презрения к самому себе, не сдержался:

– Меня, меня накажите! Я никому не помог, опьяненный запахом смерти! Мои желания были преступными! Я хуже солдат, потому что бойня доставила мне животное удовольствие!

Поэт ожидал взрыва возмущения, гнева, жалости, но лавры были у него тотчас же отняты. Лаурель впал в кратковременный обморок и очнулся другим человеком. Кисти его задвигались, грудь выпятилась, губы надулись, жилы на шее набухли, и он заговорил голосом Ла Роситы:

– Да, ребята, вот наконец и я. Как я по всем скучал! *Amicus Plato, sed magis amica veritas*<sup>1</sup>: легенда о моей смерти лжива. Никогда не было во мне столько веры, чтобы воспарить ввысь. Этот мой полет а-ля Иосиф Купертинский – выдумка Бето, церковного служки. Кто не знает, позади статуи Святого Георгия есть уютная ниша. Там-то мы с Бето всегда и прятались, прямо посреди мессы. Бето обычно размахивал кадьницей и забегал в нишу, где я задираю ему рясю. А тем вечером церковь была пуста, потому что показывали соревнования по боксу. Испытав блаженство, я вспомнил о своих альпинистских достижениях и решил взобраться на макушку Святому Георгию. И мне это удалось! Но к несчастью, я потерял равновесие и упал прямо на копье. *Acta est fabula*!<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Платон мне друг, но истина дороже (*лат.*)

<sup>2</sup> Представление окончено (*лат.*)

В общем-то, такая смерть мне подходила: сзади я напоминал цыпленка на вертеле, а спереди парящего в небе орла! Желаю и вам того же. Относитесь к гибели людей спокойно. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Если вы пороетесь в отделе периодики национальной библиотеки, то увидите, что подобные события случались и раньше. В 1906-м в Икике были расстреляны шесть тысяч забастовщиков, горняков, которые требовали повышения зарплаты. В 1921-м в Сан-Грегорио войска уничтожили несколько сотен рабочих вместе с их женами и детьми. В 1925-м – обстрел Ла-Коруньи из пушек; шестьсот оставшихся в живых добились солдаты, вошедшие в город. Надо ли продолжать? Массовые расстрелы – часть нашей национальной традиции. Помните девиз на чилийском гербе: «Разумом или силой!»? Чтобы совсем покончить с вашими душевными муками, отдайте кесарю кесарево: это я был учителем Лауреля и, следовательно, виноват во всем. Сколько раз в кафе «Ирис», после заседаний академии, мы беседовали о «Восхождении на гору Кармель», о «Подражании Христу»! Я показал ему архивные сокровища, касающиеся арауканской религии, я дал ему прочесть работы Блаватской, ибн Араби, «Зогар», «Догмы и ритуал высшей магии». Я внушил ему, что моя библиотека подарит тому, кто принесет себя в жертву ей, не только вечную жизнь, но и беспредельную власть. «Читай, читай, учись, работай, перечитывай, молись и достигнешь своего». С меня все началось – пусть на мне и закончится! До встречи, родные мои! Любовь и культура!

Лаурель снова впал в беспамятство на несколько мгновений, затем открыл глаза.

– Что со мной?

Боли всхлипнула:

– Посмотри, что мы наделали! Могли обрести нового бога, а получили продырявленного мошенника!

С гор повеяло ночным холодом и запахом мокрого камня. Внутри у каждого словно разлилось море чернил, губы сжались, пальцы суеверно скрестились, вздохи смешались с лаем собак вдали. Зум нарушил молчание, произнес вычитанную где-то фразу:

– К чему оплакивать пролитое молоко, если все силы мироздания объединились, чтобы опрокинуть кувшин?

Загорра, блеснув вставной челюстью – в машине обнаружилась запасная, – предложила Лебатону пойти поискать изгнанника. Генерал повиновался, маршируя за ней гусиным шагом.

Хумс занялся приготовлением пирожков с луком. За неимением вина запивать пришлось святой водой. Вернулись Загорра с генералом, а за ними – Акк, кутаясь в воображаемую мантию. Ему устроили королевскую встречу. Он снисходительно протянул Хумсу с Зумом руку для поцелуя и жадно накинулся на предложенный пирожок, едва не проглотив язык.

Энанита попросила аббата крестить ее младенца. Все встали перед алтарем, образовав восьмиугольник. Мать решила назвать сына Кристобалем Колоном. Рожденный в ночи, которая казалась бесконечной, этот ребенок вырастет, и, быть может, под его водительством все они пойдут в рай, чтобы разбить херувимское воинство, отразить удары огненного меча, преодолеть запретную дверь и вкушать от плодов Древа Жизни.

Вдали, на горной дороге, засветился огонек. Три темные фигуры понемногу приближались под мелодию вальса. Один напевал, двое подыгрывали на гитаре и перкуссии. Да это же голос паяца Пирипи! К его шее было подвешено деревянное блюдо, полное монет из бронзы; монеты подпрыгивали в такт мелодии. И к тому же – черный фрак, джемпер с высоким горлом, прямо над которым – алые губы, словно огненный корабль, ноздри, выкрашенные серебром, большие красные башмаки – две яркие бабочки на поле брани!

Знаю, заповедей десять,  
но одна лишь для меня...

Эми и Эма, две старухи, искусные в танце живота, усыпанные блестками, усыпанные с ног до головы блестками, вели ослепшего музыканта. И вот они приблизились к бывшему – увы, бывшему! – монастырскому приюту для путников.

...быть свободным, словно ветер,  
вечно помня о корнях!

Странников усадили у огня, дали им мятной настойки. Эми достала из пакетика, завернутого в шелк, три рисовых колобка. Одна из женщин наклонилась назад, другая – вперед, а слепец сидел между ними, прямой, как стрелка весов. Все трое принялись за еду, тщательно пережевывая каждое зернышко. Скупые на слова и жесты, древние как мир, нищие отбрасывали гигантские тени на развалины монастыря и казались тремя волхвами. Энанита положила младенца на колени Пирипики; паяц возложил на крошечную головку руку в перчатке, и белокурый Кристоаль Колон заснул глубоким сном.

Загорра вспомнила, что ее просили устроить паяцу бенефис. Никому не были нужны его выступления – не только из-за дряхлости самого Пирипики, но и потому, что он отказывался заменить двух тронутых старух молоденькими балеринами. «Они – два столпа моего храма», – так объяснял паяц. Оттого он и сделался нищим бродягой, распевая как ни в чем ни бывало:

Пусть дорога утомила, –  
я ее давно спрямил:  
кто скитается по миру,  
тот в себе вмещает мир!

Внезапно миллионерша предложила:

– Давайте откроем цирк! Все смогут участвовать! Расходы на мой счет! Ну, кто здесь смелый?

Лебатон мгновенно откликнулся:

– Я в полной боевой готовности, сеньора! Правда, я знаю только военное дело. Но, став сеньором Моралесом, я охотно примусь за дела цирковые!

Эстрелья Диас Барум присоединилась:

– Я могу заняться чревовещанием.

– Только чтоб голос не был как из-под земли! – вступил в разговор Марсиланьес и предложил себя в качестве живой куклы.

Энтузиазм рос на глазах. Толин и Ла Кабра обеспечат музыку. Хумс и Зум будут выступать как дуэт ясновидцев, «Хамс и Зам». Га, прирожденный Геркулес, станет разрывать цепи. Фон Хаммер – жонглировать кинжалами. Лаурель и Боли – исполнять номера на канате. Энанита – дрессировать кошек...

Акк оборвал поток мечтаний:

– Давайте посмотрим трезво: никто из нас ни к чему не способен! Все мы в лучшем случае – паяцы, и не больше!

И продолжил издевательским фальцетом, кривляясь поклоунски:

– Да, ребята, вот наконец и я! Сколько раз я вас находил, хотя так и не начал поисков!

Все отозвались такими же пронзительными голосами:

– Спасибо, доброй ночи, не за что!

## VIII. В ПОИСКАХ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЯ

*У нас все прекрасно! Нужно только одно: избавиться от  
этой бесконечной тревоги.*

**Га, из речи на открытии цирка.**

– Предатель! Бесстыдник! Продажная шкура!

Хромец Вальдивия не смог дальше сыпать оскорблениями в адрес президента, выступавшего по радио, потому что к горлу его подкатили рыдания.

– А ведь в сорок шестом мы выбрали его подавляющим большинством... Поверили его собачьей улыбке...

Политическая жизнь в стране замерла: только что Коммунистическая партия была объявлена вне закона. Завтра военные начнут преследовать, бросать в тюрьмы и пытаться сорок тысяч партийных активистов.

Председатель Поэтического общества дон Непомусено Виньяс открыл третью бутылку вина и наполнил бокал хромого Вальдивии, своего друга и секретаря Отдела пропаганды. Как рисовальщик букв (он работал в кинотеатре «Идеал», где ежедневно меняли вывеску), он обладал способностью судить о литературной продукции своих сотоварищей. Его мнение весьма ценилось. Вальдивии достаточно было беглого взгляда, чтобы определить, насколько поэт злоупотребляет буквой «м», и наоборот – велик ли недостаток в «т» и «п». Сверх того, он говорил по-французски. Но не потому, что учился этому языку в школе – он начал трудовую жизнь в девять лет, продавая засахаренный арахис в фойе кинотеатра: просто отец его был французом. Вальдивией он звался по матери. Некогда Франко-Чилийский институт культуры пригласил Жана Како Ле Ру распространять гальское наречие среди студентов, аристократов и людей искусства, имея в виду развитие туризма и создание новых рынков для французских товаров. Месье

Ле Ру пришлось покинуть свою холостяцкую комнатку (два на три метра, туалет в конце общего коридора) и приземлиться в пансионе сеньоры Панчи, дабы тотчас же ощутить свою никому-не-нужность, заняться утоплением тоски в стакане «перно», забросить занятия, быть изгнанным из Института, изнасиловать служанку в приступе белой горячки, произвести на свет дитя, у которого колени получились согнутыми под тупым углом, из-за чего ребенок ходил на цыпочках, наклонившись вперед, как птица.

Жан Како Ле Ру, уже неспособный протрезветь, решил, что его сын – попугай, и заставил свою «бабенку» одевать его в зеленое. До девяти лет юного Вальдивию принуждали исполнять роль птицы, и он не слышал в свой адрес нежных слов, кроме: «Попугайчик, съешь бананчик». Отец его не мылся, не снимал одежды и однажды ночью, выбравшись на улицу, был сожран бродячими псами. В «Робинзоне Крузо», с которым Ле Ру никогда не расставался, нашли бумажку с его собственноручной фразой: «Voici une blessure: lie-la et porte-la toute ta vie...»<sup>1</sup>

Дон Непомусено Виньяс, после пинка в зад, полученного от Ла Кабры на памятном заседании Общества, точно свалился с неба на землю. Понемногу он понял, что прежним ему уже не стать. В его мир, пусть и через задний ход, ворвался ураган, разметавший все: кумиров, поэтические теории, представления о себе самом. Тысячу и один раз дон Непомусено воображал, как он, желтый от гнева, опускает кулак на голову святотатца, – и все же произнесенные избитым Ла Каброй слова указывали путь: Лотреамон, Руми, Экхарт, Беме, Рильке, Басё, Халадж...

Хромец заходил раз в месяц – во-первых, прочесть свои последние сонеты и подсчитать, насколько в них соблюдено равновесие между буквами (дон Непомусено придавал непомерно большое значение употреблению «U» и «I», считая первую букву символом женского органа, а вторую – мужского, и

---

<sup>1</sup> Перевяжи свою рану и носи ее до конца жизни... (фр.)

поэтому любой, самый возвышенный стих для него отдавал борделем), а во-вторых, принять горячую ванну. Виньясу было нелегко отказать товарищу в помывке, однако хромой Вальдивия был настолько рассеян и дурно воспитан, что всякий раз забывал вынуть пробку, выставляя на обозрение грязную жидкость, полную волос и чешуек кожи. Правая рука Виньяса, привычная к начертанию полных небесной гармонии строк, погружалась в зловонную воду и открывала ей путь прямоком в канализацию. В последний раз он подумал, что запустить в ванну рыбок будет неплохим выходом из положения.

– Дорогой Вальдивия, ты знаешь: что мое – то твое. Но сегодня, к сожалению, ванна отменяется: я решил разводить в ней рыбок.

– Это неважно, светоч нашей поэзии. Я не буду пользоваться мылом. А холодная вода как раз полезна для моих коленей. Представьте себе, они теперь сгибаются под прямым углом, и если не принять мер, мне придется купить специальный костыль для шеи...

Хромец плюхнулся в воду, рыбки скончались. Непомусено счел невежливым отказать от предложения изжарить их и ел, подавляя приступы тошноты.

После удара ногой в зад он достал во французском переводе «Песни Мальдорора», «О запечатлении всего сущего» Беме, «Проповеди» Экхарта, «Речи» Руми, «Дуинские элегии» Рильке, сборник хайку Мацуо Басё и жизнеописание Халаджа. Секретарю пришлось являться каждый день после малевания очередной вывески, чтобы тщательно, слово за словом переводить все эти тексты; Виньяс ничего не понимал, но таинственным образом осознал, насколько поверхностно его собственное творчество. Он решил придать ему необходимую глубину и, начав с «Песни в честь Ганди», быстро пришел к «Гимну эксплуатируемому». Компартия немедленно раскрыла ему объятия, и на пяти тысячном митинге Виньяс был представлен как выдающийся поэт, поставивший свое перо на службу народу. Дон Непомусено полупроchel-полупропел свое сочинение среди усталой, потной и



озлобленной толпы. Хотя никто не услышал поэта – каждый, шумно чмокая, был занят своим эскимо, – он все же получил свою порцию аплодисментов и значок красного цвета. Наконец-то Виньяс обрел других слушателей, кроме сонных пророков, заседающих в Обществе, и окрестных кухарок, которых приглашал к себе и, соблазнив пропитанными коньяком местного разлива пирожными, заставлял изображать персонажей своего «Гимна языческим радостям».

– Пора в путь, товарищ Виньяс! Сейчас они, наверное, учиняют разгром в Обществе! Давайте сюда партийный билет!

Хромец взял удостоверение, присоединил к нему свое, сжег оба и спустил пепел в унитаз, а затем поспешил к Виньясу – так быстро, что тот подпрыгнул на месте, решив, что другу сломали обе ноги.

– Давайте обнимемся, товарищ Виньяс. Судьба уравнила нас. Теперь вы – не председатель, я – не секретарь. Мы оба – отверженные! Давайте же примем ванну в последний раз, продадим все, что у вас есть – поскольку у меня нет ничего, – и пойдемте бродить по дорогам, скрываясь, пока предатель не издохнет от собственного яда!

При слове «отверженный» Непомусено почувствовал, что его творчество внезапно обрело значимость. Благодаря своим стихам он станет врагом государства, защитником угнетенных, кошмаром для предательского режима... Он даже снизошел до того, что потер Вальдивии спину и в конце купания, напевая, погрузил руку в роковую жидкость и вынул пробку.

Вальдивия изобразил на двух больших кусках картона фразы: «Отведайте наших гигантских хот-догов!» и «Посетите „Лай без собаки!“».

– Что делать, дорогой друг! Мои колени не спрячешь под темными очками. Может быть, в наряде человека-сэндвича меня не узнают...

Непомусено облачился в костюм пожарника, оставшийся от его отца, и вместе с фальшивой ходячей рекламой вышел на улицу. Сердце его билось: каждый встречный был

потенциальным доносчиком. Он специально начистил свой шлем, чтобы отвлечь внимание прохожих. Кое-кто уже начал с ним раскланиваться:

– Здравствуйте, Дон Непомусено. Как поживает сеньор Вальдивия?

Все спокойно. Знакомое здание цело. Значит, никто не озаботился тем, чтобы поджечь помещение Общества! Военное министерство не снизошло до них!.. Виньяс взбежал по лестнице, открыл дверь, обнаружил за ней бюст Диснея и собрание сочинений Гарсиа Лорки. Национальный герб, вышитый на ткани, лениво свисал над букетиком увядших маргариток, муха усердно покрывала испражнениями портрет Рубена Дарио. На полу валялся свежий номер газеты. На первой странице большими буквами извещалось о гонениях на поэта и сенатора от Коммунистической партии Хуана Неруны.

– Что за несправедливость! Почему рекламируют его, а не меня?! Или его стихи лучше? Товарищ Вальдивия! Хотя темное и невежественное правительство не глядит в нашу сторону, мы докажем прочность своих убеждений! Бежим отсюда! И если мы будем настойчивы, то когда-нибудь подвергнемся преследованиям... Вперед!

Героическим жестом он сорвал чилийский флаг, растоптал партитуру гарделевских танго, поджег клочки бумаги, и оба спешно покинули помещение. После чего Виньяс потащил Вальдивию к Центральному вокзалу. Там они по невнимательности забрались в вагон-рефрижератор и, дрожа от холода, вверили свою судьбу локомотиву.

Хумс, изображавший Пьеро, но только в черном костюме, прокрался под брезентовым куполом крохотного цирка, вышел наружу, распрямился, стряхнул с себя землю и на цыпочках, легко ступая серебристыми туфлями, прошагал двадцать метров по грязи, то и дело глядя на огромную луну, свою мучительницу. Споткнувшись о ржавую бочку, он остановился, тяжело дыша. Слышали его паяцы или нет? Минута неподвижности. Вдох облегчения: все в порядке, представление продолжается! Пирипипи с Эми и Эмой стоял у

входа, наигрывая вальс, ожидая, что в цирк занесет какого-нибудь пьяного матроса из «Ареналя», обширного кабака, полного сутенеров, где танцевали и пили с ножом в руке... Большой цирк Цветущего Клубня! На лицах наших оседает морская соль, превращаясь в маску; скоро от нас не останется ничего. Талькауано: анус мира. Все становится призрачным видением. Хумс подошел к грузовику и со всеми предосторожностями достал ящичек, обитый кожей, с надписью «Осторожно, хрупкое», а потом побрел обратно по грязи к куче выщербленных камней. Болели сердце и живот. Четыре дня – больше он не может терпеть. Пусть представление идет без него – в конце концов, там восемнадцать паяцев на трех зрителей... Хумс спрятался за камнями, нацепил очки на белый от пудры нос, спустил брюки до колен, вынул из ящичка фарфоровый ночной горшок, сел на корточки, прижал мягкие ягодицы к разверстому жерлу, открыл малоформатную книжечку и в лунном свете принялся читать «La Quête du Graal»<sup>1</sup>, тужась, пока не послышался сухой треск. Ему нравилось вот так сдерживать пук, доходить до конца фразы и затем выстреливать... Хумс дошел до слов «Je suis dans la solitude jusqu'à ma mort»<sup>2</sup>, когда сосуд раскололся. Сидя на собственных отбросах, черный Пьеро зарыдал, как дитя. Нет, это невозможно! Благородный инструмент выдержал натиск другого измерения, и даже космическая пустота не смогла поглотить его. Больше полувек это вместилище оставалось целым, принимая золотые нити его скудных испражнений. Почему же это случилось сегодня? Не обращая внимания на прилипший к ягодицам кал, Хумс исследовал осколки. Кто-то провел стеклорезом по фарфору, сыграв с ним злую шутку!.. Слезы побежали по его щекам, смывая трупный грим. Он знает, чья это преступная рука, – никаких сомнений! Лицемер, кровосос, изворотливый двурушник Акк! Только Акк способен на такую изощренную подлость...

---

1 «Поиски Грааля» (фр.)

2 Я одинок до самой смерти (фр.)

До ноздрей Хумса дошла вонь, довольно-таки сильная. Он выдрал из книжки несколько страниц, тщательно подтерся, закопал останки горшка, взяв с собой левую ручку, острую, как наваха, и вернулся в цирк, лелея планы мести...

Офис-чулан паяца «Мистера Уолл-и-Стрит» располагался на деревянных мостках, которые вели от входа к арене. Правая сторона клоуна, «Мистер Уолл», представляла обычные атрибуты миллионера: костюм из блестящего кашемира, жилет с позолотой, белая перчатка, кольцо с огромным бриллиантом, гвоздика в петлице. Левая сторона, «Мистер Стрит», была одета по-нищенски: бородастая щека, неопрятные патлы, перчатка с разорванными пальцами, грязная рубашка. «Офис» с мебелью, украшенной блесками, был отделен черной линией от «чулана». Солидный письменный стол черного дерева с металлическими инкрустациями по ту сторону границы становился чем-то невообразимо убогим. Богач плохо обращался с бедняком. Правая рука то и дело давала пощечины левой щеке, а когда паяц перебежал из свинарника в кабинет и назад, одна из половин чувствовала себя не на месте и рвалась обратно, из-за чего Мистер Уолл-и-Стрит бежал туда-сюда, лишь изредка приседая на пограничной черте.

Загорра придумала эту историю, рассчитывая, что она будет забавлять ее до конца жизни. Сейчас, утомленная цирковым гамом, она прижалась затылком – наполовину чистым, наполовину грязным, – к подголовнику кресла, наполовину темного, наполовину блестящего, прикрыла веки – одно испачканное, другое украшенное символом доллара, – и отдалась во власть фантазий, которые нахлынули туманной рекой и унесли ее обратно в детские годы.

Непослушная девочка изображает из себя волчок. Она вертится, щупальца мира исчезают, превращаясь в мутный круг. Теперь никто не дотронется до нее. Осталась только бесконечная радость, замкнутая на самой себе, исходящая из центра круга. Желание вновь глотнуть той, детской свободы заставило ее купить цирк, и выделить немалую часть состояния, чтобы содержать своих клоунов, пока смерть не унесет

их... После бойни у бенедиктинского монастыря безумие улетучилось. Мир предстал иллюзией, поработившей реальность, и единственным выходом было спрятаться под брезентовым навесом цирка. Так они и жили, переодетые паяцами, двадцать четыре часа в сутки, перевоплотившись в своих персонажей, не допуская, чтобы повседневность вторгалось в их миниатюрную Вселенную. Они входили в цирк, как входят в храм!

Выехав из Сантьяго, они подкинули монетку, решая, куда направиться – на юг или на север. Лаурель Гольдберг, одетый раввином, еще до прибытия публики нырнул в стальную ванну – единственный его реквизит – и начал представление. (Этот номер мог продолжаться до бесконечности. Тот, кто входил в шатер, видел, как паяц тонет в ванне, в то время как остальные рассуждают о том, как его спасти, но не желают при этом шевельнуть и пальцем. Все это длилось в зависимости от запаса терпения у публики, которая обычно расходилась, бормоча ругательства, после двух, трех или четырех часов истерического спора. Через три минуты пребывания в воде Лаурель расслышал, как некий голос в его голове, где-то в области лба, декламирует: «Я в горах скитался и спустился вниз, отворите двери, ради всех святых». Мышцы его ослабли, сознание унеслось прочь, и Ла Росита завладел мозгом несчастного, извлекая из голосовых связок Лауреля жеманные дамские интонации:

– Привет, мордашки! Приплыла несчастная сиротка и хочет пошалить...

Тут он принялся завывать, литрами глотать воду, бить по ней руками, звать на помощь, погружаться и выныривать с открытым ртом.

Зум, испанский цыган по прозвищу «Ослиная морковка», – с его широкополой шляпы свешивался оранжевый плод с надписью «ПРАВДА», который он безуспешно пытался укусить, бегая вокруг ванны, – потребовал:

– Пусть никто не помогает ему, пока не выясним в точности, что он просит помощи! Этот развратник может кричать «на помощь!», чтобы сказать «доброе утро!»

Га, «Маленький член», со шляпой в форме головки и башмаками в виде волосатых яиц, засомневался:

– Прежде чем действовать, давайте выясним, просит ли он помощи для себя, для нас или для человечества в целом, у глухого или же несуществующего Бога...

Генерал Лебатон – «Сеньор Моралес» – глава труппы, в смокинге, галстук-бабочке, накрахмаленной сорочке, крагах и лакированных туфлях, вмешался:

– По-моему, каждый сидит там, где заслуживает. Мы сами виноваты в том, что с нами происходит.

Ла Росита прорычал:

– Во имя вашего любимого порока, сделайте что-нибудь!

– Не так-то легко сделать что-нибудь, – заметил Акк, «Салат-латук», делая неясные жесты под зеленым брезентом. – Состояние моего духа и финансов нельзя назвать блестящим... По какому праву буду я помогать другим, если пока не смог помочь себе?

Толин, «Священный кот», окруженный кенарами, возбужденно замахал руками в боксерских перчатках с огромными когтями:

– Не верю! Разве Тони Раввинчик и правда в опасности? А может, он уперся ногами в ванну и хочет ухватиться за чью-нибудь руку, чтобы втащить его в ядовитую воду...

В спор вступило «Святое семейство». Энанита, одетая Девой Марией, ходила с тремя кинжалами в груди и с раздавленной змеей на каблуке. Ла Кабра, Иосиф, в тунике, отпустил длинную гриву и потрясал плотничьими орудиями из тряпок. Кристоаль Колон, с париком и фальшивой бородкой, в терновом венце из резины, выглядел карликовым Христом...

– Сын мой, смири гордыню. Довольно этих буйных телодвижений. Лучше помолись. Если небеса призывают тебя, преклони колена и готовься к смерти, – посоветовала Дева, выпустив из пронзенной груди трехметровую струю крови.

Святой Иосиф благословил паяцев, публику, ванну, опилки, все предметы вокруг себя, а когда они закончились, благословил собственное благословение.

Ла Росита, глотая воду, замолчал с выражением блаженства на лице, словно он купался в одной из райских рек... Такая перемена встревожила клоунов, и представление началось по новой, только теперь все, прибегая к разнообразным и взаимоисключающим доводам, умоляли Ла Роситу попросить о помощи. Ведь не хочет же он лишить их жизнь смысла! Они собрались здесь, чтобы спасти его и ни для чего больше! Если убрать проблему, то кем станут те, кто предлагает решение проблем? Им нужен утопающий – в нем суть этого номера, цирка, Вселенной в целом. Иначе мироздание лишится своей оси... Дав себя убедить, Ла Росита с гордым видом возобновил свои просьбы. Паяцы столпились возле него и снова заговорили, не протягивая спасительной руки.

Для трех зрителей это было уже слишком. Двое покинули цирк, пригнувшись, чтобы не сильно обижать актеров, а третий захрапел во всю мочь. Боли, «Одинокый хобот» – нож, воткнутый в кровоточащий конец слоновьей гордости, говорил о ее насильственном отторжении от тела, – красным и белым изобразила на лице спящего, стараясь не разбудить его, растянутый в улыбке рот.

Черный Пьеро, расталкивая товарищей, пробился к «Салату» и с криком «Последний привет от дона Жабы!» разрезал ему щеку. По ткани стало расплываться кровавое пятно. Акк, не говоря ни слова, опустил голову так, что вся кровь скапливалась у него на груди. Паяцы, стоя неподвижно, тихо приветствовали рукоплесканиями каждую новую каплю. Установился ритм, поначалу тягучий и печальный, затем все более бодрый. Растущее пятно словно загипнотизировало всех. Хумс, сжимая в руке фарфоровый осколок, молча рыдал. Взволнованные актеры, наблюдая за вытекающей кровью, ожидали чуда, подобного тому, о котором вполголоса поведал переставший плескаться Ла Росита: «Когда в Багдаде умертвили святого шейха Мансура Халаджа, капли крови, падая на землю, сложились в слово „Аллах“!» Если Акк – настоящий писатель, то жизнетворная влага образует некое слово – ключ к его творчеству.

Точно облако, постоянно меняющее форму под воздействием ветра, гранатовое пятно никак не могло определиться со своими очертаниями: из сердца оно сделалось полипом, потом зародышем, шляпой, чертом, тараканом, пока наконец не стало обычным уродливым пятном, лишенным всякого изящества, в котором самое разнузданное воображение не усмотрело бы никакого символа.

Никто не знал, что сказать. Проявить сочувствие к романисту означало бередить еще свежую рану. Акк поднял голову, приложил к ране платок и нарушил молчание, заговорив преувеличенно мягким тоном:

– Комедия окончена. Утомленный паяц возвращается в постель – на свой трон, где будет рукоплескать сам себе. Наше путешествие бессмысленно.

Черная собака издала ликующее «Да!», только сгустившее и без того мрачную атмосферу. Все побрели к телегам, и в первый раз с тех пор, как покинули Сантьяго, сбросили свои цирковые наряды.

Они верили, что жизнь их отныне станет бесконечным круговоротом, но в этот вечер, Бог знает почему, поняли, что цирк не может быть самоцелью, что они кружат вокруг ванны с утопающим, ни живые, ни мертвые, спасаясь от неподвижной Луны, как черный Пьеро. Им не хватало звезды, чтобы стать волхвами. В их пустыне не раздавалось вопиющего гласа.

Деметрио, обмазанный глиной, снова переоделся, став прорицателем Ассис Намуром, и вывел на своем костюме, напротив сердца, два слова: «НЕ ВЕДАЮ». Затем плюнул в морду собаке, одетой в подвенечное платье, свернулся калачиком – весь мир был пронизан холодом в эту ночь – и заснул, надеясь, что навсегда.

Запах рыбы извращенно, однако удачно сочетался со стуком колес: эти окружности, вертевшиеся в пустоте, были зловонными демонами, проникавшими в ноздри, в уши, загрязняя разум. Как алкоголик, ожидая с рассвета первого глотка, приходит в бар сразу после открытия и выпивает



его, – так Виньяс дрожащими руками порылся в кармане рубашки и вынул под громкое сердцебиение листок папиросной бумаги: то было стихотворение, оправдывавшее его как поэта, верный спасательный круг. Виньяс толкнул хромого Вальдивию – тот храпел в такт колесам – и развернул листок. Невольно ерзая на деревянном полу, награждавшем ягодицы многочисленными занозами, восхищаясь изяществом своего любимого шрифта «Бодони», дон Непомусено прочел посреди адской тряски свою «Оду к оде». Внезапный порыв ветра ворвался из отверстия в полу, вырвал листок из рук и унес его вдаль, в темноту, откуда доносилась жуткая вонь.

Потерять свой талисман означало для Непомусено Виньяса предать саму Поэзию. Он стал пробираться по вагону, увидев китовую морду, от неожиданности споткнулся и был погребен под лавиной рыб. Потом Виньяс долго вылезал из-под завала, стонал, охал, кашлял, взывал к пророку Ионе, – и наконец его пальцы коснулись тончайшего листка. Ода! Бессмертная ода! Невидимая бабочка!

Вальдивия между тем плаксиво бормотал во сне птичьим голосом:

– Да, папа, я твой попугайчик, твой попугайчик...

Поэт поцеловал клочок бумаги, стряхнул с себя рыбы чешуйки и обследовал листок при свете спички. О ужас! Это были не стихи! Какой-то мошенник завернул лосося в страницу из Библии, чтобы забрать рыбу к себе домой! Двадцать восьмая глава пророка Исаии, загадочные слова: «Савласав, савласав, кавлакав, кавлакав, зеер шам, зеер шам»... До чего же злая шутка!.. Ода исчезла, а вместо нее Господь послал ему тарабарщину, похожую на стук колес...

– Подъем, товарищ! Враг наступает! Святая Поэзия в опасности!

Вальдивия смиренно принял пинок, потягиваясь, – пальцы его рук были похожи на птичьи когти...

– Да, папа, попугайчик дает лапку...

Окончательно разбудил его удар холодным угрем по лицу.

– Что такое, учитель? Полиция?

– Нет, дьявол собственной персоной! Не задавай вопросов. Мне нужна помощь, а не долгие разговоры. Держи спичку, а когда она догорит, зажжешь другую...

Хромец последовал за Виньясом к куче рыб, и дон Непомусено с нечеловеческой яростью стал рыться среди трупов морских обитателей. К его удивлению, чем глубже он зарывался в зловонную массу, тем слабее становилась вонь. В дальних областях его памяти зажегся огонек и стал понемногу приближаться, высвечивая какой-то образ; Виньяс узнал свою мать в накрахмаленной одежде. Толстая – поперек себя шире, – белокожая, стыдливая, она показывала только лицо и руки, пряча остальное при помощи высоких воротников и шерстяных чулок. Женщина эта жила ради других. У нее была целая коллекция фартуков – каждый день повязывался новый. Каждое утро она тщательно мыла лицо и руки; прочие участки тела оставались немытыми, поскольку были скрыты от чужих глаз. Так, год за годом, она не принимала ванну, не меняла панталон, лифчиков и нижних юбок. Запах, исходивший от нее при малейшем движении, был примерно таким же, что и в этом вагоне. Ну да, ведь его друзья так и прозвали мать: «Китиха»... Виньяс искоса взглянул на своего соратника, опасаясь, как бы столь неаппетитный образ не передался ему при помощи телепатии. Но воспоминания удалось подавить, откашлявшись и пообещав самому себе, что...

... что в один прекрасный день он напишет стихотворную сагу о Моби Дике правильным пятисложником... А ты знаешь, Вальдивия, что Уолт Дисней был посвященным? Пиноккио, с ослиными ушами и хвостом, став из безжизненной куклы умным животным, погружается в китовое чрево Космической матери и обретает все, что давно искал: Вселенского Отца, Джепетто<sup>1</sup>, геометра, Божественного Архитектора... И когда он прикасается наконец к своему создателю, растворяется в нем, становится Человеком с большой буквы, он принужден очистить материю посредством огня...

---

<sup>1</sup> Джепетто – главный герой одноименного мультфильма студии Диснея (1940), в котором он является создателем Пиноккио.

Пока Виньяс бредил, не переставая копать в куче рыбьей плоти, Вальдивия, задремав, перестал следить за спичкой. Возник пожар, что подвигло Виньяса бредить еще сильнее.

– Видишь, хромоногий? Вот подтверждение! Когда поэт говорит об огне, разгорается пожар!

– Конечно, дон Непо... Но когда рисовальщик вывесок кричит: «Спасайся кто может!», надо уносить ноги...

– Я не могу, ведь моя ода...

– Напишите другую, учитель. «Оду к оде к оде».

– Нет! Она – символ, а утрата символов означает разлад, конец пути, вечную ночь!..

Вдруг Вальдивия безо всякой причины обратился к наставнику на «ты»:

– Хватит, засранец! Если не спрыгнем с поезда, окажемся в дерьме!

– Что это за слова, господин секретарь?

– Уже не слова!

И он залепил председателю Поэтического общества прямо в челюсть, вырубив его. Пробивая себе путь через огонь и клубы дыма, Вальдивия дотащил тело поэта до двери – та, к счастью, оказалась открытой. Пейзаж снаружи с головокружительной скоростью убегал в прошлое при зловещем свете пламени. Вальдивия прижал к себе друга и прыгнул в неизвестность.

Он так и не узнал, выросли у него крылья или же музы превратили скалы в песок. Но остается фактом: пока поезд удалялся, объятый пламенем, оба они лежали, целые и невредимые, на берегу Тихого океана.

Хромец набрал соленой воды в один из своих башмаков и вылил ее на лицо председателя. В рот Виньясу попал застрявший в ботинке много лет назад кусок носка, из-за чего дон Непомусено стал хрипеть и отплеиваться. Молча, поглаживая огромный синяк на лице, он сидел и при свете луны глядел на того, кого еще недавно называл своим подручным. Вальдивия, пожав плечами, пробормотал со снисходительным видом что-то вроде «В литературе – талант, в

натуре – сила», и, взобравшись на песчаный холмик, различил вдали огни селения.

– Сколько у вас с собой денег? – спросил он поэта. Тот принялся усиленно моргать, после чего, порывшись в карманах, униженно вынул руки и разжал ладони. Они оказались пустыми.

– Нисколько.

Вальдивия достал из тайника в каблуке второго, сухого ботинка бумажку в десять песо.

– Раз так, теперь командовать буду я, – председатель дон Э. Вальдивия. За мной, секретарь Непомусено Виньяс!

Поэт попинал воздух, воображая, что холод – уличный пес, который после этого перестанет кусать его кости, – и последовал за хромоногим.

Рядом с национальной автодорогой, где проносились грузовики, пребывавшие в ином измерении, недоступные для касания, мрачные, управляемые неведомыми сущностями, под громадным, враждебным звездным небом, были рассыпаны скудные огоньки Кобкекуры: деревня напоминала паука, дрожащего от страха перед космической лапой, которая, согласно велению высших сил, должна его раздавить... Чтобы согреться, хромец неистово заплясал, ежесекундно рискуя потерять равновесие и рухнуть наземь. Бензоколонка подстерегала одинокие машины, сломавшиеся или оставшиеся без топлива.

– Уважаемый прислужник, – сказал Вальдивия, стуча зубами, – если мы не найдем гостиницу, то заледенеет и умрем.

– Не менее уважаемый предводитель, поскольку вы держите в руках бумажку, в свернутом виде отдаленно напоминающую маршальский жезл, воспользуйтесь же своей материалистической властью и найдите убежище, которое – как вы провозгласили в своей речи, не подлежащей обсуждению, – является для нас жизненно необходимым.

У заправки, стоя возле огня, разведенного в ржавой банке, играли в шашки двое: темноволосый человек с огромным зобом, напоминавший из-за этого пеликана, и карабинер в латаной форме. Рисовальщик вывесок не осмелился выйти

из темноты на свет. Просить помощи? Виньяс рехнулся! Или уважаемый дон забыл о том, как они выглядят, забыл о тошнотворном запахе, въевшемся в их кожу?

– Послушайте, секретарь Виньяс, я полагал, что вы – поэт. Теперь я вижу, что вы еще и придурок. Что я могу сказать? Наш вид и запах сразу же наведут на мысль о проверке документов. У вас есть, например, паспорт? Нас посадят за бродяжничество и антиправительственные настроения...

– Может, я и придурок, если употребить вульгарное слово, порожденное вашим зачаточным интеллектом, но, тем не менее, я способен вывести вас из затруднения, хотя, впрочем, главное ваше затруднение заключается в том, что вы вообще родились. Если вы считаете, что именно я – тот из двоих, кому суждено обратиться к нашим соотечественникам, дайте мне десять песо, и пусть сапожник возвращается к своим сапогам!

Хмурый Вальдивия вручил ему бумажку.

– Отлично, – не без коварства усмехнулся дон Непомусено, – а теперь иди следом за Председателем, секретарь хренов.

И, раскинув руки, он пошел к игрокам: один держал в руке ружье, другой – маленькую собачонку. Шашки, как выяснилось, были бутылочными пробками. При виде Виньяса и Вальдивии брови обоих начали сдвигаться.

– Стоять! Документы! – прокричал карабинер, потрясая своим оружием, от которого отлетали кусочки ржавчины.

– Осторожно, злая собака! – предупредил пеликан, опустив свою шавку на землю и дав ей пинка; та предпочла остаться возле теплой банки и, выполняя свой долг, ощерилась на незнакомцев гнилыми зубами.

– Спокойствие, лейтенант... Тише, господин заправщик... Мы не бандиты и не подозрительные элементы. Если вы позволите нам приблизиться к этому благословенному источнику тепла, дабы согреть наши губы, то мы сможем поведать вам о нашей необычной миссии...

Пока путешественники, подобравшись к огню, грели спины, заправщик достал кусок пакли и заткнул себе нос. Военный неопределенно-элегантным жестом зажал двумя

пальцами маринованный огурец и, не забыв отставить мизинец, принялся нюхать уксус, чтобы не ощущать рыбной вони.

Виньяс кашлянул.

– Досточтимые представители Власти и Бизнеса, вам следует знать, что Кобкекура – селение, хотя и скромное с виду, но отмеченное вниманием самой Судьбы, место пересечения Материи и Духа, невралгический центр мира.

Пеликан открыл рот; морщина перерезала его зоб. Никто раньше к нему так не обращался; слова явно были преисполнены глубочайшего смысла. Карабинер сделал умное лицо и выговорил:

– А нельзя чуть понятнее?

– Сеньоры! Здесь, в Кобкекуре, может решиться вопрос о будущем человечества! Не случайно вы играете в шашки – это занятие глубоко символично. Герменевтика черного и белого, света и тьмы, застывшая цивилизация против динамичного индивидуума, императорский центурион, атакующий милосердного пеликана, святую птицу Христову...

Заправщик уловил намек на свой зоб и, рассерженный, снова пнул собаку.

– Полегче тут... Будете смеяться надо мной, напушу на вас зверюгу!

Зверюга снова слегка ощерилась, продемонстрировав зеленую дыру на месте левого клыка.

– Сеньор, как вы можете? Это не насмешка, но экзегесис! Толкование происходящего! Буду краток. Видите это? (Тут Виньяс поднял два кулака, прижатые друг к другу). Это – тайный знак ОБЭПа, Общества экзотических приключений, крупной организации, ставящей целью наградить своих клиентов жизненным опытом, порой связанным с риском – нельзя влезть на елку и не уколоться, – чтобы они могли исследовать сундук с сокровищами, имя которому – планета Земля. Мы – рекламные агенты общества и выполняем испытательную программу: нас высадили на крайнем севере, в наихудших условиях, в неизвестной точке, называемой Кобкекура, покрытых с ног до головы китовым жиром, в напоминание о странствиях

Ионы, с десятипесовой банкнотой, десять, союз одного и нуля, который, если оставить в стороне чисто порнографические ассоциации – так легко соотнести их с палкой и дыркой, ведь правда? – символизирует вечное сражение Бытия и Ничто, с целью, установив сотрудничество с представителями власти, указать им точное место, где ОБЭП откроет свою образцовую, служащую примером всему остальному миру, фабрику по производству искусственного угля. Сырье для фабрики – насколько мы знаем от наших археосейсмологов – как раз изобилует в Кобкекуре и ее окрестностях, и буквально из крупницы этого сырья можно получить много килограммов конечного продукта...

Пеликан почесал свой зоб. Он начал кое-что понимать. Эти двое собираются построить фабрику. Последовал вопрос: – А что это за сырье, уважаемый сеньор?

Вальдивия поглядел в тревоге на Виньяса – как-то он вывернется? – но тот, не моргнув глазом, выдал с циничной ноткой в голосе:

– Алмазы! Мы будем получать уголь из алмазов! В Кобкекуре – одно из крупнейших месторождений! Бразилия и Южная Африка далеко позади!

Видя расширенные от жадности глаза пеликана, дон Непомусено зевнул.

– Нам пришлось сделать немалое усилие. Мы шли двадцать километров от вертолета и теперь желали бы найти место в гостинице, включая завтрак, но при этом не превысить имеющейся у нас суммы. Завтра утром мы от имени ОБЭПа безотлагательно покажем вам месторождение...

– В поселке есть гостиница «Отрубленная голова». Там только один номер для шоферов, но, если сеньоры не обижаются, мы можем отвести их туда...

Президент и секретарь Поэтической Ассоциации последовали за пеликаном и карабинером по грязной улице поселка, усыпанной блестками инея, держась от своих вожатых на почтительном расстоянии, чтобы не оскорблять их воню. Наконец, все четверо оказались перед бетонным зданием,

больше напоминавшим скотный двор, судя по дружному свиному хрюканью. Навозные испарения, шедшие из забранных брусьями окошек, заглушили рыбный запах. Вывеска над зданием, явно выполненная рукой индейца, гласила: «ГОСТИНИТСА ОТРУБЛЕНА ГОЛЛОВА».

Карабинер постучал прикладом в дверь. За окнами замерцало пламя свечи, ржавая железная дверь заскрипела и отворилась. Страх объял Непомусено и хромца, который сел на землю, крестясь во имя красного, белого и святого рома: в дверном проеме показался силуэт безголового человека!

Пеликан, видя, что гости в ужасе, разразился хохотом, из-за его анатомических особенностей похожим на собачий лай:

– Не обмочитесь со страху... Это дурачок Чоче. Он застегивает воротник у себя над макушкой, потому что думает, будто у него нет головы.

И пока Виньяс с Вальдивией осваивались в комнате, где имелась охапка соломы вместо постели и банка из-под галет вместо умывальника, – правда, над ней висел осколок зеркала – солдат поведал о том, отчего кошмар день и ночь преследует Чоче.

Отец деревенского дурачка четырнадцать лет проработал в ветеринарной лечебнице, кастрируя псов, и продавал собачьи яйца доктору Полякову, который бился над созданием средства от импотенции. Скопив таким образом капитал, он решил вернуться с женой и сыном в родной поселок, чтобы открыть здесь гостиницу в видах развития туризма. На пути в Кобкекуру, утомившись от вагонной жары и духоты, он открыл окно и высунул голову, желая глотнуть свежего воздуха. Так как в этот момент поезд проезжал по стальному мосту, то несчастному снесло голову под корень; пушечным ядром она пролетела назад, разбила окно другого купе – осколки стекла сделали одного пассажира навеки слепым, – ударила в челюсть некоего студента, выбив ему семь зубов, и наконец очутилась на коленях у монашки, немедленно сошедшей с ума. У сидевшей рядом беременной женщины тут же случился выкидыш, а монашка принялась подбрасывать голову, словно мячик. Безголовое тело, истекая кровью, повалилось прямо



на Чоче. Поднялась всеобщая суматоха, кто-то потянул за ремень тормоза экстренной остановки. Поезд резко встал, объятые паникой пассажиры поспешили к выходу и насмерть затоптали мать Чоче. Вот так Чоче, всю жизнь хотевший «быть как папа», стал изображать безголового...

Ночь Виньяс с Вальдивией провели, дрожа от холода под дырявыми мешками. Блохи кусали их с головы до ног, в соседнем свинарнике кто-то закашлялся и изверг поток слизи так, что стены задрожали. Дон Непомусено, окрыленный мечтами о Нобелевской премии, попытался согреться, прижавшись к своему спутнику. Но это потребовало такой акробатики, что шейные позвонки Виньяса начали угрожающе трещать. В конце концов, он свернулся калачиком в ожидании прихода Морфея; тот не замедлил явиться, окруженный стаей клещей.

Прежде чем вернуться на заправку, пеликан досказал им историю Чоче.

Мальчика обнаружили в вагоне – он топал ногами по полу, точно давя бесчисленных муравьев, проводил ладонью по горлу, будто делал надрез, и в упор глядел на солнце. Никто не понимал, что все это значит. Его связали и вручили бабке с дедом, которые держали в Кобкекуре свинарник. Сирота навсегда спрятал свою голову в воротник и начал вести себя соответственно. Он питался супом, поглощая его через трубочку, просунутую в дверной глазок. Макушку, которая все же высывалась наружу, он брил и вымазывал кровью голубя или кота, застреленного им из лука. Дед Чоче перед смертью объявил, что его труп следует бросить на съедение свиньям. Сам Чоче к этому времени уже был взрослым человеком. Скорчившись рядом с бабушкой, бормотавшей 119-й псалом, он наблюдал, как свиньи пожирают труп. Наконец, в луже остался лишь скелет с черепом, подобным белоснежному лотосу в зловонном болоте.

Когда рассвет проник сквозь оконные решетки, Непомусено поинтересовался лужей. Дурачок, топая ногами, сидел в грязи – так, что воротник его куртки находился в точности

под восходящим солнцем. Получалось, что солнечный диск и был головой Чоче. Идиот выпускал радостные возгласы: можно было подумать, что он давно искал что-то и вот теперь нашел. Так он и приплясывал, пока солнце не поднялось высоко. Увидев, что его кочанчик отделился от тела, Чоче всхлипнул и принялся колотить в дверь номера. Поэт не помочился на ночь и теперь испытывал сильнейшие позывы. Казалось, что стены вот-вот обрушатся под мощными ударами. Вальдивия вскочил с воплем «Землетрясение!» и выбежал спросонья во двор. Тут он попал в руки дурака, который попытался оторвать ему голову, дергая за уши – так, словно она была бутылочной пробкой. Непомусено пару раз энергично топнул, стряхивая с ног невольную вытекшую жидкость, и поднял указательный палец:

– Что это за манеры, гражданин? Господин Вальдивия устроен не так, как вы: ему нужна голова, и большая, потому что он не задался в коленях. Оставьте его, или придется иметь дело со мной...

Из дверного глазка вырвался плевок убийственной силы и попал Виньясу в лоб. Поэт повалился навзничь и, заявив о своем бессилии перед обстоятельствами, сделал вид, что потерял сознание.

На крики Вальдивии о помощи откликнулся только хор свиней. Те повели себя неожиданно, решив, что это призывы к совокуплению, и принялись тереться о ноги хромого, точно мартовские коты. Но тут раздался свист, мгновенно парализовавший всех – и животных, и людей. Это была бабушка, державшая в руках деревянную голову Христа, утыканную шипами. Вместо зубов во рту сверкали кусочки зеркала; в них веселыми бликами отражались солнечные лучи.

Чоче оставил побагровевшие уши, вырвал голову из рук бабушки и сунул ее в свой окровавленный воротник. Затем кинулся прочь, поднимая клубы пыли. Только тогда Непомусено понял, что умалишенный подражал паровозу. Старуха, не переставая свистеть, протянула к нему руку. Поэт дал ей десять песо. Женщина зашла в лужу, подняла лобную кость скелета и положила туда бумажку, рядом со многими

другими. Свиньи, откликааясь на ее свист, пришли в ярость и выгнали обоих постояльцев на улицу. Там уже маячили пеликан с охранником, жаждущие узнать секрет алмазного месторождения.

Забыв о своем облике мрачного пророка, Непомусено припустил со всех ног, так, что сам себе удивился. Вальдивия, неспособный ему подражать, пошел колесом и, будто на крыльях ветра, обогнал своего Президента, опять попавшего в секретари из-за недостатка скорости и денег.

Карабинер пальнул в воздух. Выстрел получился не очень громким, зато треск от разлетевшегося на четыре части ствола прозвучал ударом грома.

Поэт и рисовальщик вывесок, каждый с языком, превратившимся в раздутое сердце, достигли шоссе. Грузовик с арбузами откликнулся на изящные жесты Виньяса, в стиле приветствий XVII века, произведенные, за неимением широкой шляпы, листом папайи. Оба забрались на гору зеленых шаров и покатали на юг. И вовремя: Непомусено успел увидеть в последний раз выдающийся зоб и пожелал ему обратиться в плодородное чрево, порождающее Психею, нежную бабочку, которая наконец-то делается видной людям. Однако вместо богини изо рта пеликана стали вылетать ругательства: «Грязные твари! Заговорщики! Коммунисты!»

Итак, бегство их продолжается, надо разрезать сапоги в поисках докучного камешка; они затеряны в мире, не ведают, куда их влечет судьба, без веры, без ожидания, иссушаемые солнцем... Внезапно Виньяс прервал свои мысли, поняв, что облакает их в слова танго, и устыдившись этого.

От лодки, стоявшей у пристани, исходило гудение – гудение сотни тысяч мух, слетевшихся на запах гнили. Горы черных бананов, червивых помидоров, влажных пакетов, откуда сочился виноградный сок, ящиков с прогорклым маслом, вздувшихся рыб с мордами, разинутыми в немом крике, – все говорило о происходящей здесь голодной забастовке. Двести грузчиков под палящим солнцем, изнуренные, изможденные, высохшие, добивались справедливости. За ними наблюдали

шестеро уставших солдат, еле державших свои автоматы. Решение властей было безапелляционным: «Ни пресса, ни профсоюзы, ни правительство не должны подыгрывать этим бездельникам, они – позор всего рабочего класса и не получают никакой рекламы. У нас свободная страна, граждане имеют полное право контролировать потребности своих желудков: если кто-то прекращает есть, это его личное дело. Будем же глухи к наглým требованиям. Есть другие пристани и другие рабочие. Более того, рабочих рук в избытке. Одно неразгруженное судно не причинит ущерба нашей экономике. Посмотрим, кто окажется терпеливее...»

Порыв горячего ветра подхватил портрет Махатмы Ганди. Его выполнили в спешке, краской на холсте, из-за чего изображение осыпалось дождем мелких крошек. На месте остался лишь один глаз, но очередной порыв сорвал с холста и его; глаз тонкой пластинкой перенесся по воздуху прямо на лицо Виньяса, который мирно спал на груди арбузов, набив живот сахарной мякотью. Водитель в дреме довел грузовик до пристани Талькауано, остановил его у самой воды и, уронив голову на руль, разразился могучим храпом. От резкого торможения планки кузова не выдержали, груз посыпался прямо в толпу забастовщиков, увлекая за собой Виньяса и Вальдивию. Дон Непомусено с глазом между бровей оказался в гуще стачечников. Мешая действительность с только что пережитым сновидением (он вместе с Иаковом карабкался по лестнице, чтобы встретить на небе Психею, высунувшую длиннейший язык, на кончике которого помещался изумрудный сосуд с амброзией), Непомусено обратился к голодающим с пламенной речью, в уверенности, что перед ним – святые аскеты:

– Поэты мечтают об одном: строить лестницы! Не будем же сидеть сложа руки, мои факиры! Исполним божественную волю!

И, под воздействием собственной речи, он засучил рукава и принялся возводить лестницу из планок кузова. Вальдивия, уловив градус напряжения вокруг себя и видя шесть автоматных стволов, готовых выстрелить при малейшем признаке

насилия, стал собирать ржавые гвозди. Потом, запев по-пугайским голосом «Гвоздик, мой гвоздик», принялся сколачивать ступеньки, пользуясь башмаком вместо молотка. Рабочие, перегревшись под солнцем, решили, что устами Виньяса к ним обращается сам Бог. Упав на колени и перекрестившись, они вонзили зубы в арбузную плоть, и, охваченные не то лихорадкой, не то священным безумием, тоже бросились возводить лестницу, чтобы по ней спустились ангелы с небес и покарали несправедную власть... Непомусено руководил своими «земными лироносцами», непрерывно повторяя: «Поэзия – это деяние»: он вычитал эту фразу в истории футуризма. Лестница обещала быть окончательным ответом Вавилонской башне.

Хромоногий снял корки с шести арбузов, взял их в руки – по три в каждую – и осторожно приблизился к солдатам. Те побросали оружие и, облизываясь, приобщились к поеданию сочных плодов. Капитана Сепеда ушел в бар помочиться, и его ждали уже три часа. А пока что можно было вволю измазать свою физиономию в сахарной мякоти. Ни один из этих оборванцев, похоже, не был вооружен, постройка же лестницы не являлась преступным деянием.

Издали послышался гул, пробиваясь сквозь мушиное жужжание, и наконец, оформился в немецкий гимн. Тридцать подростков в серых рубашках, горных ботинках и повязках со свастикой – члены славного Гитлерюгенда – маршировали, вскинув правую руку в приветствии. Впереди шагал близорукий толстячок в эсэсовской форме: он специально приводил мальчишек на пристань, к забастовщикам, для наглядной демонстрации того, что сила лучше разума. Ежедневно после завтрака они дефилировали мимо двух сотен истощенных рабочих и, проорав «Хайль Гитлер!» в течение четверти часа, рысью устремлялись в кино «Берлин», где показывали германскую кинохронику студии УФА.

Шофер, открыв гноящиеся глаза и увидев, что пристань завалена арбузными корками, моментально обезумел. Он привык дремать за рулем: шестое чувство неизменно позволяло ему останавливать машину на самом краю пропасти.

Но в этот раз он лишился груза. Достав железный прут, всегда сопровождавший его в дороге, водитель выскочил из кабины, но поскользнулся, упал ничком и едва успел заползти под грузовик, чтобы не быть раздавленным юными нацистами. Стеклянными глазами глядели они на своего предводителя. Тот, сняв очки, чтобы усилить свое моральное воздействие, повел отряд по арбузным коркам. Гитлеровцы попадали один за другим, как кегли. Шофер, посчитав их виновниками всего происходящего, пустил в ход железный прут. Первой его мишенью – из-за обширных ягодиц – стал близорукий вожак. Беспощадный водитель стал обрабатывать ему мягкое место.

– Солдаты, на помощь! Засада! – завопил толстяк, тыкая деревянным пистолетом в нос шоферу.

Нацисты кинулись на рабочих, но те, восстановив силы благодаря сахару, достойно встретили натиск. Шесть карабинеров, не получив приказа, пребывали в сомнениях. Один из них отправился на поиски капитана. Непомусено и Вальдивия с группкой добровольцев остались стоять на незаконченной лестнице.

Выписывая ногами кренделя, опираясь на плечо солдата, показался капитан, распространяя вокруг себя густую вонь. Он изрыгнул из своей глотки приказ с такой силой, что его стошнило.

– Стой! Говорю я, капитан Сепеда...ик... (отрыжка)... (плевок)... Этот засранец... который не уважает долбанный закон... расстрелять... (пук)... Эй! Капрал Кактебятam ... что тут... происходит?

При этих словах капитан едва не потерял равновесие. Никто из военных не отозвался на имя Кактебятam. Загипнотизированные пистолетом в руках капитана, который отнюдь не выглядел деревянным, они застыли как вкопанные.

– Эй вы, дерьмовые головы... Повторяю... (отрыжка)... Говорю я, капитан Сепеда... ик... (слюни изо рта)... Капрал Кактебятam ... объясни...

И снова капитан чуть было не повалился на землю. Все шестеро в испуге заговорили одновременно.

– (Рев)... Что... говорят эти придурки? Я просил... капра-ла Кактебятама, а не этих... Тебянезвали... (отрыжка)... (почесывание яичек)... Смир-но!.. (рвота)...

Дрожа, все шестеро подтянули свои тела, сгрудив их компактной массой вокруг оси в виде капитана, более-менее неустойчивой. Тот, смертельно пьяный, потрясал револьвером, грозя превратить всех в трупы.

– (Презрительная мина)... Ни одного Кактебятама... только Тебянезвали... Ни одного! (долгая отрыжка)... Зеркало – не ответ, мать вашу... (всхлип) Говорю вам, что это я, а ... а зачем глаза, если ничего нет? (сморкание) Даже дерьма нет! И зачем этот пистолет...ик... что он скажет?... (почесывание яичек)... Как говорил тот засранец-философ... смерть знает больше, чем Бог... (продолжительный пук)... Я, капитан Самизнаетекто... а если не знаете, подтяните штаны... я сам, лично, как вы меня видите... займусь расследованием... (неудачная отрыжка)... Каждый, кто пошевелится... нет, не так... короче, каждый, кто делает, чего я не приказывал... преступник... я все знаю про... (пересохший рот; фраза осталась неоконченной).

Капитан Сепеда с выпученными глазами, тщательно целясь то в одного то в другого, переводил револьвер на забастовщиков, на близорукого толстяка, на шофера, на грузовик, на арбузные корки, на юных нацистов, на Вальдивию, на лестницу и, наконец, на дона Непомусено с его третьим глазом. Прежде чем обратиться к нему, капитан сморщил нос, склонил голову вперед, словно желая достать затылком до плеча, и глубоко вздохнул.

– Эй, ты, глазастый... говори чего-нибудь, или мозги вышибу.

Непомусено выдал первое, что пришло на ум, а именно – слова Иакова:

– Истинно Господь присутствует на месте сем; а я не знал!

Сепеда, точно ему выстрелили в живот, согнулся пополам, рухнул на колени, заплакал, изредка прерываясь на короткие смешки, и оперся на лестницу.

– Не знал, глазастый? А теперь знаешь... Все узнают... Ка-рабинер Тебянезвали! (свист)

Шестеро солдат, встав по стойке «смирно» – каблуки вместе, ладонь у козырька, – прыгая на цыпочках, приблизились к капитану.

Сепеда взобрался на три ступеньки.

– Обращаюсь к военным... и к штатским... Моя цель – выяснить, куда ведет эта лестница... Если найду что-нибудь, скажу... И чтобы все – все – все ублюдки в форме стояли по стойке «смирно», пока я и только я, капитан Сепеда, лично не отдам другого приказа!.. Помогите подняться! Первому штатскому, который двинется с места, прострелю башку!..

Мало-помалу, икая, пукая, рыгая, пуская газы и слюни, поскользываясь, капитан – пока группа рабочих поддерживала лестницу в вертикальном положении – дошел до последней ступеньки. Доски угрожающе трещали. Сепеда, видя, что продвижение затрудняется, вел себя все более ловко и осторожно: казалось, алкоголь чудесным образом превратил его в воздушный шарик. Многие потом уверяли, будто он терял вес по мере восхождения. Наконец, добравшись до цели, он поглядел вниз, покрутил головой вправо-влево, издал протяжный стон и прошептал – но так громко, что его услышали даже в портовом баре:

– Я обещал рассказать о том, что увижу! И выполняю обещание! Я вижу дерьмо. Одно дерьмо. Ничего, кроме дерьма.

И капитан пустил себе пулю в висок.

Позже шофер, выйдя из комы – капитан свалился прямо на него, сломав ему шесть ребер, – объяснял, со множеством мелких подробностей, почему тот не увидел ничего больше.

На место трагедии прибыли журналисты, взвод карабинеров, муниципальные советники, пожарные, врачи, дантисты, дамы из карточного клуба, сеньоры из охотничьего клуба, представители профсоюзов, торговцы и мусорщики.

Непомусено Виньяс и Вальдивия – в очередной раз секретарь – растворились в толпе. Хромец, пользуясь всеобщим замешательством, залез в кабину грузовика и стащил бутылку рома. Поэт стал топить в нем свое неизбывное горе: никто не собирался его преследовать.



Ровно в семь утра раздались гудки на судах и буксирах; к ним присоединились сирены пожарных, полиции, скорой помощи, а также церковный колокол. Похоронный кортеж возглавлялся муниципальным оркестром, который с величайшим чувством исполнял траурный марш. Солдаты, карабинеры, лидеры профсоюзов, пожарные в парадной форме, ученики государственных школ – все, держа в руках факелы, тускло блестящие в лужах йода, шли за грузовиком с рекламной лимонада «Лулу». На грузовике помещался гроб: в нем сидел капитан, приложив руку к козырьку. Сидевший сзади карабинер отгонял от свежего трупа чаек.

Власти города были категоричны:

– Для городского корпуса карабинеров это вопрос чести. Все должны видеть, что капитан Сепеда умер счастливым.

В Талькауано не было похоронной конторы, которая занималась бы подготовкой трупов к погребению. Шлюхи из бара решительно отказались братья за эту работу. Пришлось напрячь одного из Тебянезвали. Тот попросил помощи, и ему пригнали двоих его сотоварищей. Поскольку на лице капитана застыла горькая улыбка, пришлось выбить ему прикладом зубы и при помощи иголки с ниткой пришить уголки губ к ушам. Осваивая дальше портновское ремесло, полицейские сшили веки и брови; лоб мертвеца украсился горизонтальными морщинами, сходящимися на макушке. В зад вставили стальной прут, чтобы поддержать капитана в сидячем положении, а рука, приложенная к козырьку, потребовала закрепления ее цементом.

Строгое начальство, увидев результат упорного труда, закашлялось изо всех сил, подавляя смех. Но времени что-то исправить уже не оставалось. Смех волной шел по тротуарам по мере того, как катафалк продвигался вперед. Печальная церемония как-то незаметно превратилась в карнавал. На кладбище народ уже разбрасывал конфетти. Кто мог, палил от души в воздух. Речи были краткими – впрочем, их никто не слышал. Приспустили знамена, возложили венки и начали закапывать гроб. Чтобы разбить бетон, требовалась кувалда, а чтобы вытащить железный прут – клещи. Алькальд,

видя безуспешность попыток уложить труп как полагается, сплотнул слюну и приказал похоронить капитана в сидячей позе, с рукой у козырька.

– Жители Талькауано! – прохрипел он. – Для истинных храбрецов битва не прекращается никогда. Вот почему капитан Сепеда не может быть похоронен, как обычный человек: он сидит, приветствуя Смерть, побежденный Судьбой, да, но не униженный, сохраняя прямизну – прямизну своих идеалов, своей улыбки...

Земля летела с лопат. Скоро были видны лишь голова и ладонь, приставленная к козырьку.

...улыбки героя...

– Попая! – перебил его один из зевак.

Всеобщий хохот: действительно, покойный выглядел совсем как моряк Попай из мультфильма. Не хватало только трубки.

Раздался скрежет: один из карабинеров задел лопатой цементную нашлепку на руке Сепеды. Рука стала разгибаться, как бы в прощальном жесте. Это последнее прощание, эта беззубая улыбка привели толпу в ужас, и кладбище опустело меньше чем за пять минут. Разразилась гроза, хлынул дождь. Фуражку капитана унесло ветром, нитки разошлись под ударами ливня. На лицо умершего вернулась гримаса отвращения. Беззубые десны, усилив отвращение, превратили его в бесконечную ненависть к миру.

Затерявшись среди народа, Непомусено и Вальдивия следовали за процессией – не из уважения к памяти покойного, а из желания перекусить. Разнесся слух, будто после похорон компания «Лулу» предложит всем закуску. Грозу оба переждали, спрятавшись за каким-то могильным камнем и не отрывая жадных глаз от лимонадного грузовика. Ливень прекратился так же неожиданно, как начался. Представители властей вернулись на кладбище – завершить церемонию. Непомусено, повязавший штаны вокруг головы, чтобы вода не смыла третий глаз, захотел было надеть их обратно, но не смог: промокшая ткань села. Виньяс с необычайным проворством скользнул в могилу и обмазал ноги глиной. На могилу

установили памятную табличку. Репродукторы вещали с грузовика: «„Лулу“ всегда с вами, даже в самые трудные минуты!» Двое, одетые в некое подобие традиционных индейских нарядов, что-то раздавали. Беглецы, расталкивая собравшихся локтями, подошли ближе, рассчитывая на пирожок или бутерброд. Но им достался лишь стакан минеральной воды и листок с рекламой. Выпив безвкусную жидкость, они стали внимательно изучать листок. Там было нарисовано аппетитное пирожное. Сверху шла надпись: «Мням!.. Собирай пробки от бутылок с «Лулу» и участвуй в розыгрыше! СЪЕШЬ МЕНЯ!» Хромец в припадке раздражения выкинул бумажку и обратился к председателю:

– А теперь что? Побираться?

– Никогда в жизни!

– Ну, если мы такие брезгливые, надо работать.

– Мои стихи не продаются!

– Никто и не говорит о ваших стихах: если мы начнем продавать их, то умрем с голоду!

– Наглец!

– Ладно, пусть, вы – поэт, и мне придется вас кормить. Вывески принесут нам деньги!

Неутомимый Вальдивия, скитаясь от лавки к лавке, от кабака к кабаку, предлагал свои услуги. За ним – в отдалении – следовал Непомусено, скрывавший от посторонних не только свой третий глаз, но и горящие щеки. И так как глина, покрывавшая ноги, усохла, ему приходилось передвигаться скачками.

## IX. БЕГСТВО В ЕГИПЕТ

*Беспокойство из-за того, что мы будем не всегда,  
заставляет нас стремиться к овладению всем  
пространством. Но бесконечность, в желании видеть нас  
более доступными, делает нас менее глубокими. И все же,  
чтобы обрести длительность во времени, нам следует  
непременно овладеть материей, ибо в ней – ключ к  
Вечности.*

**Карло Пончини.**

**«О триполярности метафизики».**

В девять утра, когда погасли псевдогреческие неоновые колонны, «Ареналь» – эта гигантская помойка – напоминал заснувшего кашалота. Морская соль, смешанная с селитрой, атаковала дерево, металл, цемент, камень, а от земли шел запах рвоты и мочи одновременно.

Девушки в накрахмаленных платьях, без тени косметики на лице, открыли ставни, впуская свет в огромное здание, принесли классную доску и под руководством наставницы – женщины в маске, общавшейся при помощи языка жестов, – сели за изучение Евангелия.

Цирк стоял в сотне метров от заведения, и хор голосов, читавший священные тексты, разбудил паяцев. Они выползли из-под навесов своих телег с видом кротов, вытащенных из нор, собрались в шатре, прервали сон последнего посетителя, спустили ему штаны, голубой ленточкой привязали к члену помпон и вытолкали в шею.

Поедая завтрак, клоуны признавались друг другу, что представление перестало развлекать их и надо что-то менять.

– А если паяц заявит, что воздух принадлежит ему и запретит всем остальным дышать?

– Давайте лучше считать себя виновными в том, что занимаем чужое пространство! Можно будет постоянно извиняться и ни минуты не сидеть на одном месте.

– Ну хватит! Одно и то же: хотим и не можем, собираемся что-то дать и все время отбираем, ищем совершенства и не двигаемся вперед. Надо придумать что-то новое!

Но никому в голову не пришло «чего-то нового». Черная собака издала свое ликующее «Да». Деметрио заткнул ей пасть пинком.

Ла Кабра и Энанита не присоединились к остальным, они были заняты Кристобалем Колоном, который требовал материнского молока. Им не хотелось ничего менять: они цеплялись за свой цирковой образ с таким же упорством, что и Пирипипи. Тот уже давно позабыл свой изначальный облик: лицо, имя, возраст, национальность, даже пол. Полвека он ходил загримированным. Облачить паяца в обычную одежду, стереть грим с лица означало бы лишить Пирипипи его подлинной сущности. И поэтому, когда Зум предложил ему богато украшенный клоунский костюм, чтобы поджидать публику в порту, наигрывая вальс с помощью монет, Пирипипи, величественный, как фараон, дал ему пощечину. Зуму пришлось выкинуть блестящий наряд. Подражая старику, Энанита и Ла Кабра поменяли местами жизнь и представление – и решили, что отныне навсегда, до самой смерти станут Иосифом и Марией.

Иосиф поглядел на зрачок младенца Христа, превратившийся в золотой диск. Диск этот, обретя солнечную мощь, проник своими лучами в такие отдаленные уголки сознания Ла Кабры, о которых он сам не подозревал. Его разум терпел крушение: река, вытекавшая из мозга, пересекала сумеречные области, поворачивала во все стороны пространства, пренебрегая силой тяжести, и впадала в золотой диск, ставший для него всем – сердцем, храмом, учителем, матерью, волей, – а затем, опьяненная Невежеством, обратившись в огонь, рассыпалась мириадами огней – Вселенским светом – повсюду в пространстве.

Энанита заметил, что по щекам Ла Кабры текут слезы: с остекленевшим взглядом, охваченный эпилептическим припадком, словно агонией, он парил в полусантиметре над землей. Такое зрелище не удивило ее: вот уже около месяца она проделывала то же самое. Энаните не хотелось, чтобы остальные знали об этом: чудо было пустяковым и дало бы повод к нескончаемому зубоскальству. Она вывела своего супруга из транса, закрыв глаза ребенку.

– Иосиф, история повторяется. Снова настают смутные времена. Надо скрываться...

Глубоким, не своим голосом Ла Кабра выговорил:

– Тогда мы бежали в Египет. Сейчас пойдем в «Ареналь».

И Святое семейство, не оставляя следов на грязной земле, направилось к борделю.

Утром, как и вечером, принесенное свежим морским бризом крылатое войско окружило громадный бар, чтобы отложить яички в щелях деревянных стен. Все столы были облеплены насекомыми. «Ареналь» превратился в мушиный храм, где жужжание заменяло музыку. Тысячи зеленых брюшек сверкали на солнце.

Виньяс с Вальдивией не успели даже испытать по-настоящему отвращение, так как увидели мух в момент взлета. Крылатые создания взмыли вертикально, на секунду сохранив форму здания, и вернулись к побережью. «Ареналь» открыл свои двери для публики. У председателя и секретаря волосы встали дыбом: им показалось, что сейчас оттуда выползет гигантский червяк и раздавит их. Но вместо этого вышла женщина со светлыми волосами и чистым взглядом, в белой тунике, толкая перед собой тележку с банками, кистями и двумя парами синих рабочих брюк, изрядно потрепанных.

– Мы ждали вас. Нам нужны художники. Наставница хочет придать «Ареналу» его подлинный облик. Нужно изобразить на стене египетского сфинкса.

Женщина предложила им достойную плату. Работы было много, но именно к такому труду привык Вальдивия. Им выдали, кроме всего прочего, две картонные коробки с

хлебом, холодной курятиной, яйцами вкрутую, черешней и вином. Перед тем, как уйти, женщина показала прислоненные к стене крылья и голову сфинкса, контуры которых следовало обвести. Вальдивия сделал вид, что засучивает рукава рубашки, хотя давно уже отрезал их по причине многочисленных дырок. С профессорским высокомерием он обратил дону Непомусено в своего помощника, содрал с его ног глину, помог надеть синие брюки и стер третий глаз. Поэт, от души наевшись, рыгнул – так, что вместо звука образовалась мощная струя воздуха.

– Это занятие на долгие месяцы. Мы не можем согласиться! Вы забываете, товарищ, что мы – беглецы. Полиция разыскивает нас. Вспомните, что этот предатель, президент Геге Виуэла, ненавидит народных поэтов. Скоро мое фото будет висеть на каждой стене. Оставаясь долго на одном месте, мы рискуем своей шкурой...

– Вернитесь к действительности, дон Непомусено. Никто вас не преследует! Преследуют Хуана Нерунью, известного каждому. Вас не знает ни одна собака. Читателей ваших стихов можно пересчитать по пальцам одной руки!

– Вы недооцениваете меня, уважаемый соратник. Мой ответ на оду Неруньи «Да проснется мститель!», поэма «И да заснет Ипсилон!», была прочтена в сто двадцатом павильоне Центрального рынка. Зажженные огнем моего вдохновения, рабочие с окровавленными руками – бычья кровь есть символ Угнетения – рыдая, рубили мясо...

– А почему Ипсилон?

– О невежда! Всякому известно, что с надстрочным значком, идущим направо, эта буква означает «пять», а с подстрочным значком, идущим налево – пять тысяч. Достаточно сказать «Ипсилон», и всем будет понятно, что наверху – Геге Виуэла, который вместе с правыми реакционерами стоит в тысячу раз меньше угнетенных масс, предводимых левой партией...

– Отличный символ, только уверяю вас, что никто его не понял. И полиция должна искать вас, потому что вы сравнили президента Республики с буквой греческого алфавита? Бред!

– Сеньор Кривоногий, давайте прекратим этот бесплодный спор. Пусть даже я в безопасности – но в опасности Поэзия!.. И если преследуют Поэзию, то меня, у которого она в жилах, рано или поздно тоже начнут преследовать. Разве только тот, кто вытянул счастливый номер в лотерее Известности, имеет право быть гонимым? Никто не отнимет у меня моей Голгофы с ее скорбной славой!

Рыдание свело Виньясу челюсти, так что он не смог продолжить речь.

– Хорошо, хорошо, верю.

И Вальдивия протянул руку своему другу:

– Попугайчик дает лапку, лапку дает.

Непомусено схватил конечность и покрыв ее поцелуями, перемежая их рыданиями и икотой. От нахлынувших чувств у Вальдивии побледнели пальцы: он посмотрел на поэта и хотел что-то сказать, но не смог. Повернувшись к Виньясу спиной, он вернулся к кисти и краскам. Сглотнув комок в горле, он произнес:

– Все, закончили. Отныне и впредь вы – президент, я – секретарь. Зачем лишние сложности? Сеньор изгнанник, прошу вас, возьмите кисть и с присущим вам изяществом в движениях покрасьте в оранжевый цвет квадратики с номерами от десяти до ста. Это будут лапы твари...

– С величайшим удовольствием, досточтимый секретарь. Там, где вы знаете больше меня, я готов повиноваться...

И оба, насвистывая незаметно для себя прилипчивую мелодию из рекламы лимонада «Лулу», взялись за работу.

Стоило Иосифу увидеть Непомусено Виньяса, как память вернулась к нему: он вновь стал Ла Каброй. Перестав леветировать, он шлепнулся в грязь и поглядел искоса на Энани-ту. Дева Мария, как и прежде, с плавностью трансатлантического лайнера плыла над лужами. Он заморгал; возвратилась давняя боль. Когда-то врачи в клинике сказали ему: «У вас в мозгу сгусток, огромный, как бочка... Операция невозможна. Запаситесь терпением. Или он рассосется, или убьет вас. Переносите страдания стойко, по-мужски». Став



Иосифом, он больше не страдал. С памятью пришла боль. Стадо черных овец топчет в его голове... Невыносимо... Кристоаль Колон протянул ручонку и, соединив безымянный палец с мизинцем, жестом благословил Ла Кабру. Сразу же наступило облегчение. Явились другие воспоминания...

Обнаженная Энанита в его мастерской. Оба пьяны. Она завернулась в кусок серебристой бумаги и улеглась на кровать, напевая «Я – подарочек». Плохо соображая, Ла Кабра разорвал бумагу и, так как его внушительный Приап не пролезал в крошечную дырочку – из-за вечной Энанитиной печали лоно не могло увлажниться – он взял баночку с зеленым маслом и принялся смазывать путь, ведущий к наслаждению. Тут прогремел гром: в мастерскую спустился ангел. Он не обладал отчетливыми очертаниями: в воздухе все время носилось облако, менявшее свою форму с такой головокружительной быстротой, что человеческий глаз не мог уследить за превращениями. Там были звезды, лучи, волны, медузы, геометрические фигуры, взрывы, лица, тела... Энанита ничего не заметила и просила Ла Кабру войти в нее жестоким толчком, ибо истинный дар всегда причиняет боль одаряемому. Голос ангела, громopodobный, но достаточно приглушенный, чтобы не вызывать страха, объявил: «Я смешаю мой свет с твоим семенем!».

Ла Кабра наизусть помнил Новый завет. Его мать, стриптизерша в баре «Семь зеркал», имела чин лейтенанта Армии спасения и не давала сыну поест, если тот не выучивал каждый день три новых стиха. При малейшей ошибке она совала ему в рот стручок красного перца. От такого учения язык Ла Кабры покрылся язвами: нервничая, он постоянно сбивался и вместо «Двадцать шестой стих. В шестой месяц, запятая» бормотал: «Двадцать...пятый? Нет, нет шестой... Двадцать шестой стих. В шестой месяц. Точка».

– Бездельник! Не точка, а запятая! Раскрой рот, или я выблю тебе зубы колотушкой от большого барабана! И скажи спасибо, что это всего лишь перец, а не раскаленный уголь!

На Ла Кабру сразу же накатила волна давнего отворачивания к евангельским текстам, и он выкрикнул: «Ублюдок, дух

дерьмовый! Иди со своим пророчеством куда подальше! Эту женщину осеменю я один!» И, сложив пальцы в непристойном жесте, он сделал резкий рывок бедрами, рассчитывая излить семя прежде, чем ангел успеет вмешаться. Но в миг оргазма он утратил контроль над собой, а также и наслаждение: ангел вихрем ворвался в Энаниту и своим сиянием усыпил сознание Ла Кабры. Проснувшись, тот обнаружил, что лежит на теле подруги; однако все удовольствие от совокупления у него похитили. Надменный херувим загремел: «Ты утратишь память об этом событии, пока не придет время исполнить твое предназначение». Что еще за предназначение? К чертовой бабушке предназначение! «Ты, крылатый гомик, прекрати нести чушь! Никакой ты не ангел! Давай, исчезай, ты – порождение белой горячки, такое же убогое, как все вокруг!»

И снова боль. Проклятый сгусток! Благослови меня, сын мой, ручками и ножками. Вот так. Спасибо. Но что делает здесь дон Непомусено Виньяс, председатель Национального поэтического общества, без тоги и лавров, одетый, как последний оборванец, измазанный краской? Да он еще и рисует сфинкса!

Ла Кабра потянул за пижамную штанину, обильно испачканную оранжевым, и когда поэт сошел с лестницы, подставил ему зад: «Ударь, друг мой, за мной должок!» Председатель и секретарь излечились от всех страхов. После встречи с обезглавленным, самоубийства капитана Сепеды, обратившегося затем в Попая, и наконец, этого бара – ночью Содом с Гоморрой, утром женский монастырь – ничто не могло их поразить. Оба с почтением оглядели святое семейство, решив, что перед ними банда попрошайек, и, тщетно обыскав пустые карманы, – Ла Кабру не узнал ни один – попытались предложить им хлеба и вина. Через окно дуновением ветра занесло трехметровую ленту серпантина – остаток ночной оргии, – и та проползла под ногами девы Марии. У Вальдивии мурашки пошли по коже. Лежа в грязи, умирающий от любопытства Виньяс просунул линейку между ступнями и полом. Сомнений не оставалось: Энанита действительно

плыла по воздуху! Ла Кабра, отдирая фальшивую бороду, снова выпятил зад:

– Ну же, поэт, отомсти!

Тут оба опознали святотатца. Разве могли они его за быть? Тогда пришлось смоченной в спирту ватой отчищать собрание сочинений Гарсиа Лорки от кусочков мозга оскорбителя. Хромец, из-за своего увечья был неспособен ударить ногой, но именно потому страстно желал этого: порой, запершись в своей комнате, он надевал на правую руку носок с башмаком и бил по футбольному мячу, пока соседи не разражались жалобами. Из рта Вальдивии потекли слюнки, и он толкнул приятеля локтем:

– Чего вы ждете, господин председатель? Воспользуйтесь блестящей возможностью!

Непомушено не слышал его. Взволнованный до слез, он поспешил выразить сочувствие крохотной женщине:

– Несчастная! Ты, наверное, ешь так мало, что буквально взлетаешь от голода!

Хромоногий, раскаиваясь, протянул Марии палку колбасы. Та улыбнулась:

– Тот младенец лежал между ослом и волком. Теперь мне нужны вы двое. Прошу идти за мной...

Приказание было отдано с такой мягкостью, что оба исполнили его беспрекословно, будто зачарованные. Рука, невидимая рука схватила их за волосы. Они взглянули вниз: ноги не касались земли! Пять миллиметров отделяли их от реальности. Ла Кабра вновь стал святым Иосифом. Колбаса обернулась розой. Так они доплыли до входа в «Ареналь», где их уже поджидала достойная дама. Да это же Гаргулья!

Помните квартал красных фонарей в Токопилье? Помните, дети мои, как вы состригали с моего лона волосы, чтобы приладить их на голову деревянного Христа? Прошли годы, корабли больше не приплывали, рудники истощились, народ разбежался. Я не могла покинуть эти места, связанная непонятными узами с городом-призраком. Однажды я повстречала на пляже Розу Кристину. Как всегда, она лепила

что-то в воздухе: приближалась, отходила, поднималась по приставной лесенке, сглаживала, вытягивала, уминала, открывала невидимые двери, поправляла мелкие детали. Кожа ее только что не прилипала к костям, глаза светились. «Что на этот раз?» – спросила я. Она достала мешок и начала разбрасывать пригоршнями муку, по мере того как мы обходили ее новое творение. Белый порошок прилипал к невидимой поверхности, понемногу вырисовывались статуи, колонны, капители, химеры, алтари, овальные окна, ангельские хоры, мириады различных форм. То был обширный собор – плод упорного труда. В нем мы и жили долгое время, пока не нагрязнула полиция. Я попросила их быть осторожнее: «невидимое» не всегда значит «несуществующее». Но они били по стенам – и вот собор, издав звук, какой произвели бы сто тысяч разбитых бокалов, рухнул, погребая под собой тело Розы Кристины. Надо было бежать. Я шла по долинам и горам, через пустыни, озера, реки, леса, – и так месяцы и годы; но, посмотрев под ноги, я поняла, что продвинулась лишь на сантиметр. Я по-прежнему была в Токопилье, но постарела и опиралась на палку, нижний конец которой уходил в землю. Деревянный Христос у меня на плечах, облысевший, изъеденный древоточцами, сделал так, чтобы в порту причалил американский корабль. Не знаю, как мне удалось прокрасться в трюм и спрятаться там. Я путешествовала в полумраке; крысы бегали возле моих ног. Одну из них я вовек не забуду: она уселась прямо напротив меня, уставившись мне в глаза. Усы ее свисали до пола, морда была испещрена морщинами: на вид – тысячелетнее создание. Я склонилась перед ней почтительно, как перед римским папой. Крыса раскрыла пасть и выплюнула мне в ладонь обручальное кольцо. Я заснула и пробудилась от криков, возвещавших о прибытии ангелов. Я посчитала, что мы уже в раю, но это оказался всего лишь Лос-Анджелес. На берег меня не пустили, пришлось возвращаться в Токопилью на том же судне, в том же трюме. В сумраке я повстречала немую наставницу. Как и я, она путешествовала тайно. Наставница помогла мне избавиться от Христа: мы выкинули его через иллюминатор

в океанские волны. Она очистила мои одежды, исцелила раны, сделала меня взрослой. В ее пустых руках была вся любовь, заключенная внутри мира. Мы прибыли в Талькауано, самый глухой угол на планете, и, направляемые высшей волей, дошли до «Ареналя». Наставница села в глубине бара, созерцая стену, пока не появились девушки и не избрали ее своей предводительницей. Она знает тебя, а ты ее. Благодаря тебе она стала такой, как сейчас... Ты думал, что целую жизнь ткал в пустоте, но все исполнено смысла...

Гаргуля оправила тунику и пошла впереди Святого семейства. Виньяс, не очень понимая, какая ему отведена роль, колебался, мычать или кричать по-ослиному. Для него не было разницы, становиться ли символическим ослом или символическим волком, но все же он сделал выбор в пользу первого и выдал льстивое «иа», обращаясь к обеим женщинам. Вальдивия был на седьмом небе: никогда еще он не передвигался с такой легкостью! Поэтому, услышав ослиный крик, он замычал. В конце концов, – сказал он себе, – слово «вол» еще никого не кастрировало... И сглотнул слюну, представив себе, сколько женских лобков увидит в скором времени.

– Что это вы так тяжело дышите, товарищ Вальдивия?

Хромец быстро сунул руку в карман, скрывая внезапно выросшую шишку. Погруженный в свои фантазии, он, сам того не заметив, очутился в танцевальном зале. Вопрос председателя вернул его к действительности. Зрелище, которое открылось перед Вальдивией, притушило его энтузиазм – настолько, что он смог вынуть руку из кармана. Ковры устилали пол. От жаровни с ладаном исходили клубы дыма. Женщины с пучком волос на затылке двигались свободно в широких туниках под звуки некоего струнного инструмента, исполняя сложные упражнения, требовавшие немалой гибкости и умения контролировать дыхание. Разделенные на восемь групп, они танцевали на рассыпанных семенах – у каждой группы были свои. Тот, кто желал пересечь зал, должен был пройти по этим разноцветным зернышкам. Там, в дальнем конце, сидела Наставница. Сняв маску, она показала Энаните свое лицо. Диана Доусон!

Неисповедимы пути Провидения. Бессмысленные действия оказываются, годы спустя, краеугольными камнями больших построек... Откусив себе язык, зачеркнув прошлое, она в первый раз столкнулась с миром: миром без Дианы Доусон.

Ее компаньонки по шоу сохранили утраченный орган в пластмассовой коробочке. Когда Диана вышла из больницы, ей вручили эту коробочку вместе с собранными пожертвованиями – весьма скромными – и распрощались с ней, порекомендовав осесть в доме престарелых. Но Диана не позволила себе сломаться. Ей нужно было выжить, и она выжила, опустившись на самое дно. Банда преступников, с которой связалась актриса, изготовила для нее фальшивый язык с полостью для провоза героина. В один прекрасный день полиция все же задержала ее. Выйдя из тюрьмы, Диана целыми днями ничего не ела, спала где придется. Ее встретил на улице бывший обожатель и предложил работу на фабрике, где упаковывали зерна. Сначала работа была изнурительной, но затем Диана стала общаться с зернами. Те оказались носителями тысячелетней мудрости. Пшеница с твердой, обжигающей оболочкой. Маис, горячая влажность сумерек. Рис, сухое, еле заметное подводное небо. Просо, с незаметными движениями и точностью стихийных бедствий. Овес, уводящий к сердцевине сновидений. Ячмень, милосердная чаша для сердца, знающего слишком много. Гречиха, открывающая тайны любви к самому себе. Рожь, со всех ног бегущая среди неподвижности Становления. Диана Доусон крестилась, погрузившись в воду, где плавали семена всех восьми злаков. Вынырнув на поверхность, она уже знала свое имя и свое предназначение: Иоанна Крестительница, новый глас, которому дано воззвать в пустыне, дабы возвестить о возвращении Христа и явлении небесной Америки. Следовало немедленно покинуть город. Иоанна отправилась в порт, забралась на какой-то корабль, зная, что ею управляет высшая воля. Во мраке трюма она встретила Гаргулью, ставшую первой ее ученицей. Обе женщины сошли на берег в Талькауано. Увидев зловещую красную вывеску «Ареналь», Наставница

вняла небесному зову и осталась в заведении. Она сидела неподвижно у стены, пока вокруг бушевали оргии; проститутки провозгласили ее святой. Наставница смогла основать свою школу. К счастью, заведение принадлежало женщинам, и Наставница постепенно превратила его в храм. Во сне ей было знамение о грядущем приходе Святого семейства. Поэтому и начались работы по рисованию Сфинкса. «Ареналь» должен был стать пустыней, убежищем для младенца-Христа в его новом обличи, ибо только проститутки были способны помочь ему спасти мир.

Дева Мария обняла Крестительницу, обе разрыдались. Святому Иосифу сообщили, что его миссия окончена. Поблагодарив за покровительство и защиту, его попросили покинуть вместе с животными место, куда допускались одни женщины. Почтенный плотник взобрался на вола-Вальдивию, и тот плавно вынес его за пределы храма. Осел Непомусено, помахивая вынудой из кармана кистью, удалился с мушкетерскими поклонами, опускаясь все ниже по мере удаления от Мессии. Оказавшись за дверью, он перестал парить и коснулся земли. То же самое случилось с хромоногим, который под тяжестью Иосифа полетел носом в грязь. Его подняли. Святой Иосиф не знал, что делать. Он лишился жены и сына. Под образом Иисуса и Марии проступили прозрачные Энаниа и Кристоаль Колон. Боль пронзила мозг, по телу пробежал холод, и левая половина лица оказалась парализованной. Теперь он видел и дышал с трудом, став опять Ла Каброй. Черт! Почему такая несправедливость? Он умрет здесь, как подзаборный пес? Но возвратился святой Иосиф: «Не теряй веры. Наша святая супруга и мать не забудет тебя. Она поможет тебе, ибо ребенок – твой отец. Садись в тени, отгоняй мух фальшивой бородой и терпеливо жди. Там, внутри, происходит то, что могут видеть только женщины».

Преодолевая боль, он растянулся на земле. Председатель и секретарь вернулись к своей работе. Когти на львиных лапах сфинкса были языками пламени.

Диана Доусон, Гаргулья и десять девиц раздели младенца. Дева Мария улыбалась, стараясь скрыть свое ликование. Все помещение окурили ладаном, и по приказанию Наставницы Гаргулья, приблизив губы к мужским органам Иисуса, зашептала безостановочно:

– Раввуни, Раввуни, Раввуни... Дай первый знак...

Апостолы повторяли «Раввуни» вслед за ней. Крошечный член налился кровью и стал подниматься, обнаружив необычайную стройность. Когда кожа натянулась до предела, по маленькому отростку прошло волнение, распространившееся на голову и тело. На глазах у взволнованных женщин отросток втянулся внутрь, превратившись во влагалище.

– Раввуни, божественный андрогин, дай второй знак! Говори!

Ребенок сделался красным, тело и подмышки покрылись горячим потом, на лобке и на голове стали пробиваться белые волоски. Младенец с шевелюрой старика махал ручками и ножками перед почтительно склоненными куртизанками; наконец, те пали на колени, ожидая послания, которое будет им передано посредством лепета, стонов, плача, телодвижений.

Заключить океан в одну-единственную каплю? Втиснуть вечность в обрывок сна? Путешествовать вдоль корней, бесконечных, словно струя растительного сока и выразить в малом цветке свою ослепительную мысль, обращенную в запах? Как все это ненадежно! Младенец грозил разлететься на клочки, а с ним – и вся Галактика. И поэтому пришлось начать с матери, преобразив каждую ее клеточку, укрепив яичники, придав крови солнечную мощь. И все же, когда ее накрыла яйцеобразная тень, Мария едва не обратилась в пепел: чтобы отдаться во власть Иллюзии и не распасться, ей нужно было развернуть свою любовь в полную силу. Ребенок должен был поглотить ее, мало-помалу, словно чистая и непрочная губка...

Замкнувшись в самом себе, он путешествовал в сумерках, обретая новое воплощение с крайней осторожностью. В ушах



постоянно звенел назойливый голос: «Раввуни, Раввуни, Раввуни...». Терпение, женщины! Всеу свое время. Не принуждайте меня говорить, прежде чем мускулы языка не укрепятся – так, чтобы слово не растворило их. Если не усилить каждую клеточку мозга, тело, этот жалкий студень, сделается расплавленной магмой, когда моя мысль взорвется! Разве выдержит печень жар бесчисленных солнц? Терпение. Я установил закон, я знаю, что должен исполнить его. Я сам, добровольно иду в ловушку. Но не торопите меня. Это опасно – испытывать нервы ребенка. Если что, я не совладаю с собой, и мой гнев заставит Землю сорваться с орбиты. Хватит этих «Раввуни»! Не надо льстивых голосов! Не стоит лишать детства это маленькое существо! Я все сказал ясно в священной книге: вы – плоды союза мужчины и женщины, которые никогда не были детьми. Я совершил ошибку, сотворив вас взрослыми, – вы не знали, что такое игры, чудо первого шага, восторг от первого слова. Женщина и мужчина, сотворенные мной, не росли одновременно умом и телом: едва открыв глаза, они уже были законченными. Они получали все и ничего не добивались сами. И потому, изгнав их обоих из рая, я сотворил детство, а вместе с ним – и материнство... Сегодня я не стану открывать тайн, которые изменят лицо мира, не стану отдавать повелений. Мои губы сделают единственно возможное посреди всего этого нетерпения: будут пить молоко! Поймите, прошу вас: я хочу не говорить, а сосать.

Он отдался во власть своему желанию. Легкие еле выдерживали его голодные стоны. И вот он погрузился в вкушение векового яства. Мясо, скелет, кожа, позвонки, кровь полукольцом окружили губы, язык, небо, прижатые к горе плоти – небесным вратам – соску! О наслаждение! Будь оно вам доступно, вы бы просили не слов, но молока.

Тело призывало Его, и Он отдал себя телу, зная, что это лишь игра, что в любой момент он может разрубить узел и явиться во всем своем всемогуществе, но сейчас предпочел сжечь корабли, предстать младенцем, надеть привычную всем маску, видеть сны, склонившись к груди, что откликнулась на его зов, глотать, расти, крепить сыновние узы,

подставляя себя под ливень безумной нежности, перестать быть морем и стать болотом, мама, дай мне, дай, дай...

При последнем проблеске сознания он, шатаясь, подумал о своей левой руке и, сделав усилие, пронзил ее магической формулой. Это не он творил чудо, а младенческий голод требовал груди побольше...

Иоанна Крестительница поднялась, разочарованная. Ей не давала покоя не столько боль в коленях, сколько уязвленная гордость. Во сне ей было обещано, что дитя заговорит, и речь его будет новым евангелием, но вместо этого слышался лишь невнятный лепет: «Дай!». Надо заставить ребенка говорить, пусть даже придется для этого отшлепать. Она засучила рукава серебристой тоги и...

Младенец поднял левую руку, перекрестив груди своей матери. Треск ткани возвестил о чуде: одежда Девы Марии начала рваться из-за того, что тело, сотрясаясь от прерывистых толчков, увеличивалось в размерах. Карлица стала расти! Не прошло и минуты, как в ней уже было три с половиной метра.

Энанита перестала парить над землей, громадные ступни ее коснулись земли. Она поглядела на дверь: там, на ковре из семян, виднелись бывшие следы ее ног. Ей захотелось петь. Кристоаль сосал так отчаянно, что у Энаниты защекотало внизу живота, лоно сделалось вместительным, податливым, готовым на все. Там, глубоко – совсем глубоко – скрытая за толпой образов и лавиной внезапных чувств, родилась тень. Энанита узнала своего господина, Деметрио: наконец-то она прекратила смотреть на него снизу вверх! Она хотела прошептать, но вышел громоподобный бас: «С вашего позволения, я вернусь в цирк».

Диана Доусон поняла, что перед ней, с одной стороны – мистическое событие, а с другой – пробудившаяся ненасытная чувственность. Нельзя было допустить, чтобы эта жадная до удовольствия великанша похитила у них Бога. И Диана дала своим женщинам знак, означавший: «В атаку!». Не отпуская от себя дитя, гигантша дала отпор, ломая ребра ногами направо и налево. Она могла убежать, но увлеклась

борьбой, и немая воспользовалась ее секундной невнимательностью, чтобы кинуть ей в висок коробочку с языком внутри. Энанита упала без сознания.

Ла Кабра умирал, раскинув руки и ноги, лицом к небу. От сухой пены нёбо его сделалось совершенно белым.

Слышались удары и крики, потом наступила тишина. Руки с накрашенными ногтями задернули шторы, закрыли входную дверь. Сколько Непомусено и Вальдивия ни колотили в нее, умоляя помочь умирающему, никто не отозвался.

Поэт попросил друга остаться рядом с Ла Каброй, пока он сам, способный двигаться быстрее, не сбегает в цирк – сообщить обо всем паяцам. Самолюбие секретаря не могло вынести этого – и, вертясь колесом, он с бешеной скоростью помчался к шатру. У председателя была собственная гордость, и он припустил следом, стараясь обогнать приятеля. Благое дело обернулось спортивным соревнованием: ни один не желал прийти вторым. Они прибежали вровень и, достигнув арены, где клоуны безуспешно пытались придумать что-то новое, повалились на опилки, хватая воздухом, как две рыбы.

Остатки опухоли, проникнув в кровь, разносились по всему телу, сердцу становилось биться все труднее, легкие засасывали воздух, словно каждый вдох был концом света. Святой Иосиф мирно ушел из жизни в Назарете, в белом домике, где он дал Господу познать вкус хлеба, смиренную отцовскую любовь, сладость ручного труда. Ла Кабре было необходимо расстаться со своей плотью: чем дальше заходила агония, тем сильнее она держала его. Нечеловеческим усилием он скинул сандалии и поднял ноги кверху. По его нежной коже, внизу, под лобком, скользнул звездный свет, невидимый из-за солнца. От каждой звезды исходил пучок серебряных лучей, вонзавшийся ему в ступни. Миллионами нитей он был теперь привязан к небу. Каждая частичка тела запела прощальный гимн. Он ощутил в себе дороги, знаки, невыученные уроки, которые, однако, определили его жизнь; узнал, что такое пупок с его песней и яички, безупречные

шедевры, сработанные семенем; что такое печень – скорый в движениях страж, не дающий прохода тени, почки – творцы тайной архитектуры, легкие – плавильные печи Слова, кишки – ненасытный лабиринт, корень зрачков, что такое ногти, волосы, зубы, мелкие кости, что такое древо нервов и переплетение сосудов, что такое убаюкивающий ритм кровяной плазмы, что такое материя и пустота внутри него, что такое прощальный привет, посылаемый каждой частью его по отдельности и потому множественный, – именно в прощании познаются любящие существа... Да, он способен обрубить концы, устроить роскошный пир для червей... Ла Кабра хотел сказать последнее «прости», но во рту загноилось скопище слов, все, что набралось за долгую жизнь – чешуйки, прах, отмершие частички, перхоть, – и все это вырвалось наружу, язык бессильно обмяк, точно вытащенная на песок рыба... Настало время испустить дух... Но что он делает? Ведь он – Ла Кабра, а не фигляр, переодетый апостолом! У него отняли жену, сына, тело, язык, а теперь хотят отобрать еще и душу. Нужно бороться, восстановить силы, заставить кровь течь по венам, вперед, идем, пусть реки текут, ветер дует, петух поет, солнце встает над полосой зари, плоть подрагивает, каждый святой – исчадие ада, я бедный, простой человек, но это тело – мое, эта жизнь – моя, я хочу обонять, видеть, слышать, трогать, ощущать, заниматься любовью посреди праздника, хочу погрузить мое одиночество в море людского одиночества, вонзить зубы в артишок, запрокинув голову, влить себе в глотку теплую струю вина... Друзья, не покидайте меня, не надо, останьтесь со мной, пальцы, шевелитесь, язык, увлажнись, глаза, сумейте отличить свет от мрака!

Тело уже остыло. Ла Кабра скончался. Святой Иосиф заслужил это. Он уже давно одолел врага, метлой, где прутиками были молитвы, очистил все вокруг себя, осветил каждый темный уголок, притушил жажду познания и принес сладость неведения. «Ты знаешь – я не знаю. Ты чувствуешь – я лишь передаю другим твою Любовь»... И вот он совершает то, к чему готовился всю жизнь – струйкой дыма переносится в мир иной... Траур остался позади; впереди были ангельские

рати. Сперва прилетели духи повседневности: хлебный эльф, винная ундина, яблочная саламандра, – а затем, посреди этих посланцев стихий, возник его собственный ангел-хранитель и прикрыл двумя крылами из плоти. После этого явились галактические сущности, звездные игрушки, апокалипсические грумы, светозарные полковники, небесные сокровища. Он был точкой, был ничем – жалкий обломок, молящий о помощи: «Ты – все, я – ничто! Научи меня умирать!..». Вскоре он с шумом вошел в темную реку и понял, что раздет. Рядом – никого. Флюид, подхвативший его, был едче кислоты... Его воспоминания, его боль... Мать, глотавшая кока-колу при помощи своего лона; мессы Армии спасения; собака, подложенная ему в колыбель для тепла и заразившая его чесоткой; насмешливые рожи мясников, продававших требуху «для котов», зная, что это мясо – главная пища для семейства; соревнование с другими официантами – кто воздвигнет на столе самую высокую башню из пивных банок; раздоры с Хумсом; побои, полученные в Поэтическом обществе; опухоль в мозгу; Энанита, Кристоаль Колон, Святое Семейство!.. Зверская комедия! И этот мудака, Святой Иосиф, отказывает мне в праве на смерть! Это я, Ла Кабра! Я растворяюсь в грязи и вони! Но как умереть, если я не жил? Меня обманули. Я был рожден обычным плотником, а не святым заступником. Делать простые и прочные столы, стулья, кровати: вот мое изначальное призвание. Зачем столько страданий, если они не мои? Нет! Не хочу исчезать!.. Я все еще жив!

Он плыл против течения, зная, что исток реки – не в Назарете, но в мерзкой талькауанской луже. Может быть, еще не поздно вернуть себе собственное тело...

Когда Непомусено Виньяс наконец-то отдышался и селезенка чуть отпустила, он сделал глоток вина – такой длинный, что рассказ его перемежался непрерывной икотой. Он и его приятель Вальдивия, с которым он согласился на ничью из-за его врожденного увечья, – почтенные граждане, бежавшие от закона, две невинные стрекозы, внезапно превратившиеся в жалящих ос...

– И наконец, перехожу к самому существенному: один из ваших артистов лежит в агонии прямо перед мифическим животным, которого я изображаю на стене «Ареналя»...

Вальдивия, до этого дремавший после выпитого вина, внезапно очнулся, поняв, что его лишают всех заслуг. Но протесты хромоногого были заглушены шумом, который паяцы подняли перед баром. Председатель предложил секретарю присоединиться к ним, но двигаться неспешной рысью, чтобы не разбить найденные ими под стулом две бутылки вина.

Ла Кабра уже был мертв. К телу не захотели притрагиваться. Деметрио в сопровождении черной собаки пошел за полицией. Пирипипи вместе с Эмми и Эммой принялся наигрывать свой вальс. Виньяс объяснил, что слышались звуки потасовки, но ни дева Мария, ни младенец Иисус заведение не покидали. Закрытые окна и двери вызвали у всех самые мрачные предчувствия. Постучали в дверь. Нет ответа. Бросили в ставни несколько камней. Молчание...

Пришлось взять в цирке топор. При первом же ударе ставни отворились, из окон высунулись ружейные стволы, а также перекошенное лицо Гаргульи, заоравшей своим прежним голосом старой шлюхи:

– Брысь отсюда, а то надерем задницу!

– Но Энанита и ребенок...

– Никакой Энаниты здесь нет и ребенка тоже! Убирайтесь!

Фон Хаммер тоже обрел свой прежний голос нациста:

– Старая калоша! А ну давай: мои яйца против твоих пулек! Если не отдашь нам кое-кого, мы разорвем тебе кое-что! Так что закрой пасть и открой дверь...

Раздалась стрельба. Паяцы побежали прочь – туда, куда не доставали пули. Кучка камней, лежавшая неподалеку, едва могла защитить всех. Каждый, толкая других локтями, старался устроиться поудобнее. Осмелевшие девицы стали целиться тщательнее. Виньяс и Вальдивия, обнаружив несомненные таланты в области вольной борьбы, барахтались в груде тел. Лаурель Гольдберг, сделавшись Ла Роситой, зачастил молитву:

– Пресвятое копье святого Георгия, спаси нас от убийственного града! Сотвори чудо!

Непонятно, из-за молитвы или по другой причине, но чудо случилось: в воздухе показалось громадное зеленое яйцо, медленно плывущее со стороны моря!

Оказавшись перед «Ареналем», яйцо рассыпалось на множество мух, облепивших стены и крышу. «В бой, отважные циркачи!» – загремел немец и, увлекая за собой клоунов, бросился к зданию, где женщины пытались проделать бреши в жужжащей завесе. Резкими рывками им удалось вырвать ружья. Не выпуская стволов из рук, паяцы повалились в грязь – вместе с десятью разъяренными проститутками. Сражение было прекращено ввиду прибытия полицейского грузовика. Образовалось три группы: паяцы, сгрудившиеся посреди улицы; шлюхи, потрясавшие кулаками; и служители порядка, не знавшие, тащить в грузовик или любезно приветствовать Китайянку, Лолу, Замарашку, Бандитку, Паразитку, Длиннорукую, Мордашку, Бомбу, Шахтерку и Тигрицу. Но тут перемирие было нарушено. С воплем «Мерзавки! Меня не испугают десять коров сразу!» Эстрелья Диас Барум скинула свой костюм, общий с Марсиланьесом – «Бешеным конем», – и, голая, с лобковыми волосами, вставшими дыбом, так, что они завились в шарик, кинулась на противниц. Последовала свалка, под звуки ударов и крики боли. Понемногу тела падали, одно за другим, пока не показалась довольная Барум, счищая кровь с рук и груди. Поскольку Сепеды с ними не было, полицейские построились не колонной, а шеренгой и окружили поэтессу. Один из них, подгоняемый дубинками товарищей, попробовал отдать приказ:

– Сеньора, вы задержаны за оскорбление общественной нравственности!

В гневе оттого, что, воспользовавшись передышкой, шлюхи убежали и заперлись снова, Эстрелья взяла несчастного за шею и, словно тараном, принялась колотить его головой в дверь «Ареналя». Заплодировал один Марсиланьес, прочие же паяцы стали увещевать ее не делать этого. Карабинеры, решив, что те заодно с Эстрельей, атаковали их.

Столкнувшись, каждая из групп обрела энергию пушечного снаряда – и дверь была выбита. Десять куртизанок и Гаргулья стояли посреди танцевального зала вокруг обнаженной великанши, державшей на руках седовласого младенца!

Все уже собирались уйти, совершив осторожный полуборот, когда великанша воззвала:

– Деметрио, повелитель мой!

С немалым трудом Ассис Намур узнал Энаниту в этой громадине, и так как она зримо воплощала его юношеские сексуальные фантазии, у него потекли слюни от желания. Бледный, растерянный, он обратился к прошлому, потом к будущему, собрал все воедино и, распахнув объятия, двинулся к своей Венере. Выстрел оторвал ему кусочек ногтя. Гаргулья проревела:

– У вас три секунды, чтобы очистить храм! Раз... Два...

Не дожидаясь слова «три», все высыпали обратно на улицу, обеспокоенные состоянием Деметрио: голосом, идущим из самых яичек, тот требовал решительной атаки. Паяцы убедили карабинеров встать под командование фон Хаммера. Последний, позаимствовав форменную фуражку, преувеличенно хромая с целью придать себе грозный вид, построил полицейских и непререкаемым тоном – в голосе его проскальзывали лающие нацистские нотки – приказал всем занять стратегические позиции в течение пяти минут. Под его команду «Готовься... Целься... Пли!» перестрелка возобновилась. От Сфинкса полетели щепки. Поглядев на циркачей, немец, рисуясь, бодрой рысью направился к двери, полагая, что шлюхи, уstraшенные подавляющей мощью противника, выкинут белый флаг. Что-то белое действительно показалось, но не из двери, а из дырок, проделанных пулями: то был густой дым. Вскоре все увидели и пламя. Пожар разгорался так быстро, словно в огонь плеснули керосина. Женщины устроили самосожжение!

Деметрио обнял собаку и вернулся к прежнему безразличию Ассис Намура. Скрестив ноги, он наблюдал, как в очистительном огне Майи исчезает очередная его иллюзия...



Полицейские отправились за пожарными. Пламя было настолько высоким и мощным, что бригада, прибывшая со шлангами и топорами, обнаружила лишь развалины. При поисках не было найдено никаких скелетов – только крышка люка в полу: она вела в туннель и дальше – в подземную трубу канализации, такую широкую, что по ней могла проплыть лодка.

Паяцы дали показания в полицейском комиссариате. Во все окрестные деревни были разосланы описания великанши, младенца-старика, Гаргульи, немой Наставницы и ее товарок. Актерам посоветовали как можно скорее убрать холодный труп их товарища и похоронить его во избежание осложнений.

Трепеща, Непомусено Виньяс последним вошел в помещение. Неверным шагом мученика он приблизился к сотруднику комиссариата, что-то заносившему ржавым пером в засаленную тетрадь.

– Ваше имя, сеньор?

– Непомусено Виньяс, ваш покорный слуга... и слуга угнетенного народа!

– Потише, я не глухой. Как вы сказали?

– Непомусено Виньяс, ваш покорный слуга и слуга уг...

– Спасибо. Место рождения?

– Темуко. Но я считаю своим долгом заявить, что...

– Отвечайте только на заданные вам вопросы. Род занятий?

– Поэт. Известный певец подавленных народных масс!

– Вот как? Не знал, что в Темуко случилось землетрясение.

– Довольно! Мне есть что вам сказать!

– Извините. Тетрадь закончилась, я освобождаю вас от дачи показаний.

– Требую справедливости!

– Я же сказал, тетрадь закончилась. Не думаю, что вы прибавите что-нибудь к картине происшествия...

– Пожалуйста, прошу вас, мой любезный лейтенант. Или вы не слышали моего имени? Не... по... му... се... но... Виииньяс! Ничего не напоминает?

– Виньяс? Вин... вин... Напоминает. Белое, розовое и красное.

– Невежественный блюститель порядка! Из-за президента Виуэлы я оказался вне закона!

– А я из-за кого-то сейчас окажусь вне себя, урод! Тетрадь! Закончилась! Вон отсюда! А то макну носом в чернила!

Чтобы спасти положение, хромец изобразил попугайчика и вытолкнул председателя на улицу с ее несправедливой свободой.

## Х. МАМА, Я ХОЧУ

*Я никогда не сбиваюсь с пути, потому что иду из чистой  
любви к хождению...*

**Интервью с Карло Пончини,  
«Ревиста Философика ди Рома», 1930.**

Развалины «Ареналя» все еще дымились. Ночной ветер там и сям открывал огненные глазки в обугленном дереве. Испещренная оспинами голова сфинкса выглядела лунным пейзажем. Неподалеку в цирке тоже горело пламя: паяцы поставили на каждое кресло по свечке и водрузили в центре арены гроб с обнаженным телом Ла Кабры, вымазав ему член зеленым маслом в честь Энаниты.

Фон Хаммер соорудил натюрморт из куропаток, мандолин и марципанов. Пунш, где плавали маленькие черепа, вырезанные из яблок, быстро исчез под сипение и покашливание в глотках, закаленных годами возлияний. Целую ночь не прекращались танцы в память покойного.

В пять утра Акк сел рядом с умершим другом, приподнял его за холодные подмышки и голосом чревовещателя заставил его произнести речь – сперва жалобная, она затем делалась все более агрессивной, оскорбительной, надменной, словно Ла Кабра, последний из живущих, обращался к миру мертвецов. «Покойники», рукоплеща «живому», растянулись на полу и накрылись стульями, изображая ряд могил. Вскоре арену заполонил могучий храп. Один только Акк, напевая танго «Пока, ребята», вытащил Ла Кабру из гроба и начал с ним на пару безумный танец, щека к щеке... Так он выполнял обещание, данное Толину во время испражнения под фиговым деревом: «Буду плясать ночь напролет, обнимать трупы и опорожнять свой желудок им в лицо». Пока что желудок вел себя хорошо, и оставался еще час до предрасветных петухов. Поэтому Акк продолжал пляску.

Га покинул свою «могилу». Язык превратился в наждачную бумагу. Вокруг него простиралась Сахара, и жажда была соответствующей. Однако чаша с пуншем оказалась не только выпитой до дна, но и вылизанной. Га попытался вспомнить, во что он был одет. Пошарив рядом, он нашел колпак розового цвета в форме немецкой каски, но с углублением наверху. Да... Маленький Член! Сейчас член был не только маленьким, но также вялым и безжизненным. Чтобы он снова распрямился и встал, требовалось несколько глотков. Трубообразный наряд из жесткого картона, имевший некоторое сходство с напряженным членом, давал опору позвоночнику. Не замеченный мрачной парой на арене, Га выскользнул наружу, направляясь к своему фургону: под койкой у него всегда лежала запасная бутылка, на всякий случай. Небеса были сухими, руки тоже сухими, земля превратилась в пепел, лающие собаки изрыгали огонь из своей пасти, а небо страдальца, казалось, разделили на четыре части, как старинную картину. Носком ноги он пнул дверь фургона – пнул так яростно, что от правого яичка, похоже, мало что осталось. Плевать: есть еще левое! Потерять одно – не значит стать кастратом! Он еще споет «Вернись в Сорренто» проникновенным баритоном! Дрожащими пальцами он нащупал что-то и вытащил из-под койки... но это оказалась не бутылка, а миниатюрное кладбище. Роковые последствия белой горячки? Га поискал взглядом вампира, что перегрызает горло говорящим крысам. Никого. Ни саламандры, ни паука, ни слона с мясистым хоботом. Кладбище было вполне осязаемым: кто-то приладил на доске крошечные кипарисы, травку, склепы, могилы, а рядом – открытые гробы с трупами членов Общества Цветущего Клубня. На крышках были наклеены бумажки с именами: Хумс, Зум, Загорра, Лебатон, Энанита, Кристоаль Колон, Боли, Деметрио, Марсиланьес, Барум, Лаурель Гольдберг, Толин, фон Хаммер, Пирипипи, Эмми, Эмма и он сам, Га, голый, с раздутым животом. В полузасыпанной могиле лежал Ла Кабра. Надгробный камень гласил: «Первый». На пиру червей не хватало лишь одного. Акк! Га поглядел на дверь с табличкой:

«Оставь надежду, всяк сюда входящий. Акк». Значит, он ошибся фургоном! Этот стервятник хочет свести в могилу их всех! И при помощи магии! Предатель! Га поискал карандаш, безжалостно распотрошив небольшой секретер, где имелся полный набор орудий для резьбы по дереву. Там лежали, кроме того, чистые бумажки для гробов. Га приклеил их сверху старых и на каждой написал «Акк». Пусть этот эгоист подыхает сам, преследуемый собственными призраками, пусть он будет первой и последней жертвой, Акк, для которого планета – всего лишь шар, скатанный навозным жуком... Га порылся в шкафчике. Отлично, отлично. Три литра кислой чичи – истинное благословение, дождь, орошающий пустыню! Выпив ее, Га почувствовал себя китайским фламинго, уносимым небесной рекой в направлении вечно-го Дао. Отрыжка; теперь он – королевский гиппопотам в извечной грязи мистической Африки. Глубокий вдох; теперь он – вулкан, в котором изжарился Эмпедокл. Га понял, что должен выпустить струю газов в память о золотой сандали, исторгнутой чревом огненной горы, – единственного, что осталось от философа. Несмотря на все его усилия доказать свою приверженность учению досократиков, ветров не получилось – лишь скромная желтоватая струйка, увлажнившая ковер тигровой расцветки. Га попытался вытереть пятно левым башмаком, но так неловко, что угол ковра завернулся и открыл его взгляду черную тетрадь. Белые буквы на обложке сообщали, что это «Дневник умственной жизни». Га полистал тетрадку, исписанную мелким почерком. Какой ужас! Разве Акк не знает, что всякое страдание находится под запретом? Каждый паяц подписал торжественное обязательство не предаваться жалобам. Все считалось поводом для зубоскальства: болезнь, старость, смерть, нищета, здоровье, молодость, жизнь, богатство. На смех поднимались любовь и ненависть, победа и поражение, орел, решка и сама монета. Как ты мог написать такое, Акк? Страница за страницей – все сплошь о сестре, умершей от чахотки, тоном лирического идиота, мечтающего войти в Академию. Словно твоя толстолая сестричка – единственная в мире покойница, черви в ее могиле –

драгоценности, а гнилой труп – ваза испанского хрусталя. Ха! В земле полно мертвецов, не умерших на шелковых простынях, а посаженных на кол, разрезанных на куски, забитых до смерти. Уважение? Женщины – это несушки, и человеческих судеб на Земле разбивается больше, чем яиц для омлета. Ты заснул, уронив голову на словарь синонимов. Ты считаешь, будто жизнь – это литература, а литература – это премии. Тебе кажутся очень изысканными твои кровосмесительные строки, ты надеешься самым элегантным образом задеть чувствительных аристократок – например, женившись на одной из них, изнасилованной в зад моряками после благотворительного бала в Поло-клубе, устроенного в честь страдающего полиомиелитом ребенка. И ты еще смеешь рассуждать о безумии! По-твоему, оно – дорога, которая приведет тебя к уютному домику с чаем и конфетами внутри, где можно спокойно побеседовать со своим внутренним Богом. Ты жалуешься на всех нас. Надеешься на Бога, но сам стараешься не плошать. Ты говоришь, что сначала все шло как надо, и каждый мог спокойно править своей лодкой, пока не исчезал за горизонтом. Ты мог бы делать то же самое, став последним в своем поколении, приветствуя публику со страниц тысяч антологий, играя покойниками, словно куклами, создавая легенды для будто бы вечной истории, придавая смысл бессмыслице, награждая осла морковкой за каждое помахивание хвостом. Я точно знаю, чего они ищут. Однажды на шумной вечеринке я услышал их шаги. То были жесты-поэмы, великие труды, написанные в воздухе и видимые только мне. В глубине мироздания они создали творение, и этим Творением был Я, ибо я сделался Великим Свидетелем...». Да, Акк, для тебя, который всегда путал антологию с копрофагией, все шло как по маслу – пока не совершилось первое чудо. Если бы оно случилось с тобой, вопрос был бы тут же закрыт. Но вот что испортило тебе печень: *видения были у всех, кроме тебя*. Когда Ла Росита поселился внутри Гольдберга, ты не почувствовал перемены в голосе Лауреля, решив, что он неудачно подражает умершему. К Толину не слеталось никаких канареек: он всего лишь слонялся целый

день и насвистывал, уверяя, что окружен стаей птиц. Черная собака никогда не говорила «Да», издавая обычный лай. Деметрио делал вид, что рядом с ним – человеческое существо, ища оправдания для своей зоофилии. Все оцепенели при виде великанши с новорожденным-стариком, но ты не узрел роскошной изнанки действительности, не понимая, что такого в этой карлице с рахитичным, безволосым младенцем на руках. Ничего удивительного. Яйцо из мух? Самый обычный рой – пойдите на рынок, в арбузный ряд... Но есть одно большое «Но», которое изводило тебя: почему все эти галлюцинации умножались? Ну хорошо, паяцы могли просто напиться до одурения, но ведь то же самое случилось с фараонами и проститутками. Эпидемия, утверждаешь ты? Мы отравляем действительность? С неторопливостью термитов подтачиваем ее законы? Хотим, как истинные поэты, свести с ума страну, планету, Вселенную? Итак, мы – всадники нового Апокалипсиса, носители заразы. Ты вспоминаешь фильм о нашествии вампиров? Яд проник в кровь горожан через укусы, и лишь один – как ты сейчас – сопротивлялся до конца, совершая отчаянные вылазки, вбивая кол в грудь заснувшего кровососа. Пока ты сопротивляешься поддельному чуду, паяцы в своем безумии не смогут преобразить мир... Пффф! Единственное чудо здесь – это твое упорное неверие...

В фургоне нашлась бутылка с кубинским ромом. Га осушил ее до последней капли. Ноги перестали его держать. Пытаясь сохранить равновесие, он вытянул вперед руки и упал прямо на кладбище, носом в могилу. В мозгу нарисовалась чисто фрейдистская связь между носом, членом и могилой, символом кастрации. Рассудок его помутился. Но ему не явилось ни крыс, ни летучих мышей, ни слонов: одни только женщины, толпа женщин, каждая с вилок и ножом в руках, за каждой – история успеха или неудачи. Бесконечное шествие! Художница, у которой внизу никогда не делалось влажно. Актриса, которая пила сперму, чтобы сохранить молодость и могла по ее вкусу сказать, что Га ел сегодня. Хозяйка интерьерной мастерской: она вытаскивала у него изо рта нить, а из зада – железные шарики. Шлюха с иголками, воткнутыми в клитор.

Дантистка, совавшая себе внутрь яйцо – он должен был разбивать его своим членом. Балерина, платившая ему деньги – золотые монеты всегда лежали в ее киске. Старуха, кусавшая его за крайнюю плоть фарфоровыми зубами. Калека, получавшая наслаждение, когда ей облизывали культю. Та, что украшала заячью губу огромным бриллиантом. Та, что кончала, когда сосали ее карманные часы. Та, что считала себя пчелой. Суфийка, которая пыталась засунуть ему в мочеточник пергаментный свиток на арабском. Обжора, она требовала аперитив, обед из четырех блюд, вино, кофе, а после раскрывала лоно, похожее на мышеловку. Та, что мастурбировала при помощи игуан. Та, что вводила себе во влагалище боксерскую перчатку. Та, что совокуплялась только на могиле своего отца. Одноглазая – в ее дырке всегда была спрятана фотография погибшего моряка... Га сдержал животный крик. Нет, он больше так не может! Тревога, охватившая его, доставляла мучительное наслаждение. Отдаться смерти, изнемогать от бреда, разлететься в полной тишине, стать пустым центром, невидящим оком, заснуть, опустить занавес, я не верю в сегодня и в завтра тоже, из яйца делают омлет... Он брел вверх по склону. Слон, свинья, собака и петух бежали с другой стороны, чтобы пожрать холм... Но им никогда не добраться... Он упал в открытую пасть жабы, та проглотила его, думая, что это луна... ммм... забудь омлет... кто ищет, не найдет... ррр... Толстяк стал выводить носом рулады, и телега затряслась – в тот самый миг, когда земля стала вспучиваться. Землетрясение! Камни повыскакивали из мостовой, и фургон покатился по наклонной улице, туда, в долину, к трущобным поселкам, увлекая вместе с собой Га, который неумолимо храпел, так и не проснувшись.

Город корчился в судорогах. Легионы собак выли, и вой их сплетался с испуганными молитвами хозяев. Штукатурка на стенах домов осыпалась. Над городом стояло разноцветное облако.

Акк, весь в поту, задыхаясь, продолжал танцевать с трупом, теперь на наклонной плоскости. Поскольку у него



страшно кружилась голова, он ничего не заметил – так же, как и «усопшие» в своих лжемогилах. Дощатый помост над бассейном треснул, середина его, где нашел убежище Лаурель, провалилась в воду. Гольдберг проснулся, быстро оценил ситуацию и завопил:

– Настал Апокалипсис, а вы тут спите! Вам не увидеть нового Иерусалима! Ваши могилы воняют задницей! Пробудитесь! Представление не меняется! Задыхаюсь! На помощь! Мои ноги пустили корни в миллионах душ! Чтобы вытащить меня из воды, надо потянуть за весь мир!

И вдруг, прислушавшись к собственному голосу, Гольдберг понял... Паяцы, с гноящимися глазами, при словах «на помощь!» выползли из-под кресел, думая, что земля под ногами шатается исключительно вследствие выпитого накануне.

Аламиро Марсиланьес, как всегда, при пробуждении освободил свой член из крючковатых пальцев поэтессы и вошел в нее. Из влагалища с криками «Доброе утро!» разбежались нимфы. Первый крик наслаждения, исходивший от Эстрельи, разбудил всех, кто еще спал. Толин открыл клетку с канарейками и осторожно выплюнул птичку, спавшую у него во рту. Деметрио прогнал со своей груди черную собаку: он пребывал в дурном настроении и думал об Американке, погрузившись в мечтания. Цирк горит. Клоуны бегут, передевшись в обычную одежду. Он, Толин, убеждает солдат, что кенары – языки пламени, взятые им на память. Пользуясь замешательством военных, они берут курс на юг. Американка ждет его под кипарисом и говорит, не шевеля губами: «Мне не было дано увидеть, как развязывается узел: его рассекли молниеносным ударом».

Призывы утопающего не могли отвлечь фон Хаммера. С самого утра его хромяя нога жутко болела. Со смертью Гитлера немец потерял источник, питавший его силы. Теперь он с каждым шагом приближался к пропасти, и всякая перемена погоды тяжело отзывалась на его лысом черепе. Малейший холодок – и начинались бесконечный чих, перемежавшийся проклятиями. Конец неумолимо приближался:

настоящий блицкриг! Хотя он двести раз в день делал по двести наклонов вперед, складка жира на животе выросла до размеров автомобильной шины. Но ничего! Das macht nichts! Фон Хаммер плюнул на указательный палец, рассчитывая заменить им зубную щетку, и начал ежеутреннюю гигиеническую процедуру, по привычке насвистывая «Deutschland über alles». Верхний правый клык как будто шатался. Фон Хаммер надавил на него с другой стороны: так и есть! Продолжая испытывать зуб на прочность, немец без труда вынул его. Та же судьба ждала резцы, второй клык и все коренные. Шестнадцать верхних зубов выпали без единой капли крови. Зажав их в левой ладони, фон Хаммер с neodолимым любопытством и одновременно с тревогой двумя пальцами проверил на прочность нижний клык. Вдох облегчения: держится! Но обеспокоенность не проходила. А если потянуть чуть сильнее? Зуб остался между пальцев. Остальные пятнадцать отлетели, словно сухие листья. Фон Хаммер склонился перед неизбежным: надо заказывать вставные челюсти...

Виньяс и Вальдивия, стараясь быть на виду у Лебатона и Загорры, стали раздеваться, чтобы помочь утопающему. Они попросили разрешения присоединиться к трупке, но мистер Уолл, из-за того, что Стрит глядел на этих двоих подозрительно, держал их под наблюдением. Зум прекратил это бесстыдство, уведя приятелей прочь от бассейна при помощи морковки. Раввинчик взывал, не переставая:

– Тот, кто ни разу не тонул, не может понять меня! Если хоть один не полезет в воду, никто не спасется!

Деметрио плюхнулся в воду, подняв фонтан брызг – не из-за этих истошных воплей, а чтобы отогнать мысли об Американке. За ним последовал фон Хаммер, во рту которого геройское «А-а-а-а!» по причине беззубости превратилось в плаксивое «Мамааа!». Энтузиазм рос прямо на глазах. Оттолкнув Виньяса и хромонокого, все – не понимая, что началось землетрясение – бросились в воду, кроме Акка, упорно продолжавшего свой танец с покойником. Он дотанцевался до того, что мертвец явственно начал говорить. Сначала, из-за

сонливости, это показалось ему естественным, но через пару секунд сознание уже стояло на страже. Невероятно! Невозможно! Теперь он тоже свидетель чуда! Вирус не пощадил и его! Значит, его, Акка, мозг стал последним бастионом. И этот бастион следовало защищать не во имя себя самого, но во имя человечества. Он останется глух к речам усопшего... Акк поплясал еще немного, но, в конце концов, и он ощутил толчки. Подумав, что это дрожь, вызванная страхом, Акк решил повести борьбу с иррациональным, взяв быка за рога: он отбросил от себя тело Ла Кабры и посмотрел на него в упор. Мертвец продолжал осыпать его оскорблениями, не раскрывая рта. Более того: голос шел не от холодного тела, а из центра бассейна. Там Лаурель Гольдберг, чьи жесты и мимика принадлежали теперь не ему самому или Ла Росите, но Ла Кабре, завывал, опять же голосом покойного:

– Вытащи меня, гнусная гиена! Никто не смеет плевать мне в лицо!

Акк не смог пошевелиться. Под внешностью еврея скрывался Ла Кабра, втиснувшийся в тело Лауреля так яростно, что молочно-белая кожа того отливала смуглотой. Зубы не выросли заново, но очертания рта сделались какими-то лошадиными, а жесткие курчавые волосы говорили о смешанной крови.

Существо это вылезло из бассейна, отряхиваясь, и бросилось вперед, намереваясь разбить нос заслуженному танцовщику. Но тот толкнул навстречу ему труп с такой силой, что задира повалился на спину. Ла Кабра-Гольдберг поднял бездыханное тело с любовью, какой и не подозревал в себе. Да, при жизни он стыдился своей убогой внешности метиса, не говоря уже о небольшом росте. Но, побывав в агонии, он понял, что эта внешность так же прекрасна, как листок тополя или самоцветный камень. Осознав благородство страдания, он бережно положил покойного обратно в гроб, поцеловав ему лоб, рот, ступни, мужской орган, руки, грудь. Что это за удача – обладать телом, и сколько презрения он выказывал к своему телу при жизни! Чья тут вина? Ему дали организм, обладающий неисчислимыми возможностями, и

не научили им пользоваться, втокнули в лабиринт с тысячей дверей и не дали ни одной подсказки. Выше голову! Отныне придется жить в костюме с чужого плеча.

Паяцы сгрудились в центре бассейна, вопя: «На помощь, вытащите нас!». Акк тоже кинулся в воду, чтобы освежить мозги и прогнать прочь видения. Несколько человек крепко держали Вальдивию, не умевшего плавать. Лебатон схватил одержимого юнца за щиколотку и втянул в бассейн.

– Не думай, что смерть дает тебе право не участвовать в представлении! Давай, продолжай! Мне все равно, еврей ты, индеец или просто сукин сын! Давай, маши руками, зови на помощь, как все!

Клоуны барахтались в воде, изображая судороги и спазмы. В первый раз они обходились без зрителей. Игра затянула их, и ни один не желал прекратить ее первым. Итак, они будут ждать спасения от посторонних. Крики становились все безнадежнее, но терялись среди шума подземных толчков.

Фургон катился вниз. Га, несмотря на землетрясение, безмятежно храпел. Мягкий грунт дороги не давал телеге свернуть в сторону и разбиться, столкнувшись с облупленной стеной какого-нибудь дома. Из окон и дверей высыпали обезумевшие женщины, хилые ребятишки и чесоточные псы. Вскоре деревня осталась позади, и никем не управляемый фургон въехал в лунную долину. Скалы зловещей формы отпугивали птиц, на плотной земле не росла трава, не виделось ни единой букашки. Наконец, дорога кончилась. Повозка ударилась о выступ скалы, отчего вспыхнули газовые баллоны. Га не почувствовал жара. Даже когда подошвы его ног стали обугливаться, он не проснулся. Где-то закричали петухи. Землетрясение прекратилось.

Целый день паяцы барахтались в бассейне. Было уже шесть вечера. Кровавый свет заката падал на арену, сообщая румянец уже подгнивавшему трупу. Мухи кружились над телом, а паяцы, посреди покинутого всеми цирка, упрямо орали, зная, что спасения ждать неоткуда. Никто не был способен

нарушить железный закон игры, установленный вследствие стечения обстоятельств. Они будут плавать, пока не подхватят воспаление легких. Ах, если бы вода сделалась водкой... На помощь!

Кто-то заметил, что не хватает Га. Когда толстяк вернется – конечно же, пьяный в хлам, – надо не дать ему броситься в воду и убедить его – что будет нелегким делом – протянуть правую руку, руку помощи. Пусть и ничтожный, но все-таки шанс!.. Послышались чьи-то шаги. Паяцы завопили громче прежнего. Га поймет, в чем дело, и не станет нырять в воду. Занавес отодвинули. Кто это и откуда? Не груды мяса, пропитанного спиртом, но невысокий господин в накрахмаленном воротничке, сером костюме, шелковом галстуке, лаковых ботинках, коротко постриженный, с наманикюренными ногтями, золотыми запонками и черным чемоданчиком, пахнущий дорогим одеколоном. Он торжественно встал на краю бассейна и от имени Высокочтимого президента Республики дона Геге Виуэлы протянул палец, с помощью которого паяцы выбрались из воды. После этого он вошел с ними в обсуждение деликатного вопроса: насчет вознаграждения за особое поручение, которое первое лицо государства, совершающее поездку на юг страны, просит их исполнить, – для себя, сопровождающих его лиц, Национальной ассоциации журналистов и государственной радиокомпании.

Жгучая боль изгнала его из рая. Почерневшие ступни потрескались, и виднелся расплавленный жир. Кожа изошла волдырями, дым не давал дышать, вокруг бесновались огненные стрелы. Га, жестоко страдая, все же не терял хладнокровия. «Я вижу сон. Обычный детский кошмар». Он улыбнулся, насколько позволяли обожженные губы, и, посчитав, что сгорание в огне не входит в его жизненные планы, прошел через стену пламени, цеплявшегося к коже, открыл обугленную дверь и спустился на землю по лесенке. «Что за глупый сон! Теперь еще и при луне. Никакого единства места». Пытаясь проснуться, он сделал полдюжины шагов по каменистой земле и упал, обратившись с ног до головы в одну сплошную язву.

– Правая нога вперед, левая назад. Теперь левая вперед, правая назад. Представьте, что натираете паркет: колени согнуты, голова задрана кверху, улыбка, рука прижата к груди, другая рука поднесена ко лбу под прямым углом. Танцуем самбу!

Геге Виуэла, напевая себе под нос «О, Бразилия!», примерял новый фрак, на два размера уже предыдущего, а также бальные туфли – именно они обеспечили ему широкую популярность. Танцевальные вечера плюс уход за собой с помощью виноградного сока придавали президенту очаровательный вид. Он до блеска начистил зубы, большие и белоснежные от природы. Подсвеченные мощными лампами, они оказались весьма эффективным средством воздействия на массы. Бабушка, заставлявшая Геге Виуэлу глотать клещевинное масло, научила его, сколь огромной властью обладает улыбка, обнажающая безупречные – и беспощадные – зубы. С унаследованной от нее улыбкой он благословил – перед тем как расстрелять – девятнадцать тысяч стачечников на угольных шахтах Лоты... Он благодушно выслушал их жалобы... «Мы работаем по двенадцать часов в сутки, в забоях, которые на много километров уходят под морское дно, задыхаемся от рудничного газа, а платят нам гроши... Мы спим по пять-шесть человек в койке, пока нас не будит другая смена, матрасы никогда не остывают, и так годами... Эти матрасы, жирные, грязные, впитали в себя наш пот, наши сны, наши предсмертные крики, и раздуваются от наших стонов...»

Белозубо улыбаясь, он дал им пройти перед собой, видя тысячи лиц в отвратительных масках из ткани и ваты. Он доброжелательно смотрел, как женщины спускаются по черным от угля улицам, выстукивая деревянными ложками по кастрюлям похоронный марш. Обнимая воздух, словно усталого шахтера, он приветствовал рахитичных детей, которые несли слепленных из сажки птиц, символ анкилостомииаза. Улыбаясь шире, чем всегда, он легким движением поднес к губам микрофон и заговорил:

– Вы голосовали за меня. Мы здесь все свои, правда? Поэтому скажу прямо: хватит этих выходов! Причина забастовки

вовсе не в «ужасных» условиях жизни: я не вижу мертвых, я вижу девятнадцать тысяч живых и здоровых чилийцев, я вижу деревянные ложки и самодельных птичек – словом, карнавал! Нет! Перед нами – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗАГОВОР! Здесь, в этой угольной шахте, тайные агенты коммунизма разжигают третью мировую войну! Кто же настоящий враг? Тито, югославский разбойник, подкупивший с помощью кремлевского золота наших профсоюзных лидеров. Через три месяца, не позже, разразится вооруженное столкновение между Россией и Соединенными Штатами. Мы должны выступить на стороне могущественного североамериканского соседа. Это более чем веские доводы для того, чтобы объявить стачку незаконной. Я не считаю, что действую против своего народа: я верю в то, что он, хотя и бессовестно обманутый, – на моей стороне. Я буду беспощаден к красным предателям! Против них двинутся все вооруженные силы: авиация, флот, пехота, кавалерия, танки! Мы раздавим их, как клопов! Тот, кто немедленно не приступит к работе, будет депортирован; семья его будет изгнана за пределы Лоты. Женщин, кроме того, побреют наголо. Знайте, что вы окружены: этот район объявлен зоной, враждебной Родине! Ни парламентарии, ни репортеры сюда не проникнут. Двери профсоюзных организаций взломаны, а их лидеры высланы в Антарктиду. Мы не остановимся ни перед чем в стремлении навести порядок. Приказываю всем приступить к работе завтра в восемь утра, под угрозой быть объявленными нарушителями Закона о комплектовании армии и заключения в крепость сроком на три года и один день. От имени государства обвиняю СССР, Югославию и Чехословакию в организации преступной стачки с целью нанести ущерб североамериканской военной промышленности!

«Ла-ра-ла, ла-ра-ла, на Мартинике банан...». Ему пришлось наклеить пластырь на обе пятки, так как лакированные башмаки содрали кожу – а ведь их привезли спецрейсом из Парижа, вместе с рубашками и галстуками... Вот он весь: сначала добродушный, но потом – пиф-паф, тара-рам! Стачку необходимо подавить в зародыше. Медные короли и их

финансовые эксперты поздравят его. Ну что ж, что он пришел к власти при содействии коммунистов? Цель оправдывает средства – теперь он может рассчитывать на доверие «Чили Эксплорейшн», «Анаконда Копер», «Бетлехем Стил», «Гутгенхайм» и других корпораций. Пятки по-прежнему болели. Он вспомнил гнусавый голос Хуана Неруны. Этот фанфарон все еще сочиняет поэму, начатую тридцатью годами раньше – поэму о самом себе, разумеется: неисчерпаемая тема. Чемпион по частоте употребления слова «Я». Зазнавшийся невежа! Он ни черта не смыслит в политике, всю жизнь понимал толк лишь в кислом вине – и потому как тень, следовал за Виуэлой... Когда-то Неруния был его советником по пропаганде.

Не приставайте ко мне со всей этой марксятиной: я вступил в партию из чистого оппортунизма, чтобы обрести аудиторию! Вот и все. Этот хитрец Неруния, пользуясь моим престижем кандидата в президенты, заболтал чилийский народ и пролез в сенаторы, он, актер на все роли, лизоблюд, пьяница с павлиньим хвостом, декламирующий на подмостках гимн самому себе. Спаситель народа! Поборник справедливости! Защитник правды! Ха, ха! Этот дерьмовый папашка, этот самовлюбленный пердун выступает против меня, Геге Виуэлы? Я все о нем знаю! Мы оба хотели власти, триумфа, международного признания. Только его погубила зависть: как, он отвечает у меня за пропаганду, когда сам мог бы стать президентом! Святая простота! Желая сорвать аплодисменты, он предложил с трибуны Сената отдать крестьянам пустующие земли, уравнивать в зарплатах женщин и мужчин, отменить законы, ущемляющие права личности... И тому подобный вздор. Что, так и будем ходить взад-вперед? Зачем изгонять американских советников и солдат? Чтобы заменить их на советских? Лицемер! Он обвиняет меня в предательстве, а сам, чтобы войти в историю, готов всех нас кинуть в щупальца красного спрута... А сейчас сбежал за границу. И будет разыгрывать из себя мученика, как же иначе? Черт побери! Сколько бутылок он вылакал за мой счет? В конце концов... Рано или поздно он попадется. Смеется тот, кто смеется последним.



Этим вечером президенту надлежало быть в хорошем настроении. Народу требовались хлеб и зрелища. Что ж, для него будут зрелища. «Паяцы с Виуэлой!» Отличная реклама. Что нравится чилийцам больше стихов? Клоуны! Каждый считает себя поэтом после двух бутылок и клоуном – после трех. Настал момент заставить этого обожаемого всеми персонажа поучаствовать во внутренней политике. Сила комического – смех подавляет голод – сбросит надутых важностью поэтов с пьедестала... Нерунья, ты пропал! Шах и мат! Чили станет не поэтическим кружком, а цирком. Или ты не понял, что моя улыбка, самба в моем исполнении – тоже цирковые номера в своем роде?

Все превосходно организовано. Жалкому балагану «Люди-попугай», потонувшему в талькауанской грязи, окажут честь своим посещением президент, армейские чины, церковные иерархи, министры-консерваторы, американский посол и представители промышленных кругов. За происходящим будет следить вся страна через радио, газеты и кинохронику. «Паяцы с Виуэлой!» И это лишь начало. Вскоре правительство пошлет цирковые труппы во все уголки страны... «Смех и работа». Прекрасный лозунг. Ты еще не знаешь, с кем связался, Хуан Нерунья!

Вальс, исполняемый Пирипи на монетах, заглушали восемьдесят музыкантов военного оркестра. Но все же время от времени, по замыслу организаторов, дирижер резким взмахом палочки прерывал гудение духовых, и на минуту – казавшуюся вечностью – в тишине, расстеленной как почетный ковер, слышалось хрустальное позвякивание серебра... Снаружи развесили синие, белые и красные лампочки, а на вершине столба укрепили пятиконечную белую звезду. У входа стоял портрет Геге Виуэлы в полный рост: президент был изображен во фраке, танцующим самбу, с гранатовым шаром на носу. Надпись на шаре гласила: «Геге с цирком!». Рядом – щит, на котором улыбались паяцы, все одинаково, точно так же, как президент: «Паяцы с Виуэлой!».

Под шатром, на арене и на пустоши, посыпанной гравием, толпились талькауанцы; дети, старики, мужчины, женщины,

а также кошки и собаки, отбивая ладонями ритм в ожидании обещанных бутербродов и пива. Построенные кольцом карабинеры под командованием брата Сепеды – прозванного «Попаичком» в память о беззубой ухмылке покойного капитана – отделяли шатер от толпы, беспрестанно шикая на собравшихся, чьи пустые животы издавали произвольные звуки.

Высокочитимый Сеньор Президент прибыл в своем черном «Кадиллаке». Следом ехали другие роскошные машины. Из окна автомобиля президент делал жесты руками, призывая к терпению: пиво и бутерброды вот-вот подвезут... (Овация.) Фейерверк сейчас начнется... (Аплодисменты.) А кто устроил этот праздник? (Скандирование: святой Геге, святой Геге! – и так далее.) В небо взвились ракеты: композиция изображала чилийский флаг, скрещенный с американским, и Виуэлу с его улыбкой среди паяцев, топчущих серп и молот.

В сопровождении свиты, расчищавшей себе путь между фотографами, первое лицо государства вошло в цирк под мелодию: «Мама, хочу, мама, хочу сосать...». Все было подготовлено и четко рассчитано по времени сотрудниками ведомства пропаганды. Шел уже привычный спектакль без начала и конца. Лаурель в центре бассейна взывал о помощи. Другие паяцы, стоя у края, спорили, предлагали разнообразные способы спасения, но не приступали к действию. Геге Виуэла подошел ближе, напугав тем самым «интеллектуалов», и, протянув утопающему правую руку, как и было предусмотрено, произнес заученную речь:

– Я, Геге Виуэла, Президент нации, от имени всего народа протягиваю руку тебе, героический паяц, чтобы ты присоединился к нам в борьбе с общим врагом – коммунизмом. Довольно колебаний: настал момент молчать и действовать. Здесь, со мной – представители нашей славной армии, отвергающие любые попытки оскорбления и подкупа, и сенаторы от Либеральной партии, патриоты, не говорящие о «необратимом ходе истории»: этот необратимый ход ведет прямо в бездну тоталитаризма! Со мной – Церковь, призывающая к сохранению высоких привилегий граждан в Чили

и во всем мире. Со мной – Ассоциация Отцов Семейств, твердо намеренная воздвигнуть преграду из нерушимых принципов на пути предателей, толкающих нас к братоубийственной войне. Ухватись же за эти пять пальцев, паяц! Ты не утонешь! Ты – Смех Народа, и мы пришли сюда спасти тебя!

Лаурель поглядел на «спасителей», и его чуть не вырвало. Кто поверит президентским словам? Его жег стыд: участвовать в этой игре!.. Он хотел сказать что-то, протестовать, но из-за влажности закашлялся. Ла Росита не упустил такой возможности:

– Я иду к тебе, мой возлюбленный вождь! Я воплощаю собой безумную весеннюю зелень, Апрель, кельтский Китраул, Парсифаля, Черное Яйцо, Вакха, Диониса, Алхимического Андрогина и сверх того – набожного и скромного отшельника, обожаемого народом, святого Марику, замученного и убитого, того, который читает «Араукану» Алонсо де Эрсильи<sup>1</sup>, напевая «Les feuilles mortes» Трене<sup>2</sup>, и не боится носить розовые носочки. Я пользуюсь тем, что меня слышит вся нация, и требую справедливости!..

Он хотел было произнести речь в защиту прав сексуальных меньшинств, но Хумс и Зум, подталкивая утопающего сзади, заткнули ему рот плюшевой морковкой. Все восприняли это как очередную шутку клоунов, и оркестр грянул флотский марш, великолепно сочетавшийся с операцией по спасению на водах.

Согласно плану, президент выкрикнул «Геге с цирком!», и актеры уже собирались хором произнести ответное «Паяцы с Виуэлой!», но тут вмешался Виньяс, не занятый в представлении. Увенчанный лаврами, в председательской тоге, декламируя строки из поэмы «И да заснет Ипсилон!», он прошествовал к изумленному президенту и швырнул ему в лицо тортик. Всеобщее оцепенение. Белозубая улыбка исчезла

---

1 Алонсо де Эрсилья (1533-1594) – испанский поэт и конкистадор. Автор первой в испаноязычной литературе эпической поэмы на американскую тематику «Араукана».

2 Шарль Трене (1913-2001) – французский шансонье.

под слоем крема. Виуэла стер крем с глаз; зрачки его необычайно расширились. Камеры продолжали снимать. Безумец продолжал читать поэму, где говорилось о всепожирающих семейных узах, о тех, кто в полдень неизменно отбрасывает тень в одну и ту же сторону, израненный обсидиановыми пропилями, – в общем, сплошные нерунызмы. Внимание, Геге! Или ты его заткнешь, прямо сейчас, или все пойдет к дьяволу! Посадим ярость под замок и ухватим этого идиота за самое чувствительное место – за его лиру!

Его превосходительство достал шелковый платочек, вытер лицо, вновь обнажив белоснежное полукружие зубов, и зааплодировал, разразившись хохотом. Чтеца перестало быть слышно. Раскрыв объятия, Геге прижал поэта к груди, похлопывая его по спине, целуя – так, что теперь кремом были измазаны оба, что походило на некое цирковое причастие.

– Bravo! Мы с тобой едины! Союз Власти и Смеха! Гениальное подражание предателю Нерунье! Ты – великий артист. Недостойный рифмоплет хотел облить нас ядом, а ты предлагаешь нам сладости! Ты с нами, паяц. Ты обличаешь дурную поэзию: твои невозможные стихи – точная карикатура тех, что изрыгает из себя этот напыщенный павлин, Нерунья... Ты открыл нам глаза: Президент – друг, строгий отец и в то же время – ребенок, с которым играют. Паяцы, идите ко мне!

И те прокричали в нос, как один: «Паяцы с Виуэлой!». Оркестр перешел на самбу со словами про бананы и орешки. Действие следующее: президент – камеры снимают крупным планом – вручает паяцу Непомусено Виньясу награду, провозглашая его «Национальным Антипоэтом». Троекратное «гип-гип-ура!», пение гимна, едва слышное из-за рева толпы, сражающейся за бутерброды и пиво. Солдаты разогнали народ прикладами, и на этом праздник завершился.

Непомусено Виньяс, оставшись наедине с товарищами, снял с груди свою награду – пару золотых башмаков – стер с лица остатки крема и разрыдался, донельзя взволнованный. Да, он хотел посредством этого безрассудного акта стать жертвой, трубадуром, которого преследует власть... но поэт предполагает, а Юпитер располагает. Теперь больше не нужно

скрываться, чтобы получить известность. Виуэла Справедливый и вместе с ним – вся страна распахнули Виньясу объятия. В его распоряжении все издательства, первые полосы всех газет. Вот он – миг торжества! Итак, все меняется. Он безотлагательно возвращается в Сантьяго и начинает работать над монументальной элегией в честь Достойного Правителя и бесценной помощи, оказываемой ему американскими компаниями. Необходимо также срочно подправить кое-что в «Оде Бимбо» и, возможно, написать еще одну, прославляющую дядю Дональда... Со своих высот Виньяс бросил взгляд – слегка презрительный – на хромого Вальдивию – и понизил его в звании:

– Торопись, вице-секретарь. Мы собираем вещи и возвращаемся в столицу – пожинать плоды того, что посеяло мое перо...

Лебатон и Загорра грубо схватили его и усадили в кресло. Утром они получили приказ – не предложение – кричать «Паяцы с Виуэлой!», а также совет участвовать в подготовляемой комедии под угрозой тюрьмы и (намек, только намек) расстрела. Игра окончена. Геге не перенесет такого афронта...

– Хочешь, чтобы тебя преследовали? Легко. Твоя награда ничего не стоит. Виуэла – известный лицемер и двурушник. Он подождет, пока в газетах не появятся фото и заметки, а затем прикажет тайной полиции убить нас. Если мы хотим спасти свою шкуру, надо бежать. Вот так-то. Хорошо еще, что мы загримированы – в нормальном виде нас не узнают... Мы бежим все вместе или считаем проект закрытым. Решать нужно сейчас же.

Единодушно постановили: продолжать. Все принялись торопливо мыть лица и собираться в дорогу. Не суетился один Пирипи – у него не было другого лица, кроме маски паяца.

Наконец, все сложили свои вещи. Повозки оставили, уложив подушки на койках так, чтобы они напоминали тела спящих. С болью паяцы оставляли цирк. Шатер означал определенность, укорененность; скитания по неверным путям приносили с собой неизвестность... День тянулся медленно.

По радио каждые полчаса слышалось: «Паяцы с Виуэлой!». Сообщали также о коммунистическом заговоре в Лоте. Множество агитаторов с семьями отправлены на военную базу Писагуа. Организованы курсы первой помощи, созданы ячейки гражданской обороны. Начато ускоренное строительство бомбоубежищ. Третья мировая война неизбежна... Дикторы читали *комические куплеты* Непомусено Виньяса, звучали военные марши, перемежаясь со смехом паяцев, голос Виуэлы то и дело повторял: «Союз Власти и Смеха». Разорваны дипломатические отношения с Югославией и Чехословакией.

Вечером цирк был покинут. Поздним вечером паяцы, укрывшись среди развалин «Ареналя», увидели подъезжающий грузовик с красными знаменами. Группа солдат, переодетых рабочими, с криками «Долой Виуэлу, да здравствует Тито!», «Смерть паяцам!», «Война, война!», стали метать бутылки с коктейлем Молотова, изрешетив повозки автоматными очередями. Занялось пламя. Грузовик уехал и сейчас же появился другой, с журналистами. Вспышки. Цирк превратился в гигантский костер. Завтра возмущенный народ узнает, что группа коммунистических бандитов, посланных бежавшим из страны Неруньей, убила честных патриотов, паяцев из цирка «Люди-попугай». Начато расследование. Преступников найдут. Население скоро забудет обо всем, – но не полиция. Она разыщет фотографии каждого из членов «Общества цветущего клубня», и тогда пойдет жестокая охота. Им придется скрываться, как Нерунье, пробираться на юг, чтобы отыскать какой-нибудь горный проход и уйти в Аргентину. Что еще останется? То, что раньше было игрой и весельем, стало теперь горькой нуждой. Действительность мало-помалу настигала их.

Фон Хаммер внезапно издал вопль и поспешил к горящему цирку, а за ним и все остальные. Перед огнем сидел паяц Пирипипи и точными, экономными движениями раздевался. Он опустил на землю сомбреро, спрятав в него черные очки и оранжевый парик. Снял десятиметровой длины перчатку, свернутую под рукавом. Поставил ботинки, положил куртку и брюки, а на них – воротничок, гигантскую бабочку, женскую юбку, коробочку с гримом и деревянный поднос с

монетами. Иссушенный старостью, Пирипипи смело приблизился к огню и добрался до центра арены спокойно, словно и не было никакого пожара. Помешать ему было невозможно. Эми и Эмма забренчали на гитарах песнь в честь Божества. Тело Пирипипи уже занялось. Он встал на колени, поставил ладони на горящий пол, прислонился к нему затылком – и легко, почти без усилия, сделал стойку на голове, прямой и неумолимый, как стрела... На рассвете, когда от цирка остались головешки с пеплом, обугленное тело превратилось в ось солнечных часов. Длинная тень остановилась на фон Хаммере. Не говоря ни слова, он разделся и стал натягивать на себя наряд слепца. Потом открыл гримировальную коробочку и накраился – в точности как Пирипипи. Надев темные очки, он стал между Эми и Эммой и, не прощаявшись, ушел, звеня монетами.

Непомусено Виньяс, павший духом, тщетно искал возможности оправдаться: никто не хотел его слушать. В конце концов, он понял: его преследуют по-настоящему, всерьез. Он – политический преступник. Этот статус, которого Виньяс так долго добивался, теперь вызывал у него животный страх. Печень ныла, язык был обложен, изо рта несло гнилью. Единственный, кто изредка удостаивал его своим вниманием, был любезнейший вице-председатель сеньор Вальдивия. Дон Непомусено так нуждался в поддержке, что, не колеблясь, повысил его в звании. Но продвижение вверх по служебной лестнице не улучшило настроения хромого:

– Ты повел себя, как настоящий мудак. Что, ты и вправду такой или только вид делаешь? Если ты – кучка дерьма, зачем ругать подошву башмака? Тебя сровняют с землей, и все. А теперь все мы расплачиваемся за то, что кому-то захотелось поиграть в героя!..

Непомусено Виньяс поглядел на приятеля – того прямо-таки трясло от гнева – и ответил с улыбкой побитого пса:

– Ты прав, друг мой. Мы пропали, и все из-за меня...

Вальдивия застыл на месте. Никогда еще он не слышал от председателя таких простых и человеческих слов. Его пробрал страх. Может быть, поэт болен?

– Ну, не преувеличивайте, дон Непо. Вы верите в Муз, не так ли? Они помогут нам...

Непомусено, содрогаясь, повторил:

– Музы?..

И залился громким, режущим ухо плачем, словно младенец.

Под оглушительные трели Толин сажал в клетку своих кенаров, рассчитывая сойти за торговца птицами. Акк подошел к нему и посоветовал, ввиду чрезвычайных обстоятельств, в самом деле продать их. Скрипач заявил, что скорее проглотит их всех, прямо с перьями, и что Акку лучше заткнуть свой грязный рот, не идущий ни в какое сравнение с птичьим клювом.

Аламиро Марсиланьес и Эстрелья Диас Барум, сбросив по пять кило, выбрались из наряда «Сумасшедшего коня». Нижние губы Эстрельи вздулись так, что она не произнесла бы ими даже «ого». У Марсиланьеса, до предела истощенного, в мозгу осталось одно «О». «Что ты думаешь о самоубийстве Пирипипи?» – «О...». «Тебе страшно из-за того, что нас преследуют?» – «О...». «Хочешь вернуться в Сантьяго?» – «О...». «Или пойдешь с нами?» – «О...». Он превратился в хвост кометы по имени Эстрелья.

Поэтесса умылась, оделась, причесала своего Аламиро, которого отныне звала «Распрявленный рыцарь», и, потянув любовника за искательное копье – волосы вокруг него выпали от частого трения, – повела в изгнание.

– Удовольствия закончились! Теперь – строгое воздержание! Пока Господь не укажет иного!

Марсиланьес пришибленно поглядел на нее – и покорился. Столько раз присутствуя на собственных похоронах, он усвоил, что все погибает, не успев родиться.

Загорра попыталась выяснить, куда же им идти, но безуспешно. Генерал, выводя ее из затруднения, подбросил карандашик. Острие его указало на Лунную долину. Туда и решили направиться – через кипарисовую рощу и трущобные поселки.



Деметрио, в тревоге, успокаивал черную собаку. После пожара она больше не выдавала радостных «ДА». Приподнимаясь на задних лапах, она передними пыталась содрать с Деметрио брюки и, напустив на себя вид больного ребенка, стонала. От этих стонов у Деметрио мороз шел по коже. Кроме того – и беспокойство от этого только росло – сон почти стал явью. Цирк обратился в пепел. Паяцы бегут в обычной одежде на юг, по грунтовой дороге. И вот впереди – кипарисовая роща. Значит, он увидит Американку, ждущую его под деревом. Бррр. Кошмар, да и только! Американка ждет его под деревом... Но как? Ведь в телеграмме ясно сообщалось о ее самоубийстве...

– Когда я повесилась на проволоке, мой труп никто не потребовал. Поэтому на мне испытывали новейшие достижения медицины. Все внутренние органы заменили механизмами, а кожу – особым пластиком, в жилы впрыснули кровезаменитель. Теперь я – нетленный образец воскресшего покойника. Мне не нужно дышать, грудь моя вздымается благодаря действию особого поршня, работающего на сжатом воздухе. Не хочу тебя обманывать: я – что-то вроде ходячего манекена.

Акк, из-за ее спины, выразительно крутил пальцем у виска. Похотливые огоньки вспыхивали у него в глазах, губы беззвучно шевелились:

– Она совсем тронутая... Возьми ее... Отличный зад... Разделим на двоих.

Женщина, прямая, зашагала к ним, не сгибая коленей. Ее раскрытые губы напоминали носок дырявого башмака:

– Ты и вправду профессор Ассис Намур, хотя и не веришь в это. Я искала тебя... Только ты можешь совершить чудо – оживить это тело на винтах, превратить некронит в настоящую кожу... Исцели меня. Не гони прочь.

Устыдившись, Деметрио прогнал Акка, взял Американку за руку и побрел вместе с ней, не зная, что сказать... В душу каждого спустилась темная ночь...

Выйдя из рощи, все направились в сторону деревень, – дорога куда-нибудь да выведет. Кое-где в окнах мерцали свечи.

На крышах – скелеты котов и крысы стального цвета, неподвижно взирающие на луну. Небо затянулось тучами. Заморосил грязный дождик. Они заночуют в Лунной долине: выступы скал укроют от дождя.

Вдали показался обугленный остов фургона. Акк просвистел «Мой дневник!» и кинулся вперед, за ним – все остальные, сразу же вспомнив о Га.

– Как хорошо, что вы пришли. А я уже собирался вас искать. Который час?

Голова пропавшего Га высунулась из лужи, полной жидкой глины и каких-то трав.

Хумс точным движением наемного убийцы вынул из кармана часы:

– Полночь. Но что ты здесь делаешь?

Толстяк рассказал им о своих приключениях. К счастью, когда он обгорел, мимо проходили два индейца-араукана, возвращаясь к себе домой. Увидев, что Га – одна большая язва, они приказали ему залезть в эту лужу, пообещав, что на следующие сутки в полночь – то есть как раз сейчас – они вытащат его, и на теле не останется ни единого рубца.

– Но это еще не все. Когда индейцы подняли меня, чтобы опустить в лужу, у одного из сумки выпала книга. На итальянском! «О триполярности метафизики»! Карло Пончини. Помните?

– А как же! – воскликнул Ла Росита, взволнованный. Пользуясь замешательством Лауреля, он овладел его телом и зачистил:

– Карло Пончини, родился в Ареццо в 1893-м, таинственно исчез в Риме в 1931-м. Оставил многочисленных учеников и поклонников своего таланта. Последнее известие о нем: Пончини ворвался на конференцию с криком «Если зерно не погибнет!...»<sup>1</sup>. Впоследствии никто его не встречал. Банковский счет остался нетронутым, гардероб и библиотека – тоже. Ходили слухи о похищении, самоубийстве, несчастном случае.

---

<sup>1</sup> Название автобиографической книги А. Жида (1926).

Ни один не подтвердился. Тратат «О триполярности...» ни разу не переиздавали. Но, во имя копья святого Георгия, скажи, как эта редчайшая книга оказалась в сумке индейца?

Га ответил:

– Услышав имя Пончини, они засмеялись. «Белый человек живет среди нас. Он зовет себя Дон Никто... Он просил сжечь его книгу, написанную слепцом, чтобы научить других слепцов различать цвета. Мы так и сделали, но оставили одну: читать мы не умеем, но бумага хорошо пахнет!»

Карло Пончини, живой, среди индейцев! Фантастика! Судьба зовет их! Итак, у Общества клубня появилась цель: найти забытого всеми философа, вернуть его в лоно цивилизации!

Ла Кабра, прогнав Ла Роситу из тела Лауреля, встревожился:

– А как же Энанита? А Кристоаль Колон?

Га успокоил его:

– Когда я спросил индейцев, можем ли мы появиться в Редуксьон, их селении, они ответили, что туда уже пришли много женщин и великанша с младенцем. Я уверен, что это они. Мы уьем сразу двух зайцев!

Из расщелины в скале показались два араукана с длинным суком. Ограничившись сухим приветствием, они вытащили Га из глины. Хотя его тело и было облеплено грязью, кожа – без единой царапинки – сверкала в лунном свете. Он расцеловал всех в щеки и проревел:

– Вперед, поэты, раздавим заветный пузырь!

Эстрелья Диас Барум достала бутылку с водкой, которую хранила между грудей. Ее осушили мгновенно, громкая отрыжка – и Зум достал из своего докторского саквояжа вторую. Все запели «Во имя неба... пустите в дом» и принялись скакать по утесам, следуя за двумя проводниками, точно стадо серых коз.

Сенаторы, с красными картонными носами, державшимися на резинках, скандировали: «Паяцы с Виуэлой!». Президент Республики тоже прикрепил к носу красный шар, контрастировавший с элегантным темно-синим костюмом,

и рукоплескал только что принятому постановлению. Сенат единодушно приговорил своего члена, коммуниста Хуана Нерунью, к тюремному заключению за измену Родине и оскорбление первого лица государства.

(Всё, мы раз и навсегда заткнули эту вонючую глотку! Хамское отродье! И еще тиснул поэмку «Я горжусь!» Я разоблачаю тебя как продажную шкуру, пособника красных людоедов, а он гордится – потому, что угнетенный народ верит ему! С этими рассказками – куда угодно, только не ко мне! Я-то видел, как он, пьяный в дым, выгребал ягоды из горшка. Он говорит, что я легкомысленно веду себя? А сам? Тоннами пачкает бумагу в угоду впечатлительным служанкам! Член у него не больше трех сантиметров, вот он и пишет километровые поэмы!)

– Хлеба и зрелищ, товарищи! В этот час всенародного торжества я хочу обнять своих политических противников. Выйдите, уважаемые сенаторы от левого меньшинства! Я хочу пожать вам руки! Мы с гневом отвергаем оскорбления из уст предателя, но принимаем по-мужски честную политическую борьбу! Я, президент Республики, заявляю, что не смешиваю свое правительство и нашу Родину! Критика, пусть даже и жестокая, необходима нам! Она не означает предательства национальных интересов. Хуан Нерунья – это крайний случай, это гнойник, который нужно было вскрыть. Свобода слова у нас священна. Да здравствует честная борьба!

Анхель Гонсалес и Эухидио Верапенья с поднятыми кулаками подошли к президенту под аплодисменты всех ветвей власти. Виуэла крепко пожал их вялые руки – левые, сжатые в кулак, так и остались вскинуты вверх. «Честь, Родина, Виуэла!» – раздавалось вокруг. Стрекотание камер: улыбка президента была как никогда широка. Двое сенаторов, однако, услышали, как тот вполголоса произнес загадочную фразу: «Прощайте, друзья».

Получасом позже автомобиль, уносивший Гонсалеса и Верапенью на подпольное заседание партийного руководства, взорвался. Два тела – кровавые грозди – повисли на ветвях вербы.

За завтраком президент с удовлетворением прочел восемь газетных колонок, повествующих о преступлении, совершенном агентами югославской разведки. Чилийские Антикоммунистические Отряды – ЧАО – маршировали у него под окном, распевая свой официальный гимн, «Песню о Хорсте Весселе». Все идет как задумано... Он набрал номер:

– Нашли этих дерьмовых паяцев? Что, мне в ФБР обращаться? Нет! Только мертвыми! В виде бифштексов!

И Виуэла швырнул трубку с такой силой, что телефон треснул. «Тортом, значит?! Ну, они у меня попляшут!» И он углубился в главный проект своего президентства: план девальвации песо.

## ХІ. ЧЕРВЬ ЗЕМЛЯНОЙ, ВОДЯНОЙ И ВОЗДУШНЫЙ

*Вот единственно возможная одиссея: аргонавты отправляются на поиски действительности и обнаруживают, что она им снится.*

**Деметрио (из разговоров в кафе «Ирис»).**

По мере приближения к горной цепи очертания скал становились яйцеобразными. Беспрестанные дожди отполировали их до серебристого блеска, превратив в зеркала. «Вот место, где откладываются геологические яйца, – подумал Хумс, – гигантский каменный орел прилетает сюда высиживать новые горы». Пончо, насквозь пропитанное водой, затрудняло прыжки.

Индейцы объявили, что идти придется ночью, а спать – днем, поскольку солнце раскаляет камни чуть ли не до красна.

– Меня зовут Рѹка... А меня – Тотора... Путь неблизкий. Днем жарко, будем спать; ночью холодно, будем согреваться, прыгая по скалам. Десять ночей – и мы в Редуксьон. Никаких узлов и чемоданов: любая тяжесть – помеха. Придется поголодать. Начиная с третьего дня, это легко. Воды брать не нужно: хватит дождя. Пончо и ботинки будут мешать. Снимайте!

Как же Хумс теперь раскаивался, что не послушал их! Он, единственный, из гордости не скинул пончо и прыгал теперь с ловкостью подстреленной куропатки! Рука, Тотора... Имена явно не настоящие. Рука – хижина, тотора – солома. Соломенная хижина? Они бы еще представились как Бим и Бом! Что-то эти индейцы скрывают. Например, что они делали в Лунной долине? Прелестная случайность: из потрепанной сумки выпадает редкое издание Пончини! А эти Мессалины вместе с Доном Никто, поджидающие их, – тоже случайность? Нет, скрытность присуща местным от рождения. Они вгонят,

скажем, член по самые яйца, а на лице – полное безразличие. Входят в женщину, как будто хотят ее выпороть. Какие тут нежности. Шутите? И наоборот, когда они корчатся, стонут, всем своим видом изображая наслаждение, можно побиться об заклад, что их режут или жгут. Ну что ж, это все только добавляет остроты, перцу, так сказать... Как он входил в свою спальню – глаза расширены, кишки полны спермы, – садился на фарфоровый горшок и мастурбировал! Удовольствие, сравнимое только с чтением святого Хуана де ла Круса. Ах! Его драгоценный горшок! Чудовище Акк! Кто бы подумал, что он сможет когда-нибудь, как самый вульгарный человечиска, присесть на корточки и без труда сделать свое дело... Хумс потужился, и – плюх! – на земле оказалось нечто вроде коровьей лепешки, плоское, донельзя вульгарное. Он заслужил утешение. Из штанины была извлечена плоская фляжка, купленная еще в эпоху сухого закона, на случай крайней необходимости (такой, как сейчас!). Хумс проглотил весь нектар, до последней капли. Поцеловал сосуд – своего верного спутника в стольких передрыгах – и отшвырнул его через плечо, не оглянувшись. Покончим с прошлым. Нет, сам он этого не хотел... Никогда больше не обедать в немецком ресторане у фон Хаммера, творца поразительных блюд – стихийных гимнов земле, воде, воздуху и огню... Никогда больше не слушать концертов в парке Флоресталь, заигрывая с продавцами маниоки или – вместе с прочими любителями полупариков – поднимая на смех фальшивые букли Эскамильи, дирижера Национального симфонического оркестра... Никогда больше не бродить по собственной квартире, из комнаты в комнату, как пчела летит от цветка к цветку: изумрудная ванная с бразильскими бабочками на стенах, ампирная мебель, книги, переплетенные в кожу недоношенных детей... Рай, утраченный навсегда! Алкоголь огнем вспыхнул в крови. Послав подальше гордость, Хумс сбросил пончо, послал проклятие дождю и, высунув язык, запрыгал по скалам с новой энергией, рассчитывая догнать всех остальных, но прежде всего – Зума. Друг? Тряпка! Это он во всем виноват! Почему? Бог его знает! Кто-то же должен

за все платить – вот пусть Зум и платит. Худшая вина – быть невиновным. Жирная скотина, крохобор, завистник, подражатель, прислужник, половая тряпка! Даааа! Хочу быть дьявольски несправедливым! Даааа! Хочу, чтобы он целовал мне ноги! Даааа! Хочу помочиться в его собачью рожу! Собака, повернись и двигай сюда! Получишь то, что тебе причитается!

И Хумс налетел на приятеля, работая руками, как мельница. Зум осторожно попытался нейтрализовать своего учителя, нисколько не удивившись неистовому нападению. Алкоголь, полная луна и беспощадный дождь неизменно производили на того одно и то же действие: тонкий эстет, парящий в высоких сферах, превращался в раздражительное, угловатое, неприятное, крикливое существо. Хумс, поздоровевший от горного воздуха, сломил оборону своего ученика и осыпал его ударами, столь жестокими, что толстые щеки Зума покрылись синяками, а в уголках губ показалась кровь. Хумс продолжал свой истерический натиск. От выпитого язык шевелился с трудом, но все же он выговорил:

– Целуй ноги, или расшибу тебе нос!

Постанывая, Зум опустился на колени и стал лизать покрытые волдырями пальцы... Хумс помочился своему верному обожателю на спину, а затем облил его желчью... Зловонная жидкость пробудила в Зуме воспоминания о многих годах унижения, о тоннах насмешек, обрушенных на него учителем, когда тот выведал страшную тайну: Зум прибыл в Чили из Испании на знаменитом «сиротском корабле». Некий бюрократ, подбивая свои бумажные дела, собрал тысячу детей, потерявших родителей в гражданской войне, и отправил их в Чили на грузовом судне без всяких документов – только бирка с именем на шее. Зум потерял дар речи, увидев мать, разорванную на куски бомбой, и высадился на берег как «Немой; имя и возраст неизвестны». Первым словом ребенка на новой родине было: «Простите» – после того, как его изнасиловал повар. Эта приниженность стала отличительным знаком Зума – вплоть до настоящего времени. Его обрекали на страдания с полнейшим безразличием, внушили ему, что он недостойн любви. Единственными товарищами сироты были



книги. Он раскрывал их наугад, на середине, и прижимал к щекам, ища в запахе бумаги и типографской краски непоправимо утраченный запах матери. Взамен ласк он получал культуру... и ежедневное насилие, к которому привык, как привыкают к неизбежному. В лицее – с добровольного согласия – его употребил преподаватель физкультуры и следом – футбольная команда. Наконец, слушая курс ботаники в университете, он попал в лапы Хумса. «Et, tout d'abord, chez l'homme un terrible besoin d'enfance persistante demande à être comblé... Arcane 17. André Breton»<sup>1</sup>. Да, Зум ощущал жестокую потребность быть ребенком – и это привязало его к учителю, из чьей груди он сосал горькие чернила, несмотря на побои, унижения, тайных любовников Хумса, возлияния, на которые Зум не допускался, книги, запертые от него, чтобы ученик не превзошел наставника. Но на этот раз моча и рвота будто разъели скорлупу. Он больше не ребенок! Прошлое отброшено. Остальные ушли вперед. Зум выпрямился, поглядел учителю в глаза и впервые осмелился дать ему кулаком в челюсть. Удар не был нанесен изо всей силы – но за ним стояла ненависть, копившаяся годами. Теперь она показалась на поверхности, хотя это была лишь верхушка айсберга. Два выбитых зуба, струйка крови изо рта, и Хумс повалился на скалу. Зум подождал, пока его бывший кумир не приподнялся, ощупывая пустоту на месте резцов, взирая на него словно на посланца иного мира. Воскликнув «Это еще не все!», он сорвал с упавшего полупарик – так яростно, что отодрал его вместе с кусочком кожи.

– Око за око, струя за струю!

И Зум облил мочой череп и лицо экс-маэстро, напрягаясь, чтобы получилось звонко.

Хумс молча глотал едкую жидкость. Как вести себя перед немислимим? Удар Зума ворвался в его замкнутый мирок, принося небывалую весть, разрывая замкнутый круг и превращая его в спираль. Куда же уводит эта спираль? К центру

---

<sup>1</sup> «В каждом человеке в первую очередь живет неистребимое желание быть ребенком». Андре Бретон. «Аркан 17» (*фр.*).

или обратно? На небеса или в преисподнюю? Язык беспомощно болтался во рту. Кое-как Хумс выговорил единственное слово, надеясь, что оно утихомирит безумца:

– Геенна!

К его удивлению, Зум тут же ответил, тоже одним словом:

– Оникс!

В этих пяти буквах таилось столько смысла, столько намеков, что эффект был потрясающим. «Геенна» – железная дверь, «Оникс» – ключ от нее. Его нашли, этот ключ! Хумса подхватил водоворот воспоминаний.

Драгоценный камень, купленный матерью, чтобы случился выкидыш. Массивное кольцо – Хумс носил его теперь на безымянном пальце левой руки. Мать считала недостойным выставлять напоказ свой живот, круглый, как арбуз. Ее выдали замуж за военного; очутившись в постели с самцом, она потеряла девственность от резкого, сухого толчка, ощутила стыд и неловкость – и поняла, что непоправимо фригидна. Сама она считала, что ее спасла прирожденная элегантность. Поездки в Париж, общение с декадентскими поэтами, притирания из овощей позволили ей идти по поверхности жизни, наблюдая мир сквозь полог паланкина. Себялюбивая лисица! Она родила Хумса в шесть месяцев – но он выжил, помещенный в инкубатор. Когда его земное существование стало свершившимся фактом, родительница подыскала для него кормилицу, трех служанок и ворох розовых нарядов. Она даже не поинтересовалась, какого пола младенец: ей нужна была дочь, которая со временем станет точной копией матери.

Зум повернулся к нему спиной и поспешил за товарищами, которые, укрывшись под навесом, сели вокруг костра, разведенного индейцами из приготовленного загодя сухого дерева. Хумс видел, как Зум, скользя между теней и отблесков пламени, присоединяется к сидящим, навсегда исчезая из его жизни. Он присел на каменистый выступ и, вынув из кармана Пимпи – свою любимую куклу, – стал укачивать ее. Тогда, в семь лет, его по-прежнему одевали девочкой, расчесывали длинные кудряшки. Мать вошла в детскую, погляделась в зеркало, обнаружила на лице тонкую сетку из линий,

которые грозили скоро обернуться морщинами. Глубокий вздох. «Тебе нравятся куклы?» – «Да, Офелия». (Ему запретили говорить «мама».) – «Смотри, сейчас я заведу будильник. Через час он зазвонит. Стань вон в тот угол и не открывая шкафа. Я запрусь в нем, поколдую и превращусь в куклу. Ты можешь положить меня вместе с другими игрушками и играть со мной, сколько захочешь». У него было двадцать семь кукол, каждая с полным комплектом нарядов. Хумса охватила жалость к Пимпи: когда у него появится эта громадина, она перестанет быть самой главной. Ах, как хотелось подсмотреть, что делается в шкафу! Это не шутка: Офелия никогда не разыгрывала его. Значит, она и вправду станет фарфоровой. Часы зазвенели: ожидание закончилось! В нетерпении Хумс открыл дверцу – и нашел труп матери со вскрытыми венами. Суббота, ливень, осень, темнота, разлука, узда. И она хотела, чтобы сын принял ее за куклу – ее, залитую кровью! О, с каким бешенством он топтал своих верных приятельниц! Невезение, паралич, холодная вода, правая нога. Волдыри ныли. Он произвел над собой усилие – но не смог достичь бесчувственности. Когда-то Хронос пожрал свое дитя, а теперь Зум избивает его. Оникс, Сатурн: его судьба сейчас свершится. Кара за то, что он так и не научился любить. Но раньше надо было научиться прощать. Как же должен был страдать Зум – невольная жертва равнодушия Офелии к сыну! Хумс взмолился: пусть его слезы превратятся в кровь, пусть он умрет обескровленный, как мать! Как она, как она, как она! И никак иначе!..

Темнота понемногу растворялась в утреннем свете. Ручьи, вода в которых напоминала кофе с молоком, сбегали по каменистым склонам. Куда же идти? Непонятно! Десны зарубцевались, словно на месте выбитых зубов всегда зияла пустота. Если его собственное тело так неблагодарно к нему, чего же ожидать от других? Хумс благословил бурные потоки. Да унесут они его и всех остальных вместе с ним, ведь все они – ненужный мусор, и звон будильника обозначал начало Страшного суда. Внезапно на память пришла картинка, украшавшая корпус часов: одинокий рыбак, слепой (судя по

темным очкам), сражался во тьме с гигантским спрутом. Когда Офелия подарила ему эту вещицу, он спросил:

- А где у спрута сердце?
- В черном сундучке на дне моря, сынок!
- Значит, рыбак никогда его не одолеет?
- Он должен нырнуть и плыть под водой, пока не встретит сундучок. Тогда надо взломать замок и ножом проткнуть сердце.

Злодейка! Она лишила его всяческой надежды! Как слепец может отыскать черный сундук во мраке морских глубин?

Хумс охватил нервный смех. Он потрогал десны языком: в семь лет этих зубов тоже не было. Офелия вырвала их, не дожидаясь, что они выпадут сами, и потом клала в чай, уверяя, что это ее любимый сахар, что от обычного она полнеет. Снова ловушка! Прошлое продолжает давить! Это уже слишком: он должен умереть на яйцевидной скале, он, так и не сумевший выбраться из яйца. Покончим с этим! Он выбрал утес повыше, забрался туда и кинулся в пропасть вниз головой.

Падая, Хумс закрыл глаза и на краткий миг обрел спокойствие. Он сдавался на милость судьбы. Комедия с переодеваниями завершилась. Занавес. Забвение. Лучше, если его найдут с закрытым ртом, так будет достойнее... Прости меня, Зум...

Но ожидаемого не случилось. Хумс остался в живых, зависнув в воздухе.

Какого черта военный оркестр играет «Ты – банановая шкурка, я тебя топчу, топчу»? Музыканты хреновы! Знают ведь, что его супруга ненавидит самбу любого вида! Он послал министра просвещения сделать внушение директору оркестра. Это подействовало: зазвучала «Аве Мария» Шуберта. Когда Пили возвращалась из своего ежемесячного путешествия специальным рейсом, аэропорт обычно бывал полон народу. Но на этот раз самолета ждали только он, пара министров и руководство тайной полиции. Вместе с накупленной одеждой супруга везла собак. Пили, как и всегда, оказалась на высоте. В венах ее текло золото: за плечами имелось три поколения еврейских банкиров. Виуэла познакомился с ней во время

президентской кампании: тогда этот мерзавец Нерунья облизывал ему задницу чтобы заполучить долбаное сенаторское кресло. Да, в те времена Виуэла был не «вонючим выкормышем американских империалистов», а «национальным святым». Компартия сожгла множество книг, но по рукам ходили списки прославившей Нерунью поэмы: «Народ назовет тебя святым Геге!». Для этого проныры он был не меньше, чем архангел... Нерунья наделял его всеми возможными добродетелями, лишь бы пролезть во власть. Но он отомстит – и отомстит красиво. Он сожжет собрание сочинений Неруньи, все экземпляры, до одного, и в историю войдет только ода в честь Геге. Тогда, познакомившись с этой одой, Пили явилась к нему на прием, положив на письменный стол обручальное кольцо и чек, от которого перехватывало дух. Поэма убедила ее именно своей фальшью, своим идиотизмом: такие стихи и нужны народу. Его провозгласят святым. Отлично. Пили поставила на него. Ей хотелось стать президентской супругой и показать Еве Перон, что такое быть настоящей светской дамой. И в самом деле, после победы Геге на выборах Пили – для контраста с колоссальным гардеробом Евы – всегда показывалась в одном и том же костюме: строгий пиджак, простая темно-синяя юбка, бежевая блузка с высоким воротником, туфли на низких каблуках, скромное жемчужное ожерелье. Конечно же, никто не знал, что у нее триста одинаковых костюмов. Да! Его жену снедала жажда власти, как и его самого, – и она отдавала повеления модельерам. Костюмы были одинаковыми, но ярлыки, по которым они отличались, стоили целого состояния. Эта железная женщина заставляла величайших мастеров моды склоняться перед своими желаниями и шить ей – по соответствующей цене – один и тот же неизменный наряд. Эльза Скиапарелли обмеряла ее собственными руками, Вертес лично обводил контуры ее тела, Габриэль Шанель потратила – с неохотой – месяц, чтобы скопировать ее костюм, Пакен почел это за честь, Аликс не взял с нее денег, и несмотря на смерть Мадлен Вионне, Пили сделала заказ ее лучшей ученице, отложившей ради такого случая пошив платья для герцогини Кентской.

Лайнер приземлился минута в минуту и остановился у трибуны, убранной флагами. Вышла Пили, по бокам – два телохранителя, сзади – шестеро секретарш. За ними следовали десять американских полицейских в штатском с собаками на поводке. То были свирепые псы, обученные ловить преступников, в особенности негров. Их немедленно отправили на самолетах в Талькауано. Посмотрим, смогут ли теперь эти вшивые фараоны взять след паяцев. Крупные собаки для крупного дела. Они-то не упустят добычу. Американцы – специалисты по охоте на людей. Скоро, скоро оскорбление будет смыто кровью, текущей из разодранных тел. А затем эта же команда возьмется за поиски Неруны, которому уготова-на самая ужасная – для него – гибель: в полнейшей, непроницаемой безвестности.

«Такие вещи случаются только в романах Жюль Верна!» Хумс, болтая руками и ногами в воздухе, разразился хохотом. Его, недавно собиравшегося покончить с жизнью, опасность нисколько не пугала – наоборот, безумно веселила. Похищен кондором! Хлопая крыльями, гигант надежно держал его когтями за пояс. Птица подхватила Хумса в воздухе так же изящно, как танцовщик – приму в классическом балете. Настоящий, громадный кондор, издающий жуткие крики, разъяренный, способный склевать целую скалу! «Видимо, он привык утаскивать овец и мулов...» Хумс старался вспомнить свои лекции по естественной истории. «Хищная птица, размах крыльев – три метра, питается падалью». Правильно! Ведь он – падаль, труп, не более того! Он начал умирать шести месяцев от роду, и до сих пор не может разложиться. «Оперение черно-белое». Священная птица: ян и инь, свет и мрак, полюс и минус, бытие и ничто, алхимический андрогин! Андрогин? Хумс поднял голову: свисает ли что-нибудь сзади, ближе к хвосту? Да! Могучий самец, ничего не скажешь. Несмотря на всю свою силу, кондор поднимался ввысь медленно. Скоро они пролетят над костром. Хумс порывлся в памяти и решил, что наилучший выход – затянуть «Вернись в Сорренто»: легкомысленная песенка будет контрастировать с суровым обликом птицы. Его бархатный голос стал выводить рулады,

звучавшие как последнее «прости». Внизу их увидели, протерли глаза, замахали руками, побежали следом. Потом ветер сделался попутным, и Хумс потерял своих друзей из виду.

Меньше чем через минуту они приземлились в гнезде – крепком, сооруженном из сучьев и камней на краю карниза, обрывавшегося в пропасть. Даже самый резкий порыв ветра был ему нипочем. В гнезде лежали два рябых яйца невероятной величины, а над ними – скелет другого кондора. Ясно: это кости самки, умершей до того, как она высидела детенышей. Но отчего? Между ее ребер торчало копьё. Агонизируя, птица нашла в себе мужество оторваться от охотников и долететь до своих невылупившихся птенцов, чтобы испустить дух в родном гнезде. А теперь Хумс, принесенный сюда, на вершину скалы, должен выполнять обязанности наседки. Он сбросил скелет вниз и, спустив штаны, сел на яйца, издавая резкое кудахтанье. Кондор навалился сзади. Ай-яй-яй... раз-мах-крыль-ев-три-мет-ра! Хумс осторожно скользнул ладонью по брюху и дальше, пока не охватил ладонью член. Тот принялся расти в длину и в ширину, так, что перестал помещаться в кулак. Хумс повернулся, не отрывая зада от яиц, и, вновь напевая «Вернись в Сорренто», чтобы мелодия ощущалась сквозь скорлупу, взял грозный орган в рот как можно глубже.

– Ав-ав, ав-ав, мой песик...

Геге Виуэла, на четвереньках, с ошейником, стараясь не выказывать отвращения, ползал по спальне, повинуюсь желаниям Пили.

– Пипи, мой песик... Давай, задери лапку... Делай, как я говорю...

Видели бы его министры! Или кардинал Барата. Геге поднял ногу и помочился под торшер. К черту! Служанки все уберут и натрут паркет, не задавая нескромных вопросов.

– Теперь покакаем, Ринтинтин...

О нет! Этого она не просила никогда. Похоже, маниакальность нарастает. Скоро она заставит его поедать сырое мясо. Если так пойдет и дальше...

– Какай, я сказала. Или выпорю...

Психиатр советовал ему сохранять спокойствие. Зоофилия в сочетании с легкой паранойей и бог знает чем еще. Без этой комедии она не достигала оргазма.

– Но, Пили, я сегодня ел чесночную колбасу. Будет страшно вонять...

– Собаки не разговаривают. Делай!

Последовали три удара кнутом. Геге издал совершенно неподдельный вой и с яростью поглядел на Пили. Она стояла, раздвинув ноги, в прозрачных трусиках, купленных на пляс Пигаль... Ей нравилось носить под строгим темно-синим костюмом такое нижнее белье, которое обычно одевают шлюхи: пояса для чулок, лифчики, треугольники материи, увешанные драгоценностями, делавшие из нижних губ тутой бутон... Еще два удара – и Геге выпятил зад, раздвинул ноги, как следует потужился. И вот на ковер шлепнулся коричневый батончик.

– Какая чудесная колбаска, Ринтинтин! Вытри попку... Ты знаешь, я люблю чистоту...

Что сказали бы сенаторы-либералы и главнокомандующий флотом? Геге потер зад о кресло, обитое бархатом, оставив уже привычный след.

– Наш песик – настоящий патриот! Он изобразил карту Чили с Магеллановым проливом и островами! И он заслужил награду...

Пили кинулась на кровать животом вниз, подставив ягодицы:

– Лиж!

Его превосходительство господин Виуэла, неумолимый правитель, святой Геге, лижет женский зад... Оглушительный рев возвестил, что настал решительный момент. Глаза выпрыгнули вперед, налитые злобой, лицо покраснело от гнева, и теперь его яйца и вправду хотели залаять.

Увлажнившись до предела, Пили перевернулась и еле говорила:

– Вставляй!

Но он уже вонзал свой жезл. Исходя слюнями, он мял ей груди, двигался взад-вперед, бросался в атаку, доходя до самой кости.



– Вот тебе, похотливая сучка!

– Да, да, да! До самых печенок!

Он дал ей кончить и произвел бешеный натиск, чтобы в последнюю секунду выйти и выпустить струю на это надменное лицо.

– Сегодня он был просто чудовищным, мой президентик...

Геге улыбнулся, не раскрывая своего секрета: он посыпал член кокаином!

Сверху доносилось блеяние овец. Овцы между скал? Как так? Он занервничал. Кондор успокоил его легким клевком, едва не выкинув из гнезда. Теперь Хумс висел над пропастью, цепляясь за ветку. Издавая сладострастный клекот, он вскарабкался и опять уселся на яйца. Кондор поглядел в расщелину, захлопал крыльями и вылетел на поиски добычи. С высоты Хумсу были видны члены Общества цветущего клубня, блеющие изо всех сил, чтобы привлечь устрашающую птицу. Он прищурился и различил сквозь мелькание крыльев Зума, распростертого на скале, с окровавленной грудью. Самоубийство?.. Кондор пикировал прямо на труп его друга.

Увидев, что Хумс висит в лапах крылатого гиганта, все решили, что с ним покончено. Зум, охваченный чувством вины, стонал и кусал себе кулаки. Лебатон сделал единственно возможное: попросил помощи у индейцев. Те приняли командование и с помощью коротких, отрывистых приказов организовали спасательную операцию. Подражая овечьим голосам, они, пожалуй, обратят на себя внимание кондора, но чтобы сломать ему кости, кто-то должен пожертвовать своей плотью. Зум рявкнул: «Я!» и тут же раскаялся в этом, но ничего не сказал. Подавляя страх, он раскрыл грудь. Ему сделали легкие надрезы над сосками; кровь залила белое тело. Едкий запах кровяных теляц разожжет аппетит хищника. Но следовало держать себя в руках, ибо при малейшем шевелении мощные когти одним взмахом вырвут внутренности.

Блеяние продолжалось, пока птица наконец не вылетела из гнезда. Немедленно все попрятались между утесов, ожидая,

что кондор спустится. Зум задержал дыхание. От стука крыльев едва не допались уши. Когти стальными клещами сжали его поясницу. Казалось, он сейчас переломится пополам. Зум начал было читать про себя «Аве, Мария», но при словах «Да будет благословен плод чрева твоего» представил, как его кишки вываливаются наружу, – и потерял сознание. Рука так ловко кинул камень в голову пернатого, что тот замедлил ход и сел на камни. Заостренный сук, брошенный Тоторой, вонзился ему между ребер. Кондор издал ужасающей силы стон – из клюва тела красная струйка, – взъерошил перья и устремился на индейцев. Тут Зум пришел в себя и одним прыжком, достойным олимпийского чемпиона, достиг ближайшей расщелины. Рука и Тотора, безоружные, покорно ждали смертельной схватки. Несколько секунд – почти вечность – никто не осмеливался шевельнуться. Вдруг Боли, ощущавшая внутри себя пустоту с исчезновением Араукана, испытала прилив необычайной – из клюва текла красная струйка – энергии: потрясая дубиной, она бросилась к хищнику и принялась избивать его, увертываясь от клевков и ударов крыльями. Птице передалось что-то от ослепительной красоты еврейки, а той – от животной ярости кондора. Смертный бой между ними походил на танец. Все, словно наэлектризованные, как один выбежали из своих укрытий и стали осыпать птицу ударами. Обезумев от такого, кондор свалился в неглубокую выемку и там свернулся в клубок. Поэты, обратившись в диких зверей, добили свою жертву и перевернули ее когтями вверх, чтобы вырвать сердце. Зум, подтягивая штаны, прибежал вовремя и сделал первый укус. Другие вслед за ним тоже вонзили свои зубы в кровавую плоть, вырывая куски, которые все еще трепетали у них во рту. Загорра и Лебатон раздували костер, бросая туда сухие листья. Марсиланьес и Барум затачивали деревянный кол – будущий вертел. Прочие ошпыливали птицу. Голод произвел разорение в желудках, и мясо кондора не казалось им жестким.

Зум, верный друг, дошел до подножия скалы вместе с арауканами. Быстрота, с какой они устремились вверх, привела его в изумление. Ни одного лишнего движения – словно путь

их пролегал не по уступам и выемкам, а по гладкой дороге. Наконец, похищенного Хумса спустили вниз. Коснувшись твердой земли, он пожал руки своим спасителям и направил на Зума взгляд – прямой, глубокий, сказавший сразу все. Зум раскрыл объятия, но друг уклонился от них. Как?.. Все было ни к чему? Рисковать жизнью – и не получить в ответ даже скупой ласки? Рот Зума начал уже горько кривиться, когда Хумс с кокетливой улыбкой распахнул свою куртку: под рубашкой виднелись очертания мощных грудей. То были два пестрых яйца. Хумс с величайшей осторожностью положил их в расселину и кинулся к другу. Так они стояли, обнявшись, около получаса; когда слезы высохли, Хумс опять стал согревать яйца своим теплом. Надо было закончить начатое. Может быть, взамен утраченных зубов Судьба одарит его парой кондоров.

Опираясь на плечо Зума, он побрел к товарищам. Забавно: сильнее всего болела левая нога, испещренная ранами. Правая, почти целая, крепко ступала по земле, обреченная принимать на себя главную тяжесть до самого конца пути.

Дождь перестал, черные тучи побелели, затем покраснели, дружелюбное солнце сделалось суровым, коварным, жестоким, невыносимым. От жары камни дымились, превращая ущелье в раскаленную печь. Но это не помешало странникам зажарить кондора и пожрать его с жадностью, которую им сообщали голод, усталость и в особенности сладость битвы. Жирное и жесткое мясо подействовало опьяняюще. Засверкали припрятанные бутылки: пожитки можно было выбросить, выпивку – никогда. Хромец Вальдивия, увидев в кондоре отдаленного родственника попугая, смертельно возненавидел его, вспоминая о своих детских мучениях, – и пнул поверженного гиганта с такой силой, что искалеченная нога стала нормально сгибаться. Так он и жевал мясо, счастливый, прохаживаясь по каменному карнизу и показывая всем, что хромота его уменьшилась наполовину. И действительно, правая нога теперь работала нормально, но левая, как и прежде, была согнута под тупым углом. Поэтому Вальдивия ковылял,

вызывая у окружающих приступы морской болезни. Его заставили сесть, ударив несколько раз птичьими костями. Непомусено воспользовался этим, чтобы выразить свой протест против создавшегося положения. Они идут тернистым путем, преследуемые Парками, из-за него, лощеного, напыщенного, безмозглого, в котором нет ни грамма от подлинного поэта и весьма много от оппортуниста (все видели, с какой быстротой он переметнулся на сторону противника), но, тем не менее, его считают за равного, позволяя вкусить от сочной плоти *Vultur Gryphus*, и если он заслужил этого, с честью приняв бой, дабы продемонстрировать, что в решительный момент интеллектуалы, пусть даже и лишённые очевидных достоинств, мгновенно откликаются на призывы о помощи, то все же не должен принимать предложенного ему куска, ибо по-прежнему закутан в мантию своей вины. То, что Виуэла не преследовал его с самого начала, – в порядке вещей, поскольку его смехотворные вирши, конечно же, могли вызвать не революцию, а лишь взрыв хохота. Но быть не изгнанником, а жалким метателем тортов в погоне за славой, недостойным карьеристом в поисках лазейки, ведущей в Историю, – вот это невыносимо. Кары! Он просит для себя кары!..

Виньяс говорил бы и дальше, но его силой усадили рядом с Вальдивией. Ему следует понять, что все их путешествие – это приобщение к божественной благодати и каждое происшествие на этом пути – священно. Что брошенный им торт – следствие вмешательства высших сил. Что все принимают преследования как должное. Пусть Виньяс наконец перестанет им надоедать и строить из себя центр вселенной. Пусть он спокойно сделает глоток водки – возможно, последний – и доест свой кусок *Vultur Gryphus*, так как завтра им, видимо, предстоит остаться без ниспосланного свыше хлеба. Пусть он ляжет в тень, как все, чтобы меньше страдать от жары, похмелья и трудного переваривания грубой пищи.

Итак, все растянулись в тени. Рука и Тотора провели круговую черту, наказав всем не выходить за нее. В той части круга, которая была обращена к ущелью, установили

скрещенные крылья кондора. Солнце стояло в зените, и члены Общества, а также кенары, собака и оба индейца погрузились в глубокую сиесту.

Когда тело Лауреля Гольдберга открыло глаза, им уже владел Ла Росита. Вокруг запретной черты сновали муравьи, скорпионы, пауки, тщетно пытаясь преодолеть невидимую стену. Скалы кишели разными тварями. У Гольдберга- Ла Роситы мурашки побежали по коже. Если бы не краснокожие со своей магией, насекомые давно обглодали бы всех... Он обвел глазами спящих: те лежали внутри круга, но индейцы дремали в пяти метрах, защищенные чертой другой формы. Их убежище тоже осаждали ядовитые существа. Какое искушение! Как же перескочить через это неисчислимое войско? Ура! Настали новые времена: теперь у него есть две мускулистые ноги, и он прыгнет как можно дальше. Он слегка размялся и прикинул траекторию: между спящими оставалось достаточно пространства, чтобы разбежаться, взмыть в воздух и приземлиться рядом с загадочными индейцами. Единственное препятствие – Акк: он мирно спал, обвив себя левой рукой. Поскольку он не желал снова утратить свой роман, то делал записи на руке химическим карандашом и уже дошел до бицепса. Когда эта конечность будет вся исписана мельчайшим почерком, он перейдет к ногам, животу и – почему бы и нет? – к спине, пользуясь зеркалом. Ла Росита решил сделать его соучастником своего деяния. Надо разбудить Акка и – *abusus non tollit usum*<sup>1</sup> – объяснив все, попросить его без лишнего шума освободить дорогу. Ла Росита-Гольдберг, склонившись над спящим, подул ему на веки. Акк уставился на него немигающим взглядом кобры.

– Это я. Узнаешь?

Акк в ярости – его низвергли с облака, где он играл на арфе со своей сестрой! – прошипел:

– Меня-то ты не обманешь дешевыми трюками!

– Послушай, я скажу тебе то, о чем знаем мы двое: ты и я, Ла Росита. Я один был с тобой, когда ты обряжал мертвую

---

<sup>1</sup> Злоупотребление не отменяет употребления (*лат.*).

Ию в бархатное платье. Увидев ее обнаженное тело, желтый треугольник, розовые соски, пупок в виде полумесяца, ты испытал эрекцию, но попытался скрыть ее, залившись слезами. Я пожал плечами, чтобы ободрить тебя: мол, делай то, что диктуют твоё желание и твоё горе. И отвернулся – а ты судорожно двигал руками, извлекая жидкую жемчужину. Но все же я украдкой подсмотрел, как ты проливаешь свой Глагол на обнаженную грудь усопшей. Потом ты придал семени форму креста. Ну что, теперь веришь мне? Я – Ла Росита!

Акк содрогнулся. Да, он в ловушке! С ним говорит весельчак покойник, а вовсе не еврей! Это не может быть наваждением. Итак, нет больше ни законов, ни правил. Акк ощутил укол: в нем пробивался первый росток веры. Построить заново свой мир – сколько усилий, труда, терпения придется положить! Если чудо свершилось, его, Акка, не существует. Все его взгляды и представления словно утратили под собой почву и парили в воздухе. От беспокойства пересохло во рту. Он вежливо попросил Ла Роситу удалиться, чтобы и дальше не верить в чудеса. Того пробрал смех.

– Знаешь, что еще, драгоценный Салат-Латук? Я не только останусь в этом теле, но буду сполна им наслаждаться! Наконец-то представился случай похорошеть! Так что мне больше не придется прятать своё уродство за умными словами. Лег спать лепешкой, а проснулся пирогом! О-ля-ля!

Пользуясь замешательством романиста, Ла Росита согнул ему ноги, подпрыгнул, оказался на противоположной стороне круга и, напрягая всю силу молодых мускулов, вновь оказался в воздухе, рассчитывая преодолеть пять метров, отделявшие его от индейцев. Послышался глухой звук: Ла Росита ударился о невидимую стену и упал навзничь посреди спящих, щедро поливая их кровью из разбитого носа. Все проснулись, но не успели выяснить, что именно случилось: эрудит бился в истерике, повторяя: «Нам отсюда не выйти!». В подтверждение своих слов он стал кидать наружу то, что попадалось под руку. Предметы свободно перелетали за пределы круга! Возмущенный всеобщими издевками, пострадавший кинул черную собаку. Та отскочила от незримой

преграды и, завывая, свалилась на землю. Шутки смолкли; все напряженно задумались. Итак, им и вправду не выйти. Громко крича, они разбудили индейцев.

Рука и Тотора с бесстрастными лицами объяснили, что Мачи, колдун их племени, научил обоих наводить чары, но не снимать. Надо подождать шесть часов. Пока что невидимая стена защищает их от тарантулов, хищных птиц, пум и так далее. Лучше поспать еще, потому что вечером – снова в путь, а идти будет нелегко. Что оставалось делать? Покориться в ожидании, что стена исчезнет сама собой. Все улеглись. Ла Росита, разочарованный, выстрелил ругательствами на санскрите и предоставил себя заботам Морфея, согнув колени и выпятив зад: пусть хотя бы это божество ниспошлет ему порнографический сон.

Горные снега растаяли, будто в одно мгновение. Ручейки цвета кофе с молоком превратились в медно-красные водопады. Бешеный поток захлестнул ущелье, подхватывая стволы деревьев, трупы птиц и крыс, всяческий мусор. Шум воды – словно одновременный свист тысячи паровозов – разбудил изгнанников. Бурная река, обтекая невидимое препятствие, грозила уничтожить их в любую секунду. Крылья кондора, казалось, пустили корни в скале и каким-то особым образом отклоняли течение воды, так, что место стоянки оставалось сухим. Рука и Тотора, не теряя хладнокровия, переговаривались на своем наречии. Волшебство все еще действовало: они оставались пленниками. «Я иду к вам!» – воскликнул Тотора. Но как? Живые существа не проходят через стену. Пораженные беглецы увидели, как он ложится на спину, поднимает ноги кверху, сгибается, доставая коленями до ушей, выдыхает воздух из легких. Наконец, глаза индейца остекленели. Рука толкнул его; тело Тоторы покатилося по земле, пересекло границу круга и остановилось в его центре. «Сделайте так, чтоб он задышал!» – крикнул Рука. Га, окончивший когда-то курсы первой помощи – изучая искусственное дыхание, он норовил поцеловать в губки девушек-сокурсниц, – сделал все как полагается.

Придя в себя, краснокожий без суеты стал отдавать распоряжения. Поодиночке, сказал он, никому не спастись. Через час, не больше, стена исчезнет, вода захлестнет это место. Значит, нужно держаться вместе. Крылья кондора – это могущественные талисманы. Отряд примет форму гигантского червя. Рука пойдет впереди, держа правое крыло; Тотора, с левым крылом в руках, будет замыкающим. Те, кто сильнее, будут защитой для самых слабых. Тотора безжалостно назвал вещи своими именами: есть хромой (Вальдивия), безрукий (Марсиланьес) и, кроме того, два старика (Хумс и Виньяс). Пара пожилых людей, которые тоже нуждаются в поддержке (Загорра и Лебатон). Дойдя до Американки, он пожал плечами и холодно заявил: «Мертвый груз, надо бросить». Деметрио гневно возразил: он жилист, как арабский конь, и с помощью черной собаки удержит на воде даже беременную слониху. Индеец не стал настаивать на своем. Среди сильных он назвал Боли, Лауреля, Акка, Га, Зума, Эстрелью Диас Барум и Толина. Все они пойдут тесной колонной, почти прижавшись друг к другу. Крылья превратили их в единый организм. Если одного захлестнет вода, остальные должны помочь ему удержаться на плаву. Бесплезно бороться с потоком: нужно оседлать его и плыть по течению. Он, Тотора, знает дорогу. Всем раздеться! Если остается хоть что-то из одежды, Цикавило, бог подземного мира, устроивший потоп, примет их за чужестранцев и утащит к себе...

Охваченные стыдом, покрасневшие с головы до пят, все неохотно расстались с одеждой. Но у каждого, будь он жирным, белотелым или плохо сложенным, над головой сиял незримый нимб. Когда Зум принялся молиться, прочие последовали его примеру.

Рука, запертый в своем пространстве, готовился прыгнуть и завладеть вторым крылом. Колдовство потеряло силу: ему следовало пробраться под огромной волной. Вода смоляного цвета угрожающе гудела. Шестьдесят секунд... сорок... двадцать... десять... Все молча выстроились позади Тоторы, ожидая, когда Рука нырнет. Пять, четыре, три, два, один... Внезапно Акк рванулся вперед, отделившись от группы, а Эстрелья –



назад. НОЛЬ! Индеец метнулся через поток и завладел крылом. Поэтесса обхватил руками каменный столб. Вода накрыла их с головой. Беглецы затаились, не дыша, окруженные ледяной жидкостью – казалось, что кости сейчас превратятся в кристаллы. Могучий злобный дух тянул их к себе, шумно отдуваясь и хохоча. Беззащитные... Нет, им никогда не выбраться. Они растворятся кусочками сахара в дьявольском напитке... И тут отряд вынырнул на поверхность. Вокруг них простиралась водная гладь, спокойная, как после пролитого масла; чуть поодаль ревели водовороты. Легенда о крыльях кондора не была обманом! И вот они уже в сотый раз проплывали мимо Эстрельи, прилипшей, визжа, к своей колонне. Вокруг нее, похоже, образовалось завихрение.

Акк, в последний миг заметивший одинокое бревно, прыгнул навстречу своему личному спасению. Рассказывайте сказки! Наводнение поглотит всех, кто поверил в них... А его – нет! Лучше плавать одному на бревне, чем потонуть с ними. Но, пока его товарищи спокойно дрейфовали, бревно, изъеденное термитами, обратилось в труху. Акк оказался в воде, среди мертвых насекомых и деревянной пыли. Его подхватил водоворот. «На помощь, все за одного, простииите!» Голова Акка исчезла в пучине. Цепляясь за жизнь, он выныривал, харкал кровью, пытался принять любезный вид и снова пропадал.

– Надо выручить его! – приказал Тотора. – Его и женщину с большой грудью. Те, кто одолел кондора, должны держаться вместе. Иначе волшебство бессильно.

Га, как настоящий кашалот, поплыл между ключев пены, стараясь не идти против течения. Понемногу ему удалось, нащупав дорогу среди вихрей и воронок, подплыть к Акку.

– Тяни сильнее, пусть даже роман сотрется! Га, прости мне мои грехи, как тебе прощают твои! Я был маловеком!

Га протянул ему руку. В конце концов, кто он такой, что бы судить ближнего? Акк вызвал у него неожиданный прилив симпатии. Прижав его к груди, Га по-матерински заботливо пробрался обратно по спокойным участкам – и вот они присоединились к отряду. «Червяк», как и прежде, плыл по

кругу, но с возрастающей скоростью. Еще немного, и они пойдут на дно. Надо спасти Эстрелью.

Аламиро Марсиланьес не мог поверить своим глазам: его неподражаемая Венера, его львица, верещала, прижимаясь к каменной глыбе, а он, лишившись когтей и искусственных рук, плыл при помощи своих обрубков! Страх оказался сильнее желания сохранить лицо: Эстрелья сбросила с себя свою воинственную маску. Никакая сила в мире не заставила бы ее броситься в водоворот.

Вода уже доходила всем до ушей. Марсиланьес, дождавшись благоприятного момента, рванулся к колонне, поглядел на поэтессу и, равнодушный к ее гримасам, велел:

– Прыгай, или избыю до смерти!

Став кроткой овечкой, Эстрелья бросилась ему на шею, едва не задушив грудями:

– Не могу...

Пощечина прозвучала, как выстрел. Глаза Эстрельи увлажнились от слез – и от воды, потому что ее любовник кинулся в бурлящую красную воду. Она уцепилась за культю, забив ногами с такой силой, что меньше чем через секунду они присоединились к отряду. Все в сборе! Как и предсказывал индеец, шторм прекратился, и вскоре их уже медленно уносил необычный поток. Куда? И сколько это еще продлится?

В казарме карабинеров муравьями сновали туда-сюда рядовые, изображая бурную деятельность, чтобы успокоить Попайчика. Капитан пребывал на грани нервного шока, ожидая, пока его подчиненные в сотый раз не закончат латать шину. Президентские самолеты вот-вот сядут, а они еще даже не на пути к аэропорту! Один понес обрывок грязной бумаги в зловонный угол, куда сваливался мусор. Другой менял ленту в пишущей машинке, где из-за отсутствия буквы «И» каждый раз вместо «Готовы исполнить приказ» приходилось печатать «Всегда на службе Отечества». Еще трое, подхватив друг друга под руки, усердно распевали:

И тебееее я так радостноооо  
Свою душу вручуууу...

Однако пинки, рассыпаемые капитаном, чтобы солдаты радостно вручили свою душу и взялись за работу, были встречены вовсе не радостно: потирая ягодицы, те пришли на помощь механику, и грузовик был приведен в рабочее состояние.

– Карабинеры! Ружья на плечо и живо трогаемся с места! Кто не успел облегчиться, сам виноват. Мы должны показать америкашкам, кто есть кто, но вести себя вежливо. Чтоб никто не выпрашивал долларов! Мы, черт возьми, военные, а не попрошайки! С собаками не связываться! Если что, у нас будет Атриль. Заводим мотор! Тебянезвали номер третий! Быстро за моей шавкой!

Грузовик зафырчал, окутался черными клубами – но когда дым рассеялся, все увидели, что он не отъехал даже на сантиметр. Пришлось ждать двадцать минут, пока не прогреется двигатель. Возвратился солдат номер третий: охваченная беспричинной радостью, собачонка путалась у него под ногами, мешая идти. Запрыгнув в кузов, она облизала всех, одного за другим, пока, поскуливая от счастья, не оказалась на руках у Попайчика. Из-за сильных ударов хвостом ее ласки вряд ли могли доставить удовольствие. Капитан, нанеся жестокий удар, заорал:

– Заткнись, псина!

Атриль облизал беспощадный кулак и в знак извинения помочился капитану на ботинок. Тот с ангельским лицом вытерпел все это. Что делать? Он так привязался к этому зверьку. Больше того: он в первый раз к кому-то привязался. Как-то раз – это было на его прежнем месте службы, в Сантьяго, – в уборной сошлись два бездомных пса: самец-боксер и самка-чихуахуа, выглядевшая полумертвой после случки. Сепеда-младший подобрал ее – не из жалости, а из желания посмотреть на плод столь редкостного совокупления. Самка умерла, произведя на свет Атриля. Пес оказался с тремя лапами: две задние и одна передняя, посредине. Зрелище было просто ошеломляющим. Сепеда оставил щенка у себя как диковину, но мало-помалу понял, что Атриль – лучшая ищейка в столице и окрестностях. Он мог унюхать что

угодно за километры: некий безошибочный инстинкт всегда приводил его к жертве. Попайчик не осмеливался говорить вслух о телепатии, но в глубине души считал, что это так. И теперь, когда правительство, смилив гордость, обратилось за помощью к иностранным псам, капитан мог продемонстрировать Атриля во всей красе.

Самолеты приземлились одновременно с прибытием грузовика. Американцы вышли. Капитан представил им своих людей, но янки ни на кого не обращали внимания: держа в руках поводки, они вольготно расселись в кузове и достали бутылки с виски. Попайчик вместе с подчиненными был вынужден втиснуться в кабину. Главный у гостей, шериф, хлопнул его по плечу: «Свежее мясо, приятель?» – «Yes!». Из-за нехватки средств им пришлось забить Маргариту, лошадь, на которой вывозили мусор. Когда американцы зашли в казарму за мясом, капитан при помощи затрещин прогнал из кузова своих людей, жадно высасывавших из бутылок остатки огненной жидкости.

Дождь все крепчал, пробирая до костей. Развалины «Ареналя» и головешки на месте цирка тонули в грязи. Местные, прикрывшись мешками из-под картошки, молились, глядя на обугленный скелет Пирипи, – он стоял ровно, как и раньше. Чьи-то заботливые руки накрыли его брезентом. К останкам, отныне защищенным от дождя, возлагали цветы и ставили свечи. Плотное кольцо мигающих огоньков окружило светлый обелиск.

Американцы вместе с карабинерами растолкали толпу и спустили на скелет собак. За пару секунд те обнюхали его, разобрали по косточкам, потоптали, обратили в пыль и стали тыкаться носами в своих хозяев, ища благодарности. У Попайчика кишки завязались узлом. Если этот обездоленный народ поклоняется паяцу, как святому, лучше оставить Пириппи в покое. Бедняки опустили глаза, согнули спины и молча побрели к своим хижинам. Но он-то знал, что бесцеремонные приезжие совершили кощунство. Болваны! Сейчас эти собаки возьмут след, который приведет – куда? – конечно же, к двум женщинам, Эми и Эме. Для этого хватило

бы одного щенка, и не обязательно породистого. Льет как из ведра, все следы скрыты под грязью, нет ни одной личной вещи, которую можно дать ищейкам. Но ничего: трехлапый Атриль вырчит их.

Невозмутимый, привычный к насмешкам, капитан отдал приказ своему псу. Тот принялся, обежал вокруг развалин цирка своей странной походкой, остановился, присев на задние лапы, порылся передней в грязи и вытащил кусок фарфорового горшка. Атриль знал толк в охоте! Американские собаки разразились лаем, едва не обезумев, и побежали за своим новым вожакom в сторону трущобных поселков. Но далеко уйти им не удалось: путь преградила толпа оборванцев, державших в руках кольца, камни, рогатки, цепи, железные прутья. Возглавлял эту орду старый паралитик, избравший средством передвижения деревянного коня на колесиках – очевидно, снятого с карусели. Противным голосом он – механически, точно заучив ее наизусть – произнес такую речь:

– Латифундисты-не-пройдут-не-отдадим-нашу-землю-мы-останемся-здесь-и-будем-бороться-до-конца!

Американцы процедили что-то по-английски, достав из кожаных курток пистолеты и гранаты. Попайчик взял Атриля на руки: еще не хватало, чтобы шальная пуля... Потом выдал из себя:

– Друзья, мы не собираемся вам вредить. Группа паяцев-заговорщиков обвиняется в покушении на жизнь Досточтимого сеньора президента, дона Виуэлы.

И, гнусавя, он зачитал стихи Неруны:

Где ковром расстелились долины  
И луга с изумрудной травой,  
Где воздвиглись крутые вершины,  
Где шумит океанский прибой,  
Все, забыв о трудах и тоске,  
Славят имя святого Геге!

Но рукоплесканий, которых ожидал капитан, не последовало. Перейдя на торжественный тон, так не гармонирующий с красным лицом, он воззвал к беднякам:

– Будьте же патриотами! От имени первого лица государства я прошу вас расступиться!

Паралитик тоже заговорил по-другому, на этот раз свободно выговаривая слова:

– Слушай, капрал, ты о чем? Какой еще патриотизм? Ты вылизываешь задницу этим гринго. Не будь дураком: ты для них половая тряпка. И скажи им, что нам плевать на этих собак...

От такого хамства Сепеда стал зеленее своего мундира – а главное, все это было правдой. Его мужская гордость была уязвлена. Что думает весь этот сброд? Что он не способен бросить вызов иностранцам? А может, им неизвестно, что Атриль стоит всех гринго с собаками, вместе взятых?

– Эй, вы, обезьяны, если вы чего там скрываете, то я тоже вырос в трущобах и вижу вас насквозь! Сколько вам нужно?

Лица поселян озарились улыбками.

– Послушайте, полковник...

– Сначала капрал, потом полковник? Я капитан, не больше и не меньше.

– Послушайте, капитан, у этих господ наверняка есть доллары. Мы готовы поставить сколько-то песо. Эти животные, видно, неплохи, если их притащили издалека. Давайте устроим драчку с нашими зверюшками...

Толпа расступилась; перед паралитиком поставили несколько жестяных коробок, в которых поместился бы от силы кот – или карликовая собачка.

Одного дога отправили на поиски Эми и Эмы: американских псов осталось девять. Видимо, оборванцы были осведомлены об этом, потому что вынесли девять коробок. Сво-ра заливалась лаем во все глотки.

Попайчик, считая пари заранее выигранным, объяснил американцам, в чем состоит смехотворный вызов этих нищелюбов. Те поглядели на коробку и на пачку банкнот, которой потрясал изящно искривленный паралитик. Затем достали доллары и со смехом выложили их в сомбреро рядом с засаленными бумажками.

Всеобщее оживление, шум и гам! Одним духом изобразили загон из гнилых досок, камней и листов картона. Гринго запустили туда псов, сняв с них ошейники. Противники в лице немощного старика сочли нужным кое-что пояснить:

– Мы сказали «зверюшки», а не «собаки». Да, сеньоры, именно так! Это крысы! У нас нет денег, чтобы выращивать боевых петухов, и мы вывели породу боевых крыс.

И с величайшими предосторожностями девятерых бойцов выпустили из ящиков.

Крысы, как оказалось, могли лежать в ящиках лишь скорчившись. Видимо, так было задумано, чтобы скрыть их истинные размеры. Когда животные встряхнулись и размялись, то выяснилось, что по размерам каждое превосходит трех кошек. Длинные зубы блестели, словно лезвие ножа; толстые и крепкие, как сталь, хвосты, угрожающе хлопая, оставляли в размытой земле глубокие борозды; близко посаженные глаза сверкали так, что у псов лай застыл на языке. При первом же крысином фыркание собаки попятились назад. Но каскад английских ругательств заставил их обнажить громадные клыки.

Грызуны, избегая прямой атаки, стали прыгать на метр-полтора в высоту. Визг их только что не разрывал барабанные перепонки. Крысы, растопыривая в полете лапы, приземлялись на спину собакам и со скоростью света раздирали им бока до крови. Через пару минут все собаки были залиты кровью. Один из крестьян свистнул – и крысы, держась бок о бок, отступили в угол, давая противнику время прийти в себя, изливая свою ярость в оглушительном вое. Свистнул снова – и все девять бойцов стали наступать на оторопевших псов, прижавшись к земле так низко, что едва ли не сливались с ней, сделавшись почти плоскими: противникам некуда было вонзать свои клыки. Крысы приближались сантиметр за сантиметром, пока не скользнули под животы собакам. Потом, подпрыгнув, они шлепнулись на спины и принялись раздирать зубами звериную плоть, добираясь до лабиринта кишок... Псы валились на бок, катались по земле, но не могли стряхнуть зубастых врагов, которые за считанные секунды прорвали им брюхо и выгрызли внутренности.

Катастрофа! Капитан едва не упал в обморок, представив, как разозлится президент. Надо будет послать за новыми собаками. Но лучше за львами. Бой был честным, один на один. Попайчика пробрал холод. Если вся эта деревенщина продолжит выращивать боевых крыс, дело дрянь. Нет, не стоит об этом думать. Американцы, поджав хвост, быстро возвратились в Талькауано. А он остался с четырьмя карабинерами против толпы, выражавшей громкую радость по поводу пачки долларов. Тогда Сепеда решил поговорить с ними как чилиец с чилийцами.

– Эй, вы, подонки, вы добились своего. Тут есть на что выпить. Так что освежите глотки, забирайте своих подлых крыс и помните, что власть нужно уважать. Дайте нам дорогу.

Собравшиеся поняли, что капитану неведом страх и он спокойно даст себя разрезать на куски, если надо. На лбу у него было написано «Выполняй свой долг», и сам Господь не стер бы эту надпись. Но зато четверо его подчиненных обнажили зубы, и совсем не в улыбке: челюсти их стучали не переставая.

– Знаете что, лейтенант...

– Не понижайте меня в звании.

– Капитан, вот что мы тебе предлагаем...

– Не тыкайте мне.

– Ладно, капитан, мы предлагаем вам сделку. Власть нужно уважать, так? Эти заграничные собаки – тьфу, мелочь. Но мы хотим посмотреть, что такое наше, чилийское качество. Или ваш пес комнатной породы? Пусть он тоже дерется, как остальные... Без всяких пари, просто так. Посмотреть, кто сильнее: вы, большие люди, или мы, маленькие...

Их были сотни – неотесанных, но вооруженных. Если они уловят в его глазах хоть проблеск страха, то сотрут его в порошок. Он погладил Атриля по голове. Бедненький. Капитан так и прижимал его к груди все это время, вероятно, предчувствуя, что случится... Ну что ж, сделаем из кишок сердце, а из штанов – пояс!

– Хорошо! Жить с честью или умереть со славой! Доставайте свою грязную крысу! Пусть никто не скажет, что у нас



колени трясутся! Больше того: у меня тут есть пять песо. Немного, но все, что есть. Заключаем пари!

И, охваченный отчаянным энтузиазмом, он приказал четверым карабинерам кинуть в кучу фуражки и ботинки и сделал то же самое. Затем туда же полетели четыре винтовки и один пистолет.

– Мы ставим также наше оружие, фуражки с гербом и ботинки, хорошо нам послужившие. И без ухмылок! Все только начинается! Давайте: ваша крыса против лучшей ищейки в стране!

Неподдельная ярость капитана внушила к нему всеобщее уважение. Девятерых крыс – каждая успела пожрать не меньше четверти собаки – изловили, посадили в мешки из-под картошки и потом закрыли в коробках. Капитан выпустил Атриля на середину. Селяне плотно столпились вокруг импровизированной ограды, чтобы лучше видеть. Пес замахал хвостом, высунул язык, запрыгал на месте и заворчал, приветствуя хозяина. Тот, подавляя смертельную тоску, наблюдал, как два человека вносят на носилках коробку размерами больше прочих. Оттуда доносились звуки неистового царапанья. Коробку поставили в углу загона и открыли крюком. Воцарилось благоговейное молчание. Атриль, похоже, не сознавал грозящей опасности, прыгал и скакал, словно щенок. Из коробки высунулась голова крысы: изо рта капала слюна, глаза были налиты кровью. Ее подельницы внушали страх; эта наводила ужас. Серая масса воплощала Мировое зло, воплощала первобытные кошмары. Женщины прикрыли глаза ладонями, чтобы смотреть на бой через пальцы. Злобная тварь выгнула спину, медленно прижалась к земле, поскребла ее когтями, пронзительно заверещала и бросилась в смертельную схватку. Атриль, бегавший из стороны в сторону, отпрянул назад, присел на задние лапы, поднял переднюю, одинокую, вверх и застыл, точно статуя из дерева или камня. Казалось, он перестал быть живым существом. Крыса пришла в недоумение: враг только что стоял перед ней – и вот его нет! Она понюхала воздух, царапнула землю. Наконец, обнаружила какой-то непонятный предмет. Пошла к нему...

Попайчик в растерянности смотрел, как крыса-убийца вскакивает на спину его любимцу, задерживается у него на голове, выставляет зубы-клинки, ищет врага, не находит, спускается вниз. Атриль выглядел для нее куском дерева...

Тут пес молниеносно хватил передней лапой по голове противника, убив его одним ударом. Затем принес добычу к ногам хозяина.

Сдерживая слезы гордости, капитан надел ботинки и фуражку, взял обратно пять песо и, не поздравив Атриля (пускай все думают, что он привычен к таким победам) легким пинком направил его на след паяцев. Толпа расступилась. Карабинеры ушли в сторону Лунной долины.

Бурлящие воды покрыли беглецов клочьями красноватой пены. Крылья кондора чудесным образом позволяли держаться на плаву, но это не означало неподвижности. С головокружительной скоростью отряд проплывал в миллиметрах от утесов с острыми, словно ятаганы, кромками. Колоссальные волны добрасывали путников до вершин и кидали затем в бездну. При каждом вдохе в нос попадала вода. Тотора сказал, что она обладает мощным наркотическим действием. Но не стоит тревожиться: Цикавило, бог глубин, скоро вынесет их за пределы Времени.

– Стоять, дубина! Ко мне, сейч... Мать твою!

Попайчик оступился и полетел носом на камни. Радостный Атриль вел их вслед за паяцами по ущелью. Ему было легко скакать по утесам на трех лапах, но капитану и четверым его подчиненным это удавалось с трудом. Долбанный ливень! Он уничтожал все, размывал землю, лежавшую на скалистых уступах большими темными языками. Атриль лизнул хозяина в поврежденное место, – тому показалось, что нос вот-вот отвалится. Проклятый пес! Сепеда сделал вид, что дает ему резкого тычка в бок, на самом же деле ударил слабо, стараясь, чтобы карабинеры этого не заметили: он не хотел казаться мягкотелым. Четвероногий, как и следовало ожидать, принял это за ласку и кинулся капитану на шею, залившись счастливым лаем. Тогда четверо рядовых решили,

что настало время выразить Атрилю восхищение его подвигом, и принялись хлопать пса по спине и бокам с криками «гип-гип-ура!» и тому подобными. Капитан заколебался: рывкнуть на них или допустить послабление? В конце концов, пес уже взял след, им придется шагать не один день по ущелью, прежде чем попадется человеческое жилье... Лучше отпустить вожжи сейчас, чтобы потом покрепче их натянуть. Продвигаться придется быстро. Сепеда определил: два часа сна в сутки, не больше. Нужно настичь добычу, прежде чем правительство озаботится присылкой из Америки новой своры. «Прекратить возню! Смир-но! Прыгать!» И, отделавшись от Атриля, капитан повел своих солдат дальше. Полаивая от избытка рвения, пес скачками пробирался между глыбами. Вот он пропал в какой-то расщелине. И вдруг тишина – словно ему отрезали ножницами язык. Он вернулся, поджав хвост, прилип к хозяину, сел на задние лапы, подняв переднюю, снова стал камнем... «Что та...» Попайчик не закончил фразы: послышался топот копыт, грозный, как револьверные выстрелы.

Поднимая в воздух мелкие обломки камней, появился козел, размером с хорошего першерона. Святая Мария, заступница всех военных, не оставь нас! Длинная густая шерсть, измазанная глиной, черные рога острее любого клинка, могучий лоб, глухое дыхание и сверх всего – полный ненависти взгляд: кто не напустит в штаны при виде такого зверя? Незнакомцы вторглись в его владения и теперь, раздраженный уколами дождевых капель, он собирался прогнать наглецов. Попайчик хотел было спокойно скомандовать: «Спасайся кто может!», но голос его сорвался; охваченный паникой, он сложил левую руку лодочкой, вытянул ее вверх, сел на корточки рядом с окаменевшим Атрилем и впал в беспамятство. Теперь козел потерял его из виду и обратился против Тебянезвали номер первого, который ползком пытался забиться в какую-нибудь щель. Тщетно! Рога изничтожали его, пока под мундиром не осталось сплошное месиво без единой целой косточки.

Атриль, пользуясь этим, опустил лапу и стал карабкаться по узкой тропке. Попайчик, в свою очередь, ожил и полез следом за псом, держась за его хвост. Тебянезвали номер два, три и четыре, прыгая, как блохи, помчались назад, к казарме.

Козел заревел, заглушая шум ливня, и, задыхаясь от гнева, бешено понесся к капитану с собакой, словно летя по воздуху. Ни одно существо не могло преградить ему путь.

Сепеда и его верный спутник, добравшись до карниза, одновременно уселись на скалу, вытянув кверху один – руку, а другой – лапу. Рогатый преследователь остановился: будущая добыча бесследно исчезла. Только камни, ничего больше. Резко вильнув крупом, он повернулся и запрыгал вниз, в поисках других жертв. Попайчик с Атрилем помчались прочь.

Дойдя до вершины, капитан увидел вокруг себя одну гору. Куда бежать? Этот мерзкий козел будет гнаться за ними до конца времен. А он, Сепеда, не может провести всю жизнь окаменевшим. Что, если помолиться святому Геге? Капитан сложил руки, встал на колени и прочел на память стихи Неруны. Козел бросил в сторону говорящего камня убийственный взгляд. Ик! Попайчик вновь оцепенел: лучше стать насестом для грифов, чем котлетой... Но тут Атриль опустил лапу и стал неистово подкапываться под небольшую глыбу, чтобы послать ее в направлении скалы, балансировавшей над пропастью. Рогач, царапая землю, шумно задышал и бросился в атаку. Скала от удара покатила вниз, увлекая за собой другие, тоже стоявшие неустойчиво. Лавина преградила дорогу козлу и заставила его отступить, ища, куда бы спрятаться. Горы задрожали – и весь склон обрушился. Животное оказалось погребенным под кремнистой массой.

Попайчик едва не заорал от радости, но мгновенно онемел. Лавина превратилась в плотину: воды, сбегавшие с недоступных вершин, затопляли ущелье. Когда они переклестнут через край... Как он выполнит приказ Президента? Скоро беглецы станут утопленниками. С каким лицом он предстанет перед своим начальством? Надо забрать трупы – если не целиком, то хотя бы частично: палец, кусочек мяса, обрывок одежды... Он поглядел по сторонам, точно кто-то

мог следить за ним, перекрестился, обнял Атриля, поцеловал в морду, приласкал и, зажав под мышкой, прыгнул на плывущий древесный ствол. Теперь он сидел верхом на бревне, уносимый головокружительным потоком. Оба, Атриль и капитан, громко выли: первый – от энтузиазма, второй – от боли в яйцах.

Подбородок, грудь, живот постепенно немели. Цикавило, видимо, собирается утащить их в подземное царство... Но нет! Они плыли меж горных хребтов бок о бок и вдруг – вспышка! – у них не осталось тел, имен, отличительных признаков. Развязка. Космический ураган. Цвет, форма, безумие, быстрота. Ни прошлого, ни будущего. Бесконечное сотворение. Спуск на адской скорости по лабиринту американских горок. Миллионы образов ежесекундно. Внешнее и внутреннее слились в одно. Они стали многоцветными сверкающими лентами, нотами мелодий, спиралями, криками, взрывами. Мелькают встречные лица, неясные, недоступные. Неуловимые проекции их сознания. Теперь они видели внутренним взором предметы, что превращались в горячечный бред. Они готовились к прыжку в другой мир. Безличные. Вечно сдавливаемые, в бешеном ритме, двумя плоскостями. Ни фундамента. Ни пространства. Разум, изливающийся потоком, отблески, гигантские своды, вселенские колеса, уносящие их к иным формам. Назад не податься. Да и куда? Теперь для них нет ни конца, ни начала, а только длительность, беспредельность вне времени, полная невозможность управлять собой, вековечное одиночество.

Шквал воды, исторгнутый ущельем, словно стрела могучим луком, упал на песок. Почва, объята тысячелетней жадой, впитала влагу до последней капли. Песчаная поверхность превратилась в желтоватое болото, которое извергло из себя со стоном наслаждения травяное море. Непонятно как, все очутились – стоя на ногах, обнаженные, покрытые слоем красной глины – посреди изумрудного луга.

Рука и Тотора, закопав крылья, повалились на зеленый ковер, неистово отмечая конец загадочного путешествия.

Но скоро оба встали и указали, куда идти. За пределами оазиса на многие километры расстилалась бесплодная пустыня. Еще два дня хода по раскаленной земле, пока не встретится первое поселение. Отряд минует его ночью и через день пути по каменистым горным тропкам прибует в Редуксьон.

Тяжело вздыхая, беглецы поднялись с травы и зашагали дальше. Голод, усталость, боль в каждом суставе и сверх того – мучения от ссохшейся поверх кожи глины. Правда, глина эта заменяла им одежду, и это уменьшало страдания. Лаурель, несмотря на свои крепкие мускулы, двигался еле-еле, как во сне. Он и правда заснул – но только на секунду; после чего открыл глаза, уже не мутные, а блестящие, перешел на широкий шаг и запел немецкий гимн. Увидев всеобщее изумление, он извинился: это всего лишь условный рефлекс. Какое счастье – иметь пару здоровых ног, щелкать в воздухе всеми тридцатью двумя зубами, встряхивать пышной гривой! *Donnerwetter, Gott sei Dank!*

Члены Общества раскрыли рты с глупым видом. Лаурель говорил не своим голосом – но также не голосом Ла Роситы или Ла Кабры! Акк упал в обморок.

– Да, друзья, это я, фон Хаммер! Я снова с вами!

И, ступая гусиным шагом – казалось, отмененным в их компании навсегда – фон Хаммер поведал, как его расстреляли в концлагере для политзаключенных.

## XII. КЛАК, КЛАК, КЛАК, КЛАК-КЛАК-КЛАК!

*С каждым разом я приближаюсь еще на шаг  
к своему имени. Я продвигаюсь, отмечая  
бесплодные области.  
Зная с точностью, где его нет,  
я приближаюсь к нему  
через цепь неудач.*

**Американка (из разговоров в кафе «Ирис»).**

- Поторапливайся, Пили, я жду уже два часа.
- Помнишь, куцехвостенький...
- Куцехвостенький?
- Так индейцы называют собак с обрубком хвоста. Знаешь, что с ними делают?
- Нет.
- Им откусывают хвост. Чтобы не забывали, кто у них хозяин. Так вот, куцехвостенький, ты обещал мне полностью подчиняться во всех личных делах...
- Но, Пили, там министры, епископы, генералы, воинские части... Под палящим солнцем!
- Подождут... Пусть знают, что в государстве есть власть... Не волнуйся, Ринтинтин. Еще чуть-чуть блесток, и мое нижнее белье готово. А пока я надену на тебя ошейник, и ты пробежишься по комнате.
- О нет! Я уже помочился во всех углах и наложил два раза на ковер. Что ты еще от меня хочешь?
- Мало...
- Я не могу больше тужиться.
- Ты меня не любишь...
- Ну хорошо, хорошо, не плачь. В следующий раз ты будешь оттаскивать меня от ножки стула силой...

– Или при помощи ледяного шампанского.  
– Если я выпью, то не смогу огласить в Сенате проект закона о девальвации.  
– Видишь? Ты меня не любишь!  
– О’кей, мы сделаем это. Но только завтра. Сегодня я уже не выдержу...  
– У тебя пока что не пропал голос. Спой «Джингл беллз», как цирковой песик...

Президент закатал фалды своего фрака, встал на колени и, задрав голову, затянул рождественскую песню, время от времени завывая. В это время Пили яростно мастурбировала, лежа на кровати.

Телефонный звонок. Пришла горничная с одеждой господа и супруги президента. Геге велел ей ждать у аппарата, сунул трубку под подушку, охваченный нетерпением, отсчитал пятнадцать минут, слушая стоны и крепкие словечки, издаваемые женой в экстазе. Потом приказал:

– Неси немедленно, дрянная девчонка! Почему так поздно?

Пили захотела надеть под свой строгий костюм трусики, лифчик и пояс для чулок, усыпанные золотыми блестками, и кроме того – с овальной вставкой из жемчужин и розовых перьев на лобке.

– Думая о том, что у меня внизу, я буду все время в возбуждении...

Шестерых солдат уже унесли на носилках. Если так пойдет и дальше, все получат солнечный удар – или дельфиндилы сойдут с ума и сожрут их. Этих тварей следовало постоянно обливать водой. Животные, хотя и выказывали повиновение (каждого удерживали три человека) скалились, показывая ряды острых клыков: перекусить дубовое полено для них было нипочем. Впервые американские военные показывали свою сверхсекретную помесь дельфина и крокодила. Геге и Пили с гордостью принимали парад, давая путевку в жизнь новому оружию... Глядя на министров и генералов, насквозь промокших от пота, улыбавшихся с видом сардин



из жестяной банки, Его Превосходительство вынашивал далеко идущие планы. Если он будет обладать тайной скрещивания... Но вид кардинала Бараты вернул его к реальности. То был сухой старик, густобровый, со ртом, напоминавшим клюв вьюрка, узловатыми пальцами и сплюснутым задом (из-за чего передвигался мелкими шажками). Бррр! Жить в этом иссохшем теле – какой ужас! Для этого полубесплотного существа грех был рассеян всюду. Поэтому он, Геге, должен пройти монашеской поступью по хвосту спящего тигра... Союз с римской церковью позволил ему усесться в красное президентское кресло – но внимание! Этот старикашка способен объявить самбу нечестивым делом. Хорошо бы посыпать его четки кокаином... Хе-хе! Что там самба – он сплясал бы канкан! Но поглядите, как он благословляет президента крестным знамением – так мелко и скупо, словно съезжился после ванны...

Его Превосходительство Господин Президент поприветствовал национальное знамя, гражданских, военных и духовных чинов – когда он целовал кардинальский перстень, запах, исходивший от истукана в лиловой рясе, заставил его поднять бровь: «наверняка он никогда не моет рук» – и американских гостей с дельфиндилами на поводках, заглушавшими звуки оркестра сильнейшим ревом.

В сопровождении руководства Генерального штаба Геге Виуэла пошел вдоль строя солдат. Сбежавшие паяцы были идеальными козлами отпущения: после того, как он измазался вместе в ними в креме, показав всем свою любовь к цирку, раскрыв свою детскую душу, свою доступность и скромность, спрятанные за маской величия, эти клоуны-предатели сожгли свой шатер, дабы переложить вину на государство, преступным образом напали на представителей вооруженных сил, убив несколько карабинеров и полицейских собак, вступили в сговор с врагом общества номер один, презренным рифмоплетом Неруньей, дали завербовать себя югославской разведке... «Тортом, в меня?.. Ну что ж, мы им покажем. Народ на моей стороне. Будем искать их на земле, в небесах и на море. Вся страна в лице этого доблестного батальона

поспешит на спасение капитана, ласково прозванного его подчиненными «Попайчиком». Как один человек, они бросятся спасать храбреца, затерянного среди неприветливых, острых скал, возможно, похищенного, израненного, – честного солдата, с ремнем, затянутым до предела, чтобы не проявлять ни малейшей слабости, готового положить свою жизнь на алтарь долга, жертву всемирного коммунистического заговора, национального героя! Люди зовут его Святым Попаем... Ммм... Нет, слишком много сахара. Перебор. Если сделать его слишком популярным, он станет опасным конкурентом. Святой у нас один – Геге! Лучше так: не национальный герой, а честный солдат... Да! Вот оно: „Честь – это Родина“! Отлично!»

Пили, без единого следа макияжа на лице, в туфлях без каблука, с монашеским видом следовала вдоль строя, одаряя каждого солдата невинной улыбкой.

Оркестр грянул песенку «С цветами иду я к Марии» в ритме военного марша. Кардинал закатил глаза от удовольствия и, расшедрившись, увеличил размах своих жестов на три сантиметра. Внутренний двор резиденции главы государства, судя по фиолетовым лицам почетного караула, превратился в раскаленную сковородку. Разве тут настолько жарко? Геге незаметным движением, точно ища чего-то во внутреннем кармане, сунул руку под мышку. Все в порядке. Мерзавцы! Привыкли целыми днями штемпелевать марки – вот и не могут даже часик постоять на солнце. «Терпите, свиньи! Не пропустим ни одного!» И президент послал им улыбку. Странно: жилы на висках солдат вздулись. Не осмеливаясь глядеть ему в глаза, они двигали бровями, как будто пытались что-то сообщить. Но что? Секретарь министра экономики, имитируя тик, показывал куда-то кончиком носа. Геге посмотрел в ту сторону. Прямо у каблуков Пили блестела какая-то штучка. Проклятие! Трусики в блестках, свисая на черной шелковой ленте, тащились за ней, как комнатная собачка! А та, ничего не подозревая, с аскетическим лицом приветствовала солдат. Притворяясь, будто ему в ботинок попал камешек, Геге топнул пару раз, надеясь, что кто-нибудь из этих

кретинов наступит на трусики и оборвет ленту. Министр здравоохранения сообразил первым и, делая вид, что отгоняет муху, обеими ногами прижал нескромный предмет к земле. Президентша шла вперед, так ни о чем и не догадываясь. Лента оборваться, однако, не пожелала, и на всеобщее обозрение попали пояс для чулок и даже лифчик – увы, соединявшийся с трусиками при помощи вороха кружев. Министр здравоохранения рухнул на землю животом, преследуя воображаемую муху. На этот раз Пили почувствовала, как что-то тянет сзади, обернулась, поняла, что положение безнадежно и, схватив мужа под руку, продолжила смотреть войскам. «Вот так, не торопи меня впредь: нитки только приметали на скорую руку!» Кардинал просвистел: «Дельфиндил, ублюдки...» Потребовалось десять минут, чтобы министр обороны добежал до гостей, все им объяснил и вернулся к свите. Позади него лежали трусики; на подкладке их, в довершение всего, виднелось подозрительное пятно. С этого момента ход событий ускорился: зверь вырвался из рук охранников и кинулся к президентскому кортежу. Представители властей всякого рода принялись спасаться бегством, сам же президент, дрожа, крепко обнимал супругу, чтобы та не двигалась с места. Хищная тварь проглотила блестящие тряпки и одним ударом хвоста сломала пяти солдатам хребет; наконец, ее удалось укротить и водворить на место. Официальные лица как ни в чем не бывало возвратились к своим обязанностям.

– Ринтинтин, он облил меня своей спермой. Сейчас потечет по ногам...

– Не называй меня Ринтинтином при всех, дура. Или ты хочешь, чтобы я наложил прямо здесь?

Смотр продолжился. Буйный ветер с Анд, прилетев, стал играть с синей юбкой президентской жены, задрав ее до самой шеи и обнажив перед опечаленными рекрутами лобковые волосы, подстриженные в форме сердца и окрашенные в переливчатый оранжевый цвет. Солдаты печалились не зря: весь батальон был отправлен в концлагерь Писагуа со «специальным заданием» до конца президентского срока.

У журналистов отобрали пленку, пригрозив смертью в случае публикации даже легчайшего намека на прискорбное происшествие.

Не знаю, как именно действует грим паяца Пирипипи. Наложенный на мое лицо, он преобразил его, а лучше сказать – стер. Я мигом забыл обо всем, став новорожденным. С тревогой посмотрев направо и налево, я обратился за помощью к Эми и Эме. Клянусь, в эти минуты я не мог ничего делать, был никем, пустой оболочкой, платьем без тела, маской без лица... Мне дали золотые монеты. Брошенные на деревянный поднос одна за другой, по порядку, соответственно достоинству, они тут же стали наигрывать знакомый вальс под бречание двух гитар. Обе женщины – толстая и худая – уверяли меня, что служат этим блестящим кружочкам.

Очень скоро собака обнаружила нас: мы лежали в тени эвкалипта. Примчался грузовик, поднимая клубы красноватой пыли, и остановился у дерева. Вылезли трое карабинеров с красноватыми лицами, затем американец со своим псом – безупречные, глянцевые, сверкающие. Я увидел дуло пистолета. Собачьи клыки были желтыми, но я подозревал, что если ничего не предпринять, они быстро станут красными. Эми поставила между ними и нами гитару, но собака перерызла ее одним духом. Я снял крахмальный воротничок, встал на колени, подставив шею – может быть, тогда пес не тронет женщин? – и, убежденный в близости конца, стал напевать про себя все тот же мотив вальса. Вероятно, мои руки сами по себе достали монеты и рассыпали их на подносе. Пес перестал лаять, высунул язык, выпятил брюхо, заворчал и принялся тереться о мои икры. Эми и Эма заплясали от восторга, крутя животом. Техасец пришел в бешенство и уложил их двумя выстрелами. Эти уродины с видом глубочайшего презрения вставили пальцы в свои раны, вынули пули и положили к ногам карабинеров. Кровотечение прекратилось, края ран тут же сомкнулись.

– Ты не можешь причинить нам зло, потому что не понимаешь нас. Ты – человек без роду и племени, лишенный корней, ты не стоишь ни гроша. Даже твой пес облаивает тебя...

Очарованный звуками вальса, дог угрожающе оскалился на хозяина. Американец выдал изумленное «How?» и заорал, чтобы ему вернули его собаку. Одновременно он пытался выстрелить в нее, желая убедиться, что ей тоже не страшны пули. Карабинеры успокаивали его единственным доступным им способом, то есть ударами дубинок.

В казарме американцу оказали первую помощь, а меня посадили за решетку. Эми и Эму просто выбросили на улицу. Меня отмывали водой, мылом, спиртом, глицерином, щелочом, жидкостью для удаления пятен, но не могли стереть грим. Когда снимали отпечатки моих пальцев, обратили внимание, что рисунок на подушечках постоянно меняется, как очертания облаков на небе... Потом меня перевели в Писагуа и зарыли в песок. Мне дали гнилых бобов и соленой воды, в которой плавали розоватые букашки.

Немного погодя я услышал голоса Эми и Эмы: невидимые между песчаных дюн, они играли на гитаре. Я стал подбрасывать монеты в такт гитарным переборам: мое богатство осталось нетронутым – для военных это были всего лишь расплюснутые бутылочные пробки. При звуках этой мелодии заключенные и охранники пустились в пляс. Одной рукой я держал поднос, а другой открыл овальную коробку и стал раскрашивать их лица, пока не спустилась тьма. Запасы грима были неисчерпаемы. Когда я закончил, под луной танцевали сорок паяцев Пирипи, и смыть краски с их лиц не смог бы никто. Я велел им раздеться.

На заре я перестал играть. Всеобщее замешательство! Охранники лихорадочно терли свои щеки песком. Пользуясь этим, я открыл ворота в надежде вновь присоединиться к старухам. Меня остановил батальон, прибывший из Сантьяго. Разъяренные солдаты осыпали бранью Виуэлу и его сучку, одетую монахиней. Они водворили меня обратно. В лагере раздавались вопли и жалобы пьяных паяцев.

Сорок голых одержимцев – без собственного лица и отпечатков пальцев – объявляли себя солдатами, отдавая честь по-военному. Капитан батальона отрезал:

– Солдат на службе Отечества не может быть дерьмовым паяцем. Все арестованы по обвинению в мятеже. Первому, кто подаст голос – пулю в лоб!

Меня же решили расстрелять за попытку бегства. Глава расстрельной команды позволил мне раздеться. Я собрал в узелок свой костюм, монеты, коробку с гримом и переброшил через ограждение, зная, что Эми с Эмой подберут его. Затем встал на голову, и пули пронзили меня.

Резким толчком я освободился от тела: казалось, наступило выздоровление после долгой болезни. Меня подхватил бурный поток энергии, и я бросился в его крутые волны. Стало понятно, что отпечатки моих пальцев воспроизводили разные течения внутри Единого, где я блуждал теперь. Более слабая вибрация, возникшая на месте моего «Я», донесла до меня вести о его истоках. Я двигался в четком направлении. Исчезло разделение между импульсами из Космоса и моими ответными поступками: действие и реакция на него слились воедино, причина немедленно влекла за собой следствие. Чтобы передвигаться, я сообщал той или иной части тела импульс, идущий от всего моего существа. Я осознал это единство, но не мог сказать, где нахожусь – в центре или на краю, везде или в какой-то части. Каждый атом излучал меня целиком, с одинаковой силой...

Я мог остаться внутри этой сферы, но собачий лай – «Да!» – принес воспоминание о вас, и стало ясно, что нужно возвращаться.

Я спустился на землю. Болезненное чувство охватило меня. В темноте шевелились мириады светлых точек. Вокруг была материя. Страдая, я погружался в плотное вещество; наконец его непробиваемая броня окружила меня со всех сторон – и я открыл глаза. Пытаясь сказать что-то по-испански, я невольно произнес бодрое Danke... Да, друзья, это я, фон Хаммер! Я снова с вами!

Акк три раза вяло стукнул в ладоши. Это действительно говорил немец, а не Лаурель Гольдберг. Значит, царство мертвых существует, можно входить в тела и покидать их... Итак,

человеческий организм – что-то вроде третьесортного отеля, ночного такси, готового везти кого угодно... Больше скромности, товарищи, мы ведь так ничтожны! Будем топтать землю с уважением, ибо мы не из праха и обратимся не в него, а в Ничто!

И, словно лаская ступнями драгоценнейший в мире предмет, Акк побрел по иссохшей, раскаленной равнине. Два дня пути! Ноги его уже покрылись волдырями. Воды у путников не было. Дождь перестал. Их ожидает двухдневный пост – если только не питаться колючками или не стащить что-нибудь из деревьев.

Деметрио предложил: пусть Га плюнет каждому в рот – он пьян настолько, что все тоже опьянеют, и будет легче. Но толстяк показал свой распухший до невозможности язык.

По мысли Зума, переход через пустыню следовало совместить с молитвой: надо без перерыва повторять: «я-твой-сжался-надо-мной». И так как путешествие обещало стать инициатическим, Хумс высказал идею, что неплохо бы каждому, кроме того, кидать перед собой увесистый камень – как можно дальше. Потом поднимать его и кидать снова. Так проще преодолеть лежащие перед ними сто с чем-то километров.

Когда оба предложения были приняты и все занялись метанием булыжников, бормоча молитвословие, Хумс вспомнил, что две его руки по-прежнему заняты яйцами кондора. Отдать на сохранение индейцам? Нет! Эти первобытные люди проделают дырочку и высосут все из-под скорлупы. Но насколько яйца прочны? Хумс опустился на колени, кинул одно из яиц на три сантиметра. Целое. А если на десять... на метр... на четыре? О счастье: яйца оказались тверды, словно камни! Превосходно. Он сможет бросать их перед собой до самого горизонта. Впоследствии остальные поймут, что его «камни» содержали в себе источник жизни.

Капитан и его пес накрепко присосались к стволу. Тот вращался, рассекая водовороты, обдавая обоих медно-красными брызгами. Вот они врезались в гору пены, которая лезла в нос, забивала легкие, вызывая приступ кашля. Но вскоре

раздражение прошло, и – странное дело – им даже понравилось дышать смесью воздуха с водой.

Атмосфера вокруг них сделалась бархатной. Губчатый свод пропускал слабый свет, изображения сменялись в глазах, как в калейдоскопе. Сердце выпрыгивало наружу, полнясь неведомой доселе радостью. Каждое биение отдавалось звоном церковного колокола. Наконец, они выбрались из пены на широкий, бесконечный простор. Вода больше не казалась разъяренной. Разъяренной?.. Попайчик дышал изо всех сил, высунув язык, вцепившись в ствол всеми тремя лапами. Напротив – лицо капитана с остекленевшими глазами: его собственное!.. Волна любви вырвалась из груди и захлестнула его – но он успел понять, что превратился в Атриля.

Какое блаженство – иметь хвост! Водный поток, горные кручи, птицы далеко в небе, неприметные уголки земли – все источало одуряющий запах. Но самый прекрасный аромат исходил от этого величайшего, чудеснейшего, бесценнейшего дара природы – тела Хозяина. Он так и будет сидеть напротив него, преисполненный обожания, до конца времен... Что еще нужно?

Понемногу Сепеда вновь обрел свою плотскую оболочку. Может быть, пена помутила его рассудок? Атриль все смотрел и смотрел на него, и теперь капитан понимал, что светилось в его глазах. Он устыдился, потом зашелся в приступе хохота. Ха-ха-ха! Боже мой! Он – всего лишь жалкая карикатура на живое существо, в отличие от своей собаки.

Полночь. Четыре черных «кадиллака» набитых телохранителями, подъехали к ветхому дому. Единственным безоружным был Геге Виуэла. В километре отсюда полицейский заслон направлял автомобили в объезд. Президент не хотел, чтобы сеанс магии прерывался шумом моторов... Полнолуние! Донья Виолета де Ла Санта Крус поставила это непременно условием. Сегодня, ровно в двенадцать, стучащие зубы ответят на любой вопрос. Эта женщина однажды – ей было тогда пятнадцать – проснулась за восемьдесят километров от своего дома. Виолета обитала в табачной лавке



вместе со стариками родителями, зачавшими ее в семьдесят пять лет. Как она оказалась в Мелипиле, в заброшенном здании? Лунатизм? Никто не знал. Никто не хотел селиться в этом доме – его считали заколдованным. Виолета услышала голос: «Отрой меня, мамочка». Начав копать в саду, под ежевичными кустами, девочка наткнулась на мумию младенца. Коснувшись ее живота, трупик тут же прирос к нему – навсегда. Ее обнаружили, когда она брела, обнаженная, со своим мрачным грузом. Вернувшись домой, Виолета перестала есть и жила отныне в полной темноте. Несколько раз в году, в определенные дни, зубы мумии начинали скрипеть. Понемногу девушка научилась расшифровывать эти послания. Шли годы. После смерти родителей Виолета стала принимать клиентов, приходивших за советом по поводу болезней, краж, любовных неудач. Когда Геге встретился с женщиной, она не принимала пищи уже тридцать лет. Слепая Виолета жила одна, в пустой комнате, где стоял только крест, изготовленный из четырех пород дерева. Челюсти выдавали предсказания столь точные и определенные, что президент, повинувшись их требованию, купил дом в Мелипиле и подарил его прорицательнице. После этого он приставил к ней двоих охранников и стал единственным клиентом. Донья Виолета сообщала ему о тех немногих днях, когда челюсти соглашались пророчествовать – как в эту ночь. Хуан Нерунья, ты пропал! Где бы ты ни прятался, тебе не укрыться от всевидящего ока мумии!

В темном помещении пахло ладаном. «Не бойся бедной старухи, дитя мое, подойди сюда...» Он приблизился, двигаясь на ощупь. «Зажги свечу». Легкий стук подсказал ему, куда идти. Геге взял из рук Виолеты спичечный коробок. Почему каждый раз при встрече с ней он дрожит с ног до головы, он, Виуэла, первое лицо государства, который одним мановением руки может уничтожить кого угодно? Слабый огонек высветил старуху, с необъятным животом, прикрытым куском ткани. Рядом стоял крест из пальмы, кипариса, оливы и кедра. Старуха откинула покрывало. Геге, с волосами, вставшими дыбом – ни дать, ни взять черные шипы, – увидел морщинистое старческое тело и крошечную мумию. На ее иссохших

губах обозначилась улыбка. Глазницы не были пусты: оттуда глядели кошачьи глаза. Настоящие или стеклянные? Геге так и не узнал: начиная с этого момента, он видел все как бы в тумане. «Это дитя заслужило хорошей могилки... Отними его от меня, Геге!» Президент неохотно засучил рукава фрака, ухватился за живое теплое тельце и потянул, весь исходя потом, пока предсказательница стонала изо всех сил. Наконец, он оказался сидящим на полу с ребенком на руках. Донья Виолета раздвинула ноги; между ними виднелась щель, обрамленная губами, которые раскрывались и заворачивались наверх, словно резиновые. «Засунь его ногами вперед и толкай, мой славный могильщик». Геге вложил ступни мумии между губ, в своем движении порой достигавших пупка. Усилий не потребовалось: младенца попросту всосало. Снаружи остались одни поскрипывающие челюсти. «Видишь? Он благодарит тебя! Быстрее. Спрашивай, и он ответит. Но надо быть точным. Если вопрос покажется ему неясным, ты не дождешься ответа...»

Президент поборол непреодолимое желание вымыть руки и причесаться.

– Друг мой, скажи, пожалуйста: где скрывается поэт Хуан Нерунья?

Желтоватые зубы застучали: клак, клак, клак, клак-клак-клак... Старуха возгласила загробным голосом:

– Чтобы он дал ответ, нужно описать внешний вид поэта Хуана Неруньи, во всех подробностях и без ошибок...

Тц-тц-тц! Внимание! В последний раз он плохо сформулировал вопрос, и пришлось ждать следующего полнолуния. Хренова мумия! За кого она себя принимает! К черту капризы! Если он не получит ответа, то вышвырнет обоих на улицу! Хватит уже этого свинства. Грязная старуха, я тебя... Ладно, ладно, не будем торопить события. Спросим дипломатично еще раз. Последний раз... Кто имеет в себе силу, тот имеет, тут уж ничего не поделать. Когда он получил предупреждение о готовящемся взрыве на руднике в Чукикамате, туда послали двойника, и не зря: от двойника осталось одно воспоминание. Надо поспешить. От ненависти у президента

выворачивало кишки. Внешний вид Хуана Неруньи? Легко! Геге знает его не один десяток лет: толстый, жирный, задастый, зобастый... Но так ли это? Он не мог утверждать безошибочно, что поэт толст, поскольку никогда не видел того раздетым. Нерунья вечно кутался в плащи, пончо, длиннейшие шали из толстой шерсти. По правде говоря, он, Геге, был так озабочен собственной внешностью, что ни разу не удосужился пристально разглядеть своего помощника по части пропаганды. Да и зачем? Хватало голоса Неруньи и его демагогических виршей. Тело поэта издавало запах интеллектуала, то есть несвежего белья. Разговаривая с ним, лучше было отворачиваться в сторону. Кроме того, Нерунья, подобно Плотину, не любил собственных изображений. Пожалуй, не осталось даже снимков... Он целиком отдал себя Поэзии, хотел стать Поэзией, а она бестелесна. Поэтому он приходил на заседания Сената, прикрыв лицо своим знаменитым шарфом из викунии, сотканным индианкой... Нет, Геге не имеет ни малейшего понятия, как выглядит этот мерзавец... Что же сказать младенцу? Признаться во всем? Ни за что! Это значит потерять его уважение. Будем вести себя с достоинством!

– Эхм... Высокий, худой, с большим носом, почти лысый, три пряди на затылке в форме трезубца...

И президент набросал до мельчайших черточек портрет Непомусено Виньяса, образ которого четко запечатлелся в его мозгу. Говоря, он вдруг понял, что Нерунья, изгнанник, без лица, без бумаг, с недействительным паспортом, вычеркнутый из всех государственных ведомостей, не существует. А народу ведь все равно, кого преследовать – наглого старикашку или неуловимого изгнанника. Вот оно – решение! Можно сохранить лицо, выдав Виньяса за Нерунью! Один заплатит за проступки другого! Хуан Нерунья, ты лишен звания врага номер один, ты останешься никем!

Клак, клак, клак, клак-клак-клак... Пифия переводила на человеческий язык то, что президент знал и так: беглец направляется на юг и сейчас находится в нескольких сотнях километров от Талькауано вместе с группой авантюристов... Тишина. Новое послание... клак...клак-клак...

– Хуан Нерунья превратит свое падение в восхождение наверх, написав новую поэму: «Гимн горнякам». Благодаря ей, рабочие объединятся и свергнут тебя. Семь тощих коров идут к тебе, фараон!

– Хватит, вонючий труп! Никто не смеет называть меня фараоном!

Оскорбления прекратились, так как влагалище с громким «флак!» поглотило голову ребенка. Старуха издала крик наслаждения и стала пускать слюни. Свеча, словно пожираемая тысячью чертей, начала оплывать, и скоро комната погрузилась во мрак. Геге на ощупь пытался отыскать выход – бесполезно. Чтоб ее разорвало! Это уже слишком! Геге громко позвал охрану. Секунда – и в дверь ввалились двадцать человек с фонарями и автоматами.

– Сжечь дом со старухой, мумией, крестом, всем, что есть!

Притащили канистру бензина. Дом мгновенно вспыхнул. Его Превосходительство, уносимый «кадилаком» в направлении президентского дворца, обзванивал министров. Еще до того, как запоют петухи, должно быть готово объявление о розыске Хуана Неруньи, изменника Родины, с фотографией Непомусено Виньяса. А когда петухи пропоют, объявление должно быть расклеено на каждом доме и каждом заборе.

Жажда, голод, жара, усталость, дурные сны, я твой, сжался надо мной, перенеси жизнь через долину смерти. Толин спал и видел сон. Ноги его были воспалены, губы стали каменными, язык, забинтованный туго, как египетская мумия, лежал неподвижно внутри соляного саркофага. Гигантская пчела просунула свой хоботок ему между губ, изливая струю кипящего меда. Вспышка: с неба спускается тысяча ангелов в желтых туниках, насаженные на острие. Сейчас их поджарят. Но ураган рассеивает их, опаленных, ошипанных. Какой-то мертвец ударяет его по лицу; Толин пережевывает и глотает это мясо, мягкое, нежное, сладкое, словно у канарейки... Канарейки? Он ест канарейку? Изжаренную? О ужас! Нет, он не каменный... Он откроет глаза...

И Толин проснулся. Пыль и гной не давали векам разлепиться. Протирая глаза, он понял, что во рту что-то есть... Мясо! Он проснулся и жует то самое, мягкое, нежное, сладкое... Неееет!

Все спали. Кучи наваленных камней и кактусов давали какую-никакую тень. Один Га, присев на корточки, жарил что-то на вертеле. Вокруг него расстился ковер из желтых перьев. Онемевший Толин в отчаянии сунул палец ему в рот, измазавшись кровью и чем-то еще... Пока все отдыхали, это чудовище напоило Толина кровью его кенаров!.. Но ведь он не мог прикончить всех! Их были сотни! Тысячи! Где остальные? Заревев, Толин бросился на толстяка с намерением его задушить.

Все повскакивали на ноги. Оказалось, что Толин приготовил восемнадцать вертелов, по пять птиц на каждом: итого девяносто. Толин бессильно извивался, придавленный коленом гиганта, завывая, стеная, охая, сыпля ругательствами: выродок, каннибал, предатель, ходячее брюхо, ублюдок, гнусный убийца! Га невозмутимо закончил свое дело и гордо обвел взглядом товарищей. Затем протянул им лист агавы, где помещался добрый литр крови, и приступил к пожиранию своей порции мяса, жадно чавкая. Зум, истекая слюной, проговорил как можно более невинным тоном:

– Старинная мудрость гласит: «Если совершил грех, по крайней мере, умей им наслаждаться». Наш друг, без всякого сомнения, ранил сострадательное сердце Толина. Но поскольку грех уже свершился, давайте же приступим к поеданию этих превосходных птиц, которые, судя по золотистому цвету и... мммм... по запаху... уже готовы.

Поток слюны едва не помешал Зуму закончить речь. Приняв из рук Га свою долю, он с иезуитскими вздохами сожрал все до последнего кусочка. Не обращая внимания на дергающегося Толина, остальные последовали его примеру. Крови пришлось по четыре глотка на каждого. По окончании пира Га отпустил несчастного. Издавая свист и трели, тот помчался прочь. Но ни один кенар не показывался даже вдали. Исчезли навсегда?.. Как же иначе?! Он, Толин, ставший

для своих подопечных живым домом, теперь питается их плотью! Крестообразно раскинув руки, Толин застыл в неподвижности. Солнце иссушит его, стоящего здесь, и может быть, когда все уляжется, он снова станет насестом для пернатых.

– Приятель, ты получишь солнечный удар. Придется нести тебя на носилках, а это – лишнее время в пути. А нам нужно скорее попасть в Редуксьон, если мы хотим спасти свою шкуру.

Так пытался убедить его Лебатон. Бесполезно. Толин стоял под изнуряющим солнцем, нечувствительный к доводам.

– Во имя всех нас я не прошу, а приказываю. Не время давать волю чувствам. Сними штаны, которых нет, и размахивай ими перед быком. Считаю до трех: раз, два, два с половиной, два и три четверти...

Загорра могла бы дойти до двух и девятистот девяносто девяти тысячных. Толин оставался неподвижен. Внезапно Га ударил его с такой силой, что тот полетел носом в песок, и стал осыпаться пинками. Учитывая размер ноги колосса, каждый пинок мог сойти за два. Пришлось всем навалиться, чтобы оторвать Га от скрипача, рыдавшего, как ребенок.

– Оставь в покое кенаров, идиот! Они ведь не подушки на твоём диване. Они успели полетать над скалами и ущельями, закалили свои крылья, научились ловить червей, есть семена, добывать пищу из муравейников. Птицы оставались с тобой только из жалости: они стали хищниками, способными расклевать брюхо кондору! А ты ведешь себя, как принцесса, ни разу не выходившая из своей спальни. Да, я зажарил девяносто кенаров, чтобы освободить остальных! Научись жить как все! Ты можешь!

Избитый Толин не знал, что делать. Тут прилетела стая кенаров, повторявшая очертания человеческого тела, и, облетев три раза отряд, приняла форму птицы... Тысячи желтых комочков, словно направляемые единой волей, заставили гигантского кенара расправить крылья и махать ими. Потом, вытянувшись в линию, исчезли за горизонтом. Толин все понял. Им больше не нужен хозяин. Скоро в горах поселятся миллионы диких канареек... Что ж, тем лучше... Птицы

принесут плоды, из плодов получатся цветы, из цветов – листья, из листьев – ветки, из веток – стволы, из стволов – корни, из корней – плодородная земля, усыпанная семенами... Он поднял лист агавы и выпил свою порцию крови.

Видно было, что бревну осталось плыть недолго. Как только миллионы литров красной жидкости устремились в долину, увлекая с собой Сепеду и Атриля, наводнение прекратилось. Они оказались среди огромного сада, где цвели невероятных размеров фиалки. Цветочный аромат очистил воздух на многие километры вокруг; лепестки, пронзаемые солнечными лучами, отбрасывали удивительные пурпурно-лиловые тени. Пес носился, валялся на траве, принюхивался, дружелюбно полагивал на цветы, плясал, окруженный тучами пчел и бабочек. В ветвях деревьев – разноцветные вспышки – пели тысячи кенаров. Капитан вспомнил, как недавно был собакой. Побегать следом за Атрилем, мять траву, пить росу, кувыркаться, остаться здесь навсегда! Да, он жил до сих пор, заткнув нос, не ведая, что каждая вещь пропитана особым запахом, что, смешиваясь, они образуют сложные сочетания, что есть магнетические силы, подземные течения, прозрачные, сладострастные щупальца... Камни подают голос, песни птиц – особое наречие, все вокруг – хор, меняющийся с течением суток... Спасибо тебе, дон Атриль, за науку: лучше быть псом, чем карабинером! И капитан позабыл, для чего и почему он пришел сюда. Зеленые форменные брюки стали неотличимы от травы. В святом умиротворении он присоединился к сиесте, длившейся уже миллионы лет...

Но вот Атриль издал жалобный вой, поднял переднюю лапу и закаменел. Нет! Что за опасность может подстерегать их в этом благословенном саду?

Оглушительный рев заполнил воздух, и тринадцать вертолетов заслонили собой солнце. Прятаться уже поздно! Попайчик присел на корточки, поднял вверх руку, попытался остановить биение сердца, перестать думать, сделаться деревом, – но безуспешно. Старый солдат, сидевший внутри капитана, наставил на него указательный палец, призывая

помнить о присяге. На государственном гербе написано: Разумом или силой! Пачка денег – вот довод разума. Дубинка – вот сила. А он – частица гигантской железной перчатки, столп порядка, исполнитель инструкций. Если все карабинеры дадут себя сбить с толку своим псам, что станет с Отечеством? Чему учил тебя покойный Сепеда-старший, вбивая свои уроки сапогами? Не забывай о славных традициях! Традициях? Но каких? Взбираться по лестнице, непонятно зачем, и погибнуть, как последняя вошь? Заткни пасть, ублюдок! Прочь сомнения! Повинуйся Закону! Тебя муштровали для этого! Ты встаешь... Двигаешь руками... Будишь своего пса пинком... Прыжки и крики... «Сюдаааа!»... Отлично... «На помооооощь!»... Отлично... Смирно! Да, теперь это ты, карабинер хренов... Узнаешь себя? Узнаю!

Винтовые машины приземлились, измяв и поломав фалки. Пропавший обнаружен, а вместе с ним – след беглецов. Летающие шкафы были до отказа набиты солдатами, в каждом вертолете помещалось по одному дельфиндилу. Товарищи бросились на шею Сепеде с криком «Честь – это Родина!». Выгрузили цистерны с водой – поливать зубастых монстров. Те били хвостами, шелкали четырьмя рядами зубов и ревели, временами пропуская одно-два словечка по-английски, как говорящие попугаи. Попайчик с Атрилем уже никому не были нужны. Дельфиндилы взяли след и потащили тридцать девять человек за собой, вглубь пустынной долины. Американцы контролировали скорость их движения при помощи электрических дубинок. Охота началась.

Несомый на носилках двумя санитарами, вместе с Атрилем, прикорнувшим у его ног, капитан Сепеда делал титанические усилия, чтобы вновь перевоплотиться в собаку.



## **XIII. РОДИНА – ЭТО ХУАН! ХУАН – ЭТО РОДИНА!**

*Кто бежит вместе с лисицей, того преследуют гончие.*

**Уолт Дисней, «Приключения на Западе».**

*Ты хочешь этого? Или ты сам – это?*

**Песня Мачи.**

В сумерках, когда переход через сухую долину был почти завершен – до шахты «Гуанако» и близлежащей деревни оставался километр, – хлынул дождь, мутным занавесом отделивший бесплодную равнину от угленосных предгорий. Глинистая корка, покрывавшая тела, смылась, и во мраке новорожденной ночи забелела обнаженная плоть. Наконец, путники преодолели дождевую завесу и ступили на тропинку, петлявшую между угольных куч. За поворотом показалась деревня – но вместо ожидаемой темноты всюду сверкали огни. Море факелов! Похоже, ни один житель не спал. Некоторые из членов Общества кинулись искать листки, пусть и не фиговые, но сухой окрик Загорры остановил их на бегу:

– Нам нечего прятать от людей. Такими Господь выпустил нас в мир. Если в нас осталось что-то, достойное уважения, то нас будут уважать.

Рядом с ней немедленно стала Боли, и, конечно же, Лебатон, и Барум с Марсиланьесом, и Га, широко раскинувший руки, и Хумс, приглаживавший брови, и Зум, и все остальные. В первый раз Акк погладил черную собаку, а затем взял ее на руки – достаточно низко для того, чтобы по чистой случайности она прижалась к его лобку.

Рот Непомусено Виньяса был полон извинений – но он запрещал им облекаться в звуки. Поглядите, к чему привело его пустое тщеславие! Позор и смерть ждут каждого из них!

Его жалкий разум способен лишь на всяческие непотребства. Ему закрыт доступ в мир литературы – даже как продавцу газет. Его неуклюжему перу приличествует только туалетная бумага. Пусть ему отрежут руки, язык, ноги, лишив искушения писать с их помощью. А если остаться шахтером в этих местах? Возможно, из добытого им угля сделают карандаши для истинных поэтов, достойных благородного кастильского наречия... Да! Он растворится в гуще народа, вернется обратно в неизвестность, из которой, в сущности, и не выходил.

Перед ними стояли шахтеры со смоляными факелами в руках – шесть тысяч человек, и над ними – море огня, простиравшееся от деревни до шахты. Расступившись, горняки пропустили пришельцев, бесстрастно взирая на их наготу, молочно-белую в воздухе, почерневшем от угольной пыли... Дорога вела к кладбищу, где покоились искореженные куски тел. Сотни одинаковых холмиков, сверху – дощечки с именами: правописание часто хромало. Казалось, что каждая семья получала свою, строго отмеренную на весах порцию останков из общей груды. Неподвижная, молчаливая толпа была заряжена ненавистью. Непомусено Виньяс, приняв ее за похоть, не выдержал и, загородив собой Загорру, завопил: «Хваааатит!». Шесть тысяч голосов с убийственной яростью разом откликнулись: «Хваааааатит!». К Виньясу подошел мальчик, поглядел на него широко раскрытыми глазами, вынул листок и побежал между шахтерами, потрясая им. Скоро все узнали новость. Один, стоявший в первом ряду, разделся, остальные последовали его примеру, за ними – женщины, дети и старики. Раздался голос, настолько мощный, что эхо пошло гулять, отражаясь от угольных куч:

– Ура Хуану Нерунье!

– Урааааа!!! – отозвался шквал голосов. Мальчик, гордый собой, продемонстрировал листок поэтам. Под портретом Непомусено Виньяса имелась надпись, объявлявшая его предателем родины Хуаном Неруньей и назначавшая награду за его голову. Подписи: Геге Виуэла, кардинал Барата, министр обороны, министр внутренних дел и так далее.

Тощий шахтер вместе с двумя другими – такими изможденными, что, казалось, утратили возраст, – подошел к изумленному Виньясу, обнял его со слезами на глазах и, выискивая голос до крика, начал:

– Брат, поэт, товарищ...

– Брат!!! Поэт!!! Товарищ!!! – откликнулись шесть тысяч голосов.

– ...в этот скорбный час я, от имени всей деревни, приветствую тебя, рискующего жизнью, драгоценной жизнью, ибо ты – голос народа...

– Голос народа, Хуан Нерунья!!!

– ...Ты оказался здесь, чтобы поддержать нас, дать нам сил, оживить нас своей песнью. Обнаженный, как сама Истина, ты прибыл к нам – и, обнаженные, мы приветствуем тебя. Так же, как твои друзья, мы готовы следовать за тобой...

– Пусть наша смерть станет триумфом для Неруньи!!!

– Мы неграмотны, но эти двое, пораженные анкилостомиазом, научились читать твое стихотворение, и благодаря этому мы все знаем его наизусть.

И шесть тысяч человек принялись декламировать легендарную оду:

Обещаю, сыны народа:  
тот, кто славой дурной покрыт,  
никогда не увидит восхода!

– Да! Товарищ, друг, брат наш! Ты открыл нам глаза! И мы объявляем забастовку!

– Ура! Забастовка! Долой эксплуататоров!!!

– Взрыв рудничного газа разорвал на куски пятнадцать горняков. Это случилось не по небрежности, а из-за отсутствия техники. Вот уже много лет мы безуспешно пытаемся улучшить уровень жизни. Плохое питание, плохая одежда, плохие жилища, увольнения при каждом удобном случае: с нас довольно! Мы прекратили работу в пять часов вечера. Авиация, танки, пехота уже брошены против нас. Мы были готовы умереть так, чтобы никто не узнал. К чему нам

жизнь, если она – вовсе не жизнь? Но тут явился ты, Хуан Нерунья...

– Явился ты, Хуан Нерунья!!!

– ...и с тобой – голос возмущения. Нам сказали, что в изгнании ты сочинил гимн шахтерам. Мы хотим слышать его!

– Мы хотим слышать его, Хуан Нерунья! – воскликнули остальные, потрясая факелами.

– Пусть он запечатлется в наших сердцах! Пусть он летит от шахты к шахте, чтобы забастовка стала всеобщей! Если мы услышим твою поэму, то умрем не напрасно!

Воцарилось молчание. Двум калекам дали пачку желтоватой бумаги и карандаши. Толпа, затаив дыхание, была готова ловить стихи, срывающиеся с губ нагого поэта...

Непомусено Виньяс почувствовал начало агонии. Пятнадцать кучек лиловой плоти, женщины с отуманенным взором, шесть тысяч скелетообразных тел, зависящих от его слов, стены, на которых красовалось его нелепое лицо с тремя прядями, – все это заставило его внутренности сжаться, а мозг – отупеть. В пересохшем рту стало горько. Виньяс зарыдал... Прошла секунда – столетие, другая – еще столетие. Он хотел все прояснить, сказать: «Я не тот...», но ощутил дыхание сзади – настолько горячее, что оно едва не обожгло кожу. Га прошептал: «Только без глупостей, идиот. Попробуй сказать, что ты – не он, и мы костей не соберем. Читай поэму, мать твою». Читать? Но как? Вся его поэзия была лишь видимостью, нагромождением редких слов, почерпнутых в словарях. А теперь ему отозвалась слава Неруньи – отозвалась комедией, в которой Судьба решила сорвать с него маску. Он желал подвергнуться преследованиям? Его преследуют. Желал известности? Его узнали. Исходил завистью к народному поэту? Его превратили в Нерунью. И вот он стоит там, где всегда мечтал стоять, перед лучшей в мире публикой, ждущей чуда, – но он неспособен это чудо сотворить... Сейчас не до изысков в духе: *«Ланеголовый надменно-тупо мечет хвастливые стрелы в выпученное брюхо пустого завитка, что Ипсилоном зовется...»*

Сколько раз он обрушивался на Нерунью! Теперь, встав на его место, Виньяс понял, что это требует таланта, в котором

его рахитичной музе было отказано. О стыд... Он заслуживает четвертования... Нуль... Ничтожество...

– Давай, давай, – настаивал Вальдивия. – Это великий момент. Будь на высоте. Наконец ты можешь сделать что-то полезное. Смелее!

– Не могу!

– Надо!

– Я – кусок дерьма. Прости.

– Тряпка!

– Да-да...

– Ничтожество.

Охваченный отчаянием, хромец изловчился и пнул стихотворца ногой в ляжку. Обведя взглядом горняков, он понял, насколько велики их несчастья и надежды. Это наполнило его таким бешенством, что Вальдивия послал к черту свою застенчивость и одним прыжком очутился впереди, заслонив Виньяса.

– Товарищи! Мы пришли сюда, изранив ноги на каменистых тропах, ведомые гением, чью песнь жадно ловили до последней капли! В этот судьбоносный миг он, пострадавший от андских холодов, не может говорить. Но если вы согласитесь внимать моей скромной персоне, я прочту вам «Гимн шахтерам», вышедший из-под его пера.

Ответом ему были долгие, шумные, горячие рукоплескания.

Медленно, с лицом сжигаемого заживо, Вальдивия принял импровизировать:

Ты проходишь по штольням  
и по жилам моим...

И потекли стихи, по ритму и стилю совершенно неотличимые от творений Неруны, слагаясь в поэму, говорившую о страданиях народа, эксплуатации, предательстве Виуэлы, распродаже страны иностранным компаниям. Затем шли призывы к единению рабочих, всеобщей стачке, восстанию, возмездия и очищению. Оба калеки записывали ее со слуха, прерываясь, когда раздавались аплодисменты и крики «Ура

Нерунье!». Хромец продолжал со все большим энтузиазмом, позабыв обо всем и понемногу выпрямляясь. Между тем Виньяса повели к обитателям деревни, чтобы каждый мог обнять национального поэта. Прикасаясь к своему кумиру, жители рыдали: «Спасибо тебе, Нерунья!». Непомусено, красный от стыда, не мог ничего поделывать. Вернувшись на свое место, он напоминал вареного рака после прикосновений шести тысяч человек. Увидев его, Вальдивия онемел, не в силах закончить фразу. Силой земли... Силой земли... Колики в животе возвратили его в согнутое состояние. Силой земли... Горняки аплодировали, словно желая заверить чтеца: «Не страшно, если ты ошибешься... Ты – один из наших... Давай же...»

Хромоногий поглядел на Виньяса, как бык под ножом мясника. Тот прокашлялся и, под влиянием внезапного озарения, громовым голосом закончил:

Силой земли и моря,  
силою неба и солнца  
ты поднимешься вскоре!

Вальдивия упал в его объятия, и обоих оглушили овации.

Путники получили жалкие, но все же служившие прикрытием одежды, кофе, хлеб, бобы, вино. Их попросили помочь – поэму следовало немедленно размножить. Обедая, они переписывали стихи на бумаге разных сортов, ящиках, тонких дощечках. Как только этот труд был завершен, через горные ущелья послали гонца к другим шахтам, другим деревням. Скоро вся страна прочтет поэму, призывающую к мятежу. Виньясу стало ясно, что он навеки превратился в Нерунью и обречен сражаться до самой смерти: отступить некуда. Стало ясно и еще кое-что: отныне они с Вальдивией – единое целое. Тем лучше! Они вдвоем создадут зажигательные оды... Если выживут, конечно... Через несколько часов придут войска и раздавят их всмятку. Как сбежать, оставив на произвол судьбы братьев-шахтеров? Как отказаться от роли духовных наставников, раз войдя в нее? Грядущим поколениям будет интересно каждое их слово, каждый жест...

Дон Непомусено распростер руки, словно распятый на кресте. Из оцепенения его вывел клочок человеческого мяса, упавший на ладонь. Еле сдерживая тошноту, поэт посмотрел на шахтеров, стоявших с торжественным видом.

– Мы хотим, чтобы ты положил в могилу первый кусок плоти. Останки будут захоронены все вместе: это подчеркнет единство наших рядов.

Виньяс бросил то, что ему вручили, в общую могилу. Пока родственники, друзья и товарищи погибших делали то же самое, он попросил Вальдивию прочесть его «Траурную оду». Хромец бросил на приятеля уничтожающий взгляд и в течение десяти минут импровизировал длинную цепь метафор. Виньяс опять присовокупил три последние строки. Новая буря аплодисментов. Начали копать могилу, решив встретить солдат по пояс в ямах: все равно они уже покойники. Что остается безоружным? Только расстаться с жизнью! Сражение превратится в бойню, это вызовет возмущение рабочих по всей стране... Непомусено Виньяс уловил мысль на лету и с небывалым энтузиазмом, поплевав на руки, схватился за черенок лопаты:

– Да, товарищи! Мы едины и в жизни, и в смерти! Хуан Нерунья навеки с вами!

Могильщики выразили свою поддержку, бросив в воздух комья земли. Стоя в клубах черной пыли, поэт призвал все Общество цветущего клубня принести себя в жертву.

– Друзья, мы умрем со славой!

Лебатон взорвался:

– Лучше жить с честью! Мы не должны дать прикончить себя, пусть даже из благородных побуждений. Борьба не такая уж неравная! У них есть оружие, а у нас – яйца! В бой! Я был когда-то генералом и знаком с военной тактикой. Нас атакуют с помощью пулеметов, танков и бомбардировщиков – но мы сможем дать отпор! Я берусь организовать оборону, при одном условии: слепое повиновение мне!

– Согласны!

– Отлично... У нас в запасе один день. Будем рыть убежища в горах угля. Наш единственный шанс – во внезапном

нападении, которое позволит нам захватить танки с бронемашинами, чтобы затем уничтожить авиацию. Надо выделить группу добровольцев – они поведут солдат к шахте. Остальные – мужчины, женщины, дети, старики, больные – укроются в толще угля и станут дышать через трубочки. Когда атакующие ворвутся в деревню, мы выступим неожиданно для них. Кто готов зарыться в уголь, не пить, не есть, не спать?

Поднялся лес рук. Глаза генерала заблестели, и он обратился к поэтам:

– Кто готов помогать мне, пусть помогает. Все прочие могут отправиться в Редуксьон, время еще есть. Но подумайте: настоящий лев страшнее, чем на картинке. Если мы утратим фактор внезапности, нас превратят в бифштексы. Если хоть один засранец шевельнется, все пойдет насмарку. Я попытаюсь устроить чудо, с Божьей помощью. Кто тут робкий?

Загорра шагнула вперед и, обвив руками шею генерала, запечатлела поцелуй на его усах. Тот покраснел. Непомусено, освоившись с ролью Неруни, тоже чмокнул его в щеку; Лебатон из красного сделался бледным. Вальдивия раздавил пару угольков искалеченной ногой, показывая тем самым, что и она может послужить оружием. Га только и ждал того, чтобы броситься в схватку. Один за другим все выстроились подле генерала. Акк, посмотрев на товарищей с презрением, покрутил пальцем у виска:

– Самоубийство, ничего больше. Кто-то должен спастись, чтобы потом рассказывать: «Поколение пятидесятих жертвует жизнью ради тщеславия, замаскированного под героизм». Тсс... Я огорчен за своих читателей. Я остаюсь! Не спрашивайте, почему.

– За лопаты! – приказал Лебатон. И, взяв в помощники поэтов, он разбил местных жителей на группы, показал им, что нужно делать, распределил обязанности, раздал провизию, определил места для закладки динамитных зарядов, подготовил шахту ко взрыву и выдал каждому порцию бензина, чтобы в случае поражения каждый из восставших, обратившись в пылающий факел, уничтожил по солдату.



Акк, стоя на коленях, молился только для виду, уверенный, что он откроет глаза и увидит все то же самое. Пробыл последний час! Ни один небесный посланец не вытащит их из трясины. Он погладил свой живот, предчувствуя, как в него вонзится штык, протыкая кишки... На этом месте он с горечью возвел очи к небу. Поглядев на горные вершины, романист часто заморгал, словно желая стереть со своей сетчатки пятно – явившийся ему только что образ...

Подошли Рука и Тотора, а с ними – проворная старуха в белой тоге, на голове которой сидела крыса размером с фокстерьера. Но больше всего в животном поражала его поза: встав на задние лапки и скрестив передние, грызун поглядывал настолько умно, что показался Акку настоящим Буддой. Женщина была Гаргулей!

У шахтеров холодок пробежал по телу. Из поколения в поколение они слышали легенды о животных, наделенных сверхчеловеческими способностями, а теперь убедились, что верования предков содержали в себе истину. Без всякого сомнения, этот зверь был связующим звеном между ними и подземным миром... Именно так это понял Лебатон: он поцеловал высохшую правую руку сивиллы и двумя пальцами осторожно пожал протянутую лапку крысы в знак приветствия.

Спустившись по спине Гаргульи, зверек прыгнул на землю и принялся бить ее хвостом, поднимая облака черной пыли. Из шахты, расселин в скалах, кустов, угольных куч, трещин в стенах – отовсюду вылезли крысы. Еще несколько ударов – и живое море исчезло в потайных местах. Повелительница своих сородичей снова взобралась на голову старухи.

Га вынужден был дать пощечину Акку, повторявшему, стоя на месте, без конца одно и то же, точно испорченная пластинка:

– Вижу и не могу поверить...

Кардинал Барата, окруженный доверенными прелатами – то есть теми, к которым он питал меньше всего недоверия, – закончил молиться и уселся перед блюдом с дымящейся

ольей<sup>1</sup>, ожидая, пока чтец-бенедиктинец не прочтет отрывок из апокрифического евангелия. Этому невеже приказ явно пришелся не по душе – и он выбрал отрывок о том, как апостолы заткнули нос при виде гниющего трупа собаки, а Мессия, будто не слыша запаха, заметил, что у несчастной красивые зубы... Говорить о собачьей падали прямо перед завтраком! Какая мерзость! Впрочем, мерзости окружали его повсюду в монастыре. Чересчур усердные монахи со лбами, раскаленными от непрерывных молитв, – они стояли перед алтарем с пяти утра до девяти вечера, делая перерывы только на еду и необходимейшие ручные работы, – передвигались со скоростью молнии. Великолепный храм, изукрашенный мрамором и кованым железом, был разрушен пушками и заменен сараем из кирпича-сырца, камня, соломы и дерева; вместо органа звучал простецкий колокол; вдоль стен цвели лапегерии, маргаритки и мята. Да, мята вкупе с лавандой, которые можно встретить на любом лугу! Вот вам перестройка: утонченное превратили в вульгарное. Есть ли разница между этими постройками и сельскими хибарами? Никакой! Но, в конце концов, чистота, порядок, простор... Кардинал понюхал олью голубоватого цвета. Свежий ветерок с Анд рождал у него волчий аппетит. Несомненно, четыре повара-европейца приготовили нечто редкостное. Ммм... Бенедиктинцы знают толк в еде и делают несравненные вина, колбасы, копчености, не говоря уже о пирожных. И вот – конец молитвам, стоянию на коленях, поклонам... К черту все это! За стол, за стол! Добрая пища – зерно всего! Тут Барата прикусил язык, так как и вправду увидел зерна: маис с томатной подливкой плюс немного картофельного пюре. Как?! Эти болваны едят то же, что и простонародье? Они приехали из Европы, чтобы сдать на милость местному гастрономическому убожеству? Нет, кардинал не осквернит своего рта этим мужицким блюдом! Надо поговорить с властями: зараза проникла даже в это уединенное

---

<sup>1</sup> Горячее блюдо из мяса с овощами.

место. Обед с привкусом леворадикального памфлета! Как?! Вместо вина – тамариндовая вода? Сомнительные лепешки вместо французской булки? Сухощавый церковник с шумом задвигал челюстями – так, словно ему запретили говорить, – выказывая тем самым свое безграничное презрение, однако голод заставил его проглотить немного пищи – подлинное оскорбление для изысканного нёба. В довершение всего, эти бесстыдники прямо нарушали правило святого Бенедикта, гласившее, что в качестве новостей извне должны зачитываться только папские речи: в монастырях поэтому не допускались ни радио, ни газеты с журналами. А между тем чтец зачитывал статью из «Сигло» – левой газетенки! – о событиях на шахте «Гуанако». Шесть тысяч рабочих – подонки, анархистские каналы, а не рабочие! – окружены войсками... Затем таким же спокойным тоном монах перешел к чтению стихов предателя Неруны. «Гимн шахтеру»! Кардинал поперхнулся и отрыгнул белую кашицу на тополевы стол. Ему тут же подали воды. По возвращении в столицу он немедленно свяжется с самим Его святейшеством. Или аббат свихнулся, или югославы оплели его!.. Барата, однако, решил пригасить свой гнев, дабы проследить, как далеко зашло разложение в стенах обители. Все перешли в церковь. Что за неуважение: снова сарай из камня, соломы и глины! Сейчас григорианские песнопения успокоят его разум и желудок... Что? Что?! Что?!!! Они берутся за гитары и наигрывают испанские мотивчики с чилийскими вариациями!.. Еретики! Эта месса, если не черная, то уж точно красная! Довольно! Кардинал поднялся с намерением прервать церемонию, но еще до того в церковь вошли четыре повара, толкая тележки с сухими пайками. Аббат и монахи прекратили музицировать, расхватали пакеты и, как один, устремились наружу.

Его преосвященство наконец-то выпалил: «Святотатцы, обещаю, что вы будете отлучены!», но ни один бенедиктинец не обратил на это внимания. Из-за стен послышался шум мотора. Забыв о достоинстве своего сана, Барата подхватил расшитые полы сутаны и побежал в поле, высоко вскидывая ноги.

Монахи заканчивали посадку в старенький трехмоторный самолет. На борту виднелась надпись: «Загорра №1». Винты вращались вовсю. Барата, не помня себя, бросился к кабине, где в пилотском кресле уже сидел аббат. С риском сорвать голос он прокричал:

– Куда бежите, отступники?

Округлый настоятель, с фанатичным блеском в глазах, ответил:

– Мы не бежим, а выполняем свой долг! Мы должны быть от мира, ибо мы в мире. Мы – там, где распинают!

И дернул рукоятку на себя. Чихая и кашляя, стальная птица покатила по лугу и после тридцати подпрыгиваний оторвалась от земли и улетела на юг. Экипаж в черных рясах повторил слова мессы, завершая тем самым богослужение.

Лебатон приказал копать траншеи вокруг деревни и расставить мешки с углем, изображающие часовых. Чтобы привести нападающих в ярость, повсюду, где только можно, воткнули палки с лоскутами красной ткани. Пока шахтеры в своем большинстве затаились, дыша через трубочки, или, не выдержав тягот, умерли – это станет ясно только в момент атаки, – сто наиболее подвижных вместе с членами Общества ждали в главной галерее, готовые рассыпаться группами по четыре и заманивать противника.

Танки заняли стратегические позиции, позволявшие им держать под обстрелом весь поселок. Пока что войска двигались вдоль баррикад, наставив на чучела винтовочные и автоматные стволы. Прибытие дельфиндилов вызвало испуг, причем с обеих сторон. Американцы еле-еле удерживали их на поводках. Твари били хвостами и угрожающе скалились в сторону шахты. Настигнув дичь, они не оставят ни одной целой косточки! Попайчик с Атрилем укрылись в медицинской палатке и притворились спящими, чтобы не принимать участия в бойне.

Люк одного из танков, скрипя, открылся. Оттуда вывалилась туша генерала Эркулеса Молины, изо рта которого, в свою очередь вывалились слова, вперемешку с плевками и гримасами отвращения:

– Слушайте, изменники Родины: правительство сыто вами по горло! Мыотрежем вам воду, электричество, газ, яйца и член! И, кроме того, когда вы сдадитесь, понизим зарплату! Кто сеет недовольство, пожнет возмездие! Мне не терпится увидеть вас кишками наружу: «пожалуйста, прикончите скорее мою матушку»! Не терпится увидеть вашу кровь! Но, согласно полученному приказу, я обязан дать вам срок в семьдесят два часа, в течение которого вы должны вернуться к работе.

И лающим голосом он приказал выстрелить из орудия в воздух.

Внутри шахты эти слова вызвали замешательство: план Лебатона был основан на немедленной атаке со стороны противника. Многие, особенно дети, не смогут выдержать столь долгого ожидания и, вероятно, выйдут из своих убежищ, уничтожая тем самым фактор внезапности. Генерал обратился ко всем:

– Я хорошо знаю этих дерьмовых генералов: чучело, которое командует войсками, больше всего боится нарушить приказ. Поэтому он прождет положенные трое суток. Единственные, кто рвется в бой, – это дельфиндилы. Нам нужно, пусть и рискуя нарваться на пулю, выйти из галереи и раздранить этих зверюг. Вперед, паяцы! Кто не боится – тот рехнулся, а нам таких не надо!

И генерал, не оглядываясь назад, бегом пустился навстречу врагу. С дрожью в ногах, уколами в печенке и пупырышками на коже остальные последовали за ним. За Виньясом бежали двое калек, пытаясь обогнать его и заслонить от шальной пули. На полпути лже-Нерунья решил замедлить ход и дать обойти себя, чтобы не обидеть своих «защитников». Когда все добежали до конца поля, на них было наставлено девятьсот стволов.

Эта многоствольная гидра так ужаснула Зума, что его паника перешла в эйфорию. Он стянул дырявые штаны и повернулся к генералу Молине задом. Багровый от стыда, он ухитрился издать такой громкий пук, что совершенно заглушил рев дельфиндилов. Американка достала из своей

прически сухую гвоздику, зажала ее между зубов и принялась выступать испанским шагом, поднимая клубы пыли в форме туза пик. Барум сжала свои груди так, что они превратились в два красных мяча. Хумс потрясал яйцами кондора, угрожая метнуть их вместо гранат: пальцы, лежащие на курках, угрожая хрустнули в ответ. Лаурель Гольдберг, ставший на время Ла Роситой, рылся в своей памяти, подыскивая самые крепкие трактирные ругательства. Деметрио, исходя пеной, делал вид, будто имеет неприятельского генерала в лице черной собаки. Га мастурбировал, повернувшись к танкам. Боли и Загорра, застыв неподвижно перед строем солдат, выказывая им свое глубочайшее презрение, тогда как Толин, Акк, Марсиланьес, Виньяс и Вальдивия изображали военный парад убогих и увечных.

Лебатон вступил в безмолвную дуэль взглядами с Эркулесом Молиной. Оба прилагали усилия, чтобы на глаза не навернулись слезы. Четыре раскаленных зрачка приковали к себе всеобщее внимание. Даже дельфиндилы перестали фыркать. Стоя навытяжку, оба понемногу задеревенели, стали пошатываться, все больше приподнимая распухшие и покрасневшие веки. Пот катился по лицам дуэлянтов, менявших цвет: розовый – гранатовый – белый – желто-зеленый. Кто-то должен был уступить. С криком «Сукин сын!» Молина поднес руку к глазам и, протирая их, приказал, лопаясь от гнева:

– Выпустить животных на этих уродов!

Легкий укол – и дельфиндилы кинулись на противника. Солдаты не успели вовремя расступиться, и тварям пришлось прогрызать себе дорогу сквозь человеческую массу. Члены Общества Клубня, подхватив Лебатона (тот считал, что способен загипнотизировать хищников одним взглядом) припустили к шахте. Впереди колесом катился Вальдивия, не решаясь довериться одним ногам. Виньяс же, намеренный сохранить остатки былой элегантности, роковым образом оступися. Один из монстров, обнажив клыки, сразу же избрал его своей добычей. Вой дона Непомусено был недостойн поэта-лауреата. Инстинкт самосохранения заставил его свернуться калачиком. И не зря: с первой попытки зверь

ухватил зубами лишь воздух. Один из калек дал Виньясу пинка с силой, какой никто не заподозрил бы в его иссохшем теле. Другой с криком «Хуан – это Родина!» бросился в пасть дельфиндилу, перекусившему его пополам. Первый тоже побежал жертвовать собой; что же касается монстра, тот в считанные секунды пожрал бездыханные останки. Певец народа, щипая себя за ягодицы, чтобы нестись быстрее, скрылся в шахте. Остальные уже были там. Сзади приближались разъяренные хищники и американцы с пистолетами, готовые вышибить мозги каждому на своем пути.

Генерал Молина, выпитив подбородок и грудь, обвел взглядом свое войско:

– Такой конец ждет всех предателей!

Рев, доносившийся из галереи, перешел в вой, затем в стон и, наконец, в тишину. Из темноты возникли паяцы, окруженные кольцом шахтеров. Они бросили в сторону солдат тринадцать хвостов и тридцать девять голов, готовые при первом же выстреле убраться обратно под землю.

Но как, – спрашивал себя генерал Молина, – как эти проклятые недоноски сумели расправиться с почти неуязвимыми тварями, которых направляли профессиональные убийцы? В полной уверенности, что Сталин вооружил неприятеля до зубов, снабдив его слонотиграми, волкоскорпионами и бог знает кем еще, Молина решил не терять времени.

– Сукины дети! Вы подняли оружие против славной чилийской армии и потому заслуживаете наказания. Трехдневный срок сокращен до пяти минут. Требую капитуляции – иначе от шахты вместе с мужчинами, женщинами и детьми ничего не останется. Объявляю, что в любом случае за каждого американца будет казнено десять шахтеров. Расстрел ждет также генерала с глубоким взглядом и мелкой душонкой, как и всех его приспешников. Отсчет начался. Прошла уже одна минута!

Лебатон подавил улыбку: за десять секунд до конца назначенного времени они побегут обратно, а следом бросятся в атаку солдаты. Превосходно.

– Прошло две минуты!

Хумс, окруженный отрезанными головами, не удержался от сравнения себя с богиней Кали в ожерелье из черепов – творящим и разрушающим началом. Глухие удары в области груди, вроде барабанных, вывели его из медитации. Это не мог быть стук его сердца: после жуткой подземной резни оно билось спокойно, как у Конфуция перед смертью. Сунув руку под рубашку, он испытал прилив материнской нежности: яйца кондора раскалывались.

– Прошло три минуты! Солдаты, цель-ся!

Загорра заметила какой-то блеск, приставила руку ко лбу. Святые небеса! Металлическая трубочка покачивается! Этого еще не хватало! Лебатон вот-вот одержит победу, а тут ребенок или старуха, потерявшие надежду, готовы все погубить. Недолго думая, она устремилась к угольной куче, подняла уголек и кинула в солдат, скрыв кусочек металла под своим каблуком...

– Прошло четыре минуты! Танки! Орудия к бою!

Лебатон галопом поскакал к Загорре, взял ее на руки и приказал сейчас же укрыться в шахте. Солдаты примкнули штыки, загудели моторы танков и бронемашин. Времени не оставалось. Они вдвоем никогда не достигнут галереи. Генерал стал, как вкопанный, опустил женщину на землю и поцеловал. Между губами словно пробежал электрический разряд. Через секунду их превратят в решето.

Монахи пели «*Miserere mei Deus*», взывая к милости Божьей на случай, если полуживая машина доставит их не к шахте, а к месту вечного успокоения. Аббат, до вхождения в лоно церкви бывший профессиональным летчиком, препоручил себя деве Марии, ибо она, вознесшись на небеса, умела летать и, следовательно, могла направить его руки, лежавшие на рычаге. Эта мера оказалась слегка чрезмерной, но вполне действенной: рыская, ныряя и раскачиваясь, самолет доставил их к месту назначения. И вовремя: там, внизу, расположились войска в боевой готовности. Надо было торопиться. Аббат спикировал – монахи за его спиной хмельными голосами затянули «*Alma redemptoris mater*», простительно фальшивя, –



и посадил аэроплан на брюхо, из-за чего отвалились колеса, крылья и несколько зубов.

Среди хлопьев черного дыма показались монахи. Потрясая распятием, они раскинули руки и встали между враждующими сторонами. Лебатон и Загорра, воспользовавшись этим, скрылись в черном зеве. Аббат возвысил голос:

– Стойте, христиане! Во имя божественного милосердия не допустим новой Голгофы!

Солдаты встали на колени, принимая благословение. Даже Эркулес Молина перекрестился, сглотнул слюну и перестал думать. Если он продолжит упорствовать, придется пройти по трупам этих монахов. В общем-то, они это заслужили. Но – НО – семьдесят два часа еще не истекли. А приказ есть приказ! Янки не подчинялись генералу; его могут обвинить в том, что он приказал отразить нападение, не направленное против чилийской армии... А если при этом истребить монахов, он потеряет не только честь и жизнь, но и вечное блаженство. Лучше подождать. Ему больше нравилась идея расправиться с мерзавцами, имея закон на своей стороне.

Невинные бенедиктинцы! В желании спасти восставших они обрекли их на гибель! Лебатон нервно покусывал кончики усов. Нежданная помощь расстроила его планы. Этот нерешительный Молина вновь отложил выполнение приказа. Никто не выдержит трое суток! Загорра грустно поведала, что, перед тем как покинуть монастырь, она отдала свой самолет монахам. Аббат, после памятной бомбардировки, дал слово создать группу летающих священников, дабы донести до Бога мольбы, не слышные ему из-за шума выстрелов...

Га предложил кое-что сделать и, не дожидаясь ответа, направился к выходу, вертя в руках топор. Зум, промывчав: «Смилуйся, Господи», поплевал на ладони и закатал рукава. Барум выкрикнула своим цирковым голосом: «Вперед! Все равно нас найдут!» – и паяцы, точно наэлектризованные, бросились на монахов.

Га, выхватив у аббата распятие, изрубил его в куски. Его товарищи, изрыгая проклятия в адрес девы Марии, ворвались

в толпу монахов и смешались с ними, поскольку началась стрельба. Солдаты старались не попасть в служителей Господа, и поэтому всем удалось целыми и невредимыми добраться до шахты. Атака получились свирепой: танки, не находя себе живых мишеней, разнесли деревенские дома со всем содержимым.

– Танки не оставят здесь камня на камне. А вы – быстро к шахте! Эти ублюдки сгрудились там, как крысы. Живыми не брать! Уничтожить всех до единого! Так приказываю я, генерал Эркулес Молина!

Издав устрашающий вопль, солдаты как один понеслись к жерлу шахты. Но не успели они добежать, как зазвучала сирена и из-под земли выросли шесть тысяч призраков, вооруженных пиками и колями. Несмотря на град пуль, им удалось потеснить нападающих. Молина, в восторге от вида разбрызганных мозгов, рявкнул:

– В шахту, трусы! Там безопаснее! И стреляйте!

Войско повиновалось...

Их были миллионы: шерстистые, влажные, огромные, с яростью в глазах, зубами-клинками, железными хвостами, – и леденящим душу визгом. Не успели военные вскрикнуть от ужаса, как утонули в море крыс.

Серый потоп захлестнул танки, пушки оказались забиты телами животных. Горняки окружили машины, угрожая поджечь их, если танкисты тотчас же не сдадутся. Но когда из люка показался Молина с поднятыми руками, его все же разорвали в клочья вместе с экипажем танка. Бронированные чудовища уже превратились в факелы, когда появился Лебатон с приказом:

– Всем спрятаться!

Под визг бомб и снарядов в небе показались три военных самолета. Лебатон объяснил Га, Деметрию и Толину, как обращаться с танковым оружием. Эстрелья Диас Барум, получившая кое-какие военные познания во времена ломания костей, взяв под опеку Загорру, Боли и Американку, первым же выстрелом поразила самолет. Генерал призвал своих подчиненных не пасовать перед лицом женщин. Второй танк

пролаял несколько раз, и запылал еще один бомбардировщик. Третий, развернувшись, убрался туда, откуда пришел.

Победные крики заставили горы содрогнуться. Все пустились в пляс, целуя крыс в мордочки. Зум вальсировал, держа на руках целый выводок грызунов. Га кружился в центре хоровода из детей и крыс. Монахи убирали обломки, ища стол, но им пришлось удовольствоваться деревянной дощечкой, положенной на два камня. Она стала алтарем. Нижняя часть бутылки послужила чашей, в две банки из-под сардин налили вино и воду. Восковые свечи заменили горящими угольями, распятие – настоящей рукой, пригвожденной к импровизированному кресту. Началась зауспокойная месса, и все замолкли. Голос аббата словно окреп. К молящимся приблизились двое с носилками в руках, неся изваяния пса с тремя лапами – передняя была задрана кверху – и сидящего на корточках карабинера, тоже воздевшего руку к небу. Псиная морда и человеческое лицо были совершенно одинаковы, как у близнецов. Черная собака вырвалась из рук Деметрио – тот бросился следом за ней, взывая: «Ко мне, Медуза!», – и принялась лизать теплую шерсть сородича. Продолжительные горячие ласки вернули Атриля к жизни; он опустил лапу и улыбнулся даме, подставившей его ноздрям – большое одолжение – свой зад. От ее запаха кожа под шерстью Атриля пошла алыми пятнами. Медуза повертела головой и поглядела назад: мол, чего ты ждешь? Оба повалились на алтарь в радостном совокуплении. Внимание всех было обращено на эту пару, устроившую празднество жизни после траурной церемонии, и никто не заметил, как ожил капитан Сепеда.

Пройдя за спиной у бенедиктинцев, Деметрио приблизился к черной собаке, облизавшей его на прощание. Оба пса завывли, охваченные экстазом, в глубоком единении с крысами, людьми, горами, небом. Попайчик рядом с Деметрио ожидал конца соития. И вдруг, точно испытал озарение, он понял, что навеки связан с этим миром. «Долой карабинеров, привет вам! Я – там, где мой пес! Куда он, туда и я!» И, сорвав нашивки с мундира, экс-капитан вручил их Лебатону. На собак

вылили ведро воды, и они, разъединившись, стали играть под ногами у толпы.

Хумс встал перед алтарем: «Теперь я отец», – и вынул из пазухи двоих птенцов: белого самца и черную самку. «Я назову их Инь и Ян». Посыпались поздравления. Порыв ветра с Анд донес до птиц трупный запах. Запищав во все горло, они попытались взлететь с мягких ладоней, но упали на бурюю землю и побежали к останкам, чтобы набить рот солдатским мясом. Шахтеры увидели в этом предзнаменование своего грядущего триумфа. Последовал взрыв ликования, вскоре прерванный Лебатонем. Тот приказал всем прерваться на трехчасовой сон: будущий день обещал быть долгим и трудным. Эти два слова вызвали у Ла Роситы язвительный смешок. Негодующий фон Хаммер завладел телом Лауреля и принес генералу извинения. Наконец, несколько тысяч человек захрапели, лежа вповалку под луной. Одна Американка, соорудив треугольник из срезанных волос, пела колыбельную старой крысе, прикорнувшей у нее на груди.

Тремя часами позже в лагере кипела лихорадочная деятельность. Мертвые были похоронены, бенедиктинцы сновали между могилами, совершая траурную церемонию. Шахтерам раздали трофейное оружие и боеприпасы. Предстоял ночной поход до места следующей битвы. Поэма Неруни будет становым хребтом революции по всей стране. Пока поджигали шахту, генерал обратился к своей армии с такими словами:

– Свобода добывается кровью. Кто побеждает при помощи клинка, будет рассечен на части. Давайте молиться Господу с оружием в руках. Стая летящих воробьев лучше мертвого орла. Мы невелики, но сумеем съесть большую рыбу. Мы идем неверной дорогой, и потому достигнем цели. В ответ на каждый удар палкой мы осыпьем противника тысячью щепок. Наша ласточка сделает весну...

Рабочие-воины зааплодировали. Лебатон простился с друзьями:

– Дальше я с вами не пойду. Если я покину этих людей, Виуэла их уничтожит. Уверен, что под моим командованием

они установят в стране новый порядок. Пришло время расставания. Рука и Тотора отведут вас в Редуксьон.

Загорра гордо стала возле него. Не глядя друг на друга, они сцепили пальцы рук. Непомусено Виньяс, возгласив: «Хуан Нерунья – голос народа! Где народ, там Нерунья!» – присоединился к генералу и с облегчением вздохнул, когда к ним подкатился Вальдивия. Попайчик преклонил колени: «Я не могу стать львиной головой, но буду волоском на хвосте. Меня научили подчиняться и выполнять приказы. Я давно искал вожда и друга одновременно – и нашел. Расстреляйте меня или примите к себе. И что бы вы ни решили, спасибо вам». Виньяс, желая быть центром происходящего, распахнул объятия и заключил в них капитана от имени Поэзии. Попайчик свистнул, подзывая Атриля, – тот все облизывал черную собаку. Деметрио высвистал Медузу... Собаки повертели головами по сторонам. Самка, слегка укусив переднюю лапу кобеля, потащила его к поэту. Попайчик пришел в отчаяние: кому признаться, что это животное – его повелитель? Он воздел руку к небу и, проговорив «Не оставь меня ни ночью, ни днем», окаменел. Атриль, подбежав к хозяину, весело запрыгал вокруг него вместе с Медузой. Деметрио, сдержав растущую похоть, признал свое поражение. Никогда больше он не услышит влажного и жаркого «Да», которое издавала черная собака, выходя ночью по нужде... Отныне ему суждено погружаться в людские влагища, а единственное, доступное сейчас, к тому же неживое... Американка издала ликующее телепатическое «Yes».

Фон Хаммер хотел остаться с горняками, но Ла Кабра, желавший встретиться с Энанитой, Лаурель и Ла Росита отеснили его от командования телом. Пришлось покориться большинству. С ними уходили Боли, Га, Акк, Эстрелья Диас Барум, Аламиро Марсиланьес, Хумс, Зум, Толин, Деметрио и Американка. Гаргулья распрощалась с большой крысой – сопровождавшей теперь Лебатона – и вместе с индейцами повела Общество клубня к горному ущелью.

## XIV. СЕМЬ ТОЩИХ КОРОВ

*Чтобы убить птицу, надо сначала  
превратить ее в Феникса.*

**Эстрелья Диас Барум (из разговоров в кафе «Ирис»).**

Акк потрогал кожу на своем теле, тщательно очистил ее, содрал засохшие корки – память о ежевичных зарослях, – стряхнул кусочки камня, пинцетом выщипал волоски. Получилась идеальная поверхность для записи новой главы романа. Такое надо было проделывать постоянно – Сизифов труд! На этот раз Акк начал выводить слова вокруг пупка: пока прославленные члены Общества цветущего клубня углублялись в ущелье, предводимые Рукой и Тоторой, которые, накрепко сцепившись, прыгали от утеса к утесу, словно мифический восьминогий зверь, внизу, в угольной долине, сливались в сдержанно-радостную симфонию скрежет напильников, шлифующих сталь, рев винтов, рассекающих воздух, поступь танковых гусениц и глухое дыхание воинов-оборванцев, натирающих тело углем, чтобы остаться незамеченным в ночи. Поход к славе – или к смерти... Дальше упоминались чуть слышные шаги миллионов крыс, ковром покрывших землю, монотонное шествие грызунов, ходячее чистилище...

Внезапно на пафосные строки лег обильный плевок. Конечно же, это Га! Акк выказывал ему величайшую преданность – ведь толстяк спас ему жизнь, вытянув из водоворота. Но заходить так далеко все же не следовало...

– Хватит тут карябать! Пора идти. Мы не можем прохлаждаться, пока ты заканчиваешь свой бесценный труд.

Но Акк умоляющим взглядом добился того, что гигант взвалил его на плечо. Китайская пословица гласит: «Если ты спас кого-то, будешь заботиться о нем всю жизнь». Га, вырвав Акка из лап смерти, был теперь связан с ним неразрывной нитью милосердия.

Через несколько часов отряд оказался перед узкой и глубокой расселиной – создавалось впечатление, что она ведет прямо в ад. Посредине громадной серой мачтой торчал острый пик. Эстрелья Диас Барум первой расслышала шум приближающегося самолета – того, что повернул обратно. Выстрел из танка проделал дыру в его борту, и бомбардировщик рухнул на одинокую скалу. Насаженный на нее, он качался вправо-влево, точно убаюкивал погибших летчиков и солдат. Поэтесса кинулась к краю обрыва, желая получше все разглядеть, и чуть не полетела вниз, споткнувшись о камень. Тропические дожди придали ему вид почти правильного куба. Взволнованная Эстрелья подняла камень.

– Аламиро, давай: углем, карандашом, ногтями, чем хочешь, выведи на каждой грани этой изумительной геометрической фигуры слово ESPOIR<sup>1</sup>. Быстрее!.. Наконец я создам свою поэму-действие!

Оторопевший Марсиланьес, торопясь исполнить желание своей подруги, пока вдохновение не покинуло ее, поранил указательный палец и кровью шесть раз написал нужное слово. Женщина медленно, будто исполняя некий танец, разделась и выбросила свою одежду в пропасть. Затем раздвинула свои обширные груди, придав им вид перекладки креста.

– Положи между ними камень...

Марсиланьес повиновался. Эстрелья сжала его грудями, так, что до камня доходило биение сердца, и когда он потеплел, почти что ожил, с громким воплем бросила его в самолет. Куб, сверкая, преодолел немалое расстояние и попал точно в цель; аппарат потерял равновесие и устремился в черную бездну, ударяясь о скальные выступы, разбиваясь, теряя погибших пассажиров...

Все захлопали и как один воскликнули:

– ESPOIR!

Для Эстрельи время и пространство приняли новое измерение. Все замедлилось. Место, где лежал булыжник, поразивший цель, превратилось в центр, вокруг которого

---

<sup>1</sup> Надежда (*фр.*).

выстроились пропасти и горные хребты. От склонов откалывались окаменевшие раковины, соединяя свою древнюю белизну с чернотой пропасти, поглотившей самолет. Пыль вздымалась чувственными изгибами, невесомые трупы солдат вращались, участвуя в космическом таинстве... Еще медленнее... Центр горной страны достиг ее сердца, чье биение заполонило реальность-мандалу. Эстрелья знала, что растворится в поэме. Вселенский оргазм, издавна желанный... Она видела – и не могла этому помешать, – как винтовка выпадает из скрюченных пальцев солдата, летит вниз, стучается о карниз и выстреливает в последний раз. Выстрел расцвел ослепительной гвоздикой, и горячее свинцовое острие устремилось на поиски центра – на поиски ее груди. «Случайные пули всегда попадают в меня... Святая любовь...» Эти слова, памятные с детства, вписались во всемирный круг, сопровождая металл, миллиметр за миллиметром вонзающийся в ее плоть... Сердце разорвалось на куски; мир наполнился нежностью – океан, составленный из миллионов других океанов, непрерывно сочащийся спинной мозг, омывающий каждую клеточку, которая потом растворится в Вечности. Поэма была Богом... Уже начало темнеть. Левая грудь Эстрельи окрасилась красным. Самолет исчез на дне ущелья.

Пронзенная насквозь, Эстрелья повалилась на руки своему любовнику. Тот тщетно пытался заткнуть рану единственной рукой. Товарищи уже сбегались к нему. Из раненой груди вырвалась струя крови, оторвав Марсиланьесу кисть. На лице Эстрельи, прекрасном как никогда, застыла улыбка наслаждения; глубоко запавшие глаза говорили об оргазме, доступном только святым девам...

Безрукий рыдал, не находя ни в чем утешения, слизывал кровь с сосков возлюбленной, вырывался из рук Га, не дававшего ему броситься вниз, взывал о мести, бился головой о скалу... И вдруг с силой, свойственной лишь безумцам, подхватил тело поэтессы и стал пауком карабкаться по отвесной стене, помогая себе обрубком. Казалось, что вместо потерянной кисти у Марсиланьеса выросли щупальца, придавая



его движениям невиданную ловкость. Наконец, он нашел неглубокую выемку, положил туда тело и склонился над ним, захлебываясь слезами.

Всем стало понятно, что вместе с Лебатонем и Загоррой отряд лишился обоих командиров. Теперь кто-то другой должен был выступить от имени всех и успокоить Аламиро, убедив его продолжить путь.

Деметрио сразу же взял самоотвод: Американка поглощала все его силы. Требовалось ее «смазывать», наблюдать за давлением воздуха, удалять с языка фальшивые сосочки, содержащие в себе электронную программу самоуничтожения. Хумсу приходилось нести яйца, а Зуму – самого Хумса. Боли заявила, что Марсиланьес не слушает ее, как, впрочем, и любую женщину. Ла Росита, Ла Кабра и Фон Хаммер переругались, так что в мозгу Лауреля воцарился полный хаос. Та отвергли по причине феноменального отсутствия такта. Акк, выводив где-то в области печени очередное предложение длиной в две тысячи слов, с гордостью принял на себя бразды правления.

Не моргнув глазом, он проворно достиг углубления, рядом с которым несчастный Аламиро не переставал проклипать чилийскую армию, чилийский народ, мироздание как таковое и Господа Бога. С мягкостью, которую он обычно брал на вооружение, нападая на литературных врагов, Акк начал:

– Любезнейший друг, от имени Общества цветущего клубна приношу тебе самые искренние соболезнования... Мы все скорбим о случившемся, однако необходимо признать, вслед за Эпиктетом, бессмысленность борьбы с непоправимым. Будем объективны! Избавься от этого тела, уже принадлежащего Прошедшему! Мы не можем похоронить его среди этого каменного моря. Лучше всего бросить его в пропасть. Возможно, там, внизу, имеется болото... Твоя подруга растворится в нем, как мысль растворяется в сновидении.

Марсиланьес действительно бросил – но не тело, а камень, чуть не расколовший череп новоиспеченному предводителю. Акк, пятясь, словно рак, вернулся назад.

– Он пропал. Никто не сможет убедить его...

– Один человек сможет, – возразил Лаурель.

– Кто же? – хором спросили все.

– Эстрелья Диас Барум!

Молодой еврей сел на камень, скрестив ноги и выпрямив спину.

– Я поищу ее в ином мире... А пока поспите...

И он прикрыл веки.

Вечерело. Беглецы, измотанные, растянулись на земле, и скоро послышался звучный храп.

Лаурель научился опустошать себя: мало-помалу он избавился от своего тела, чувств и желаний, поставил надежную преграду на пути потока слов и ушел в глубины своего сознания, пока не стал безликой оболочкой, готовой принять в себя посторонний дух... До сего дня другие сами вселялись в него. Впервые он отправлялся на поиски иной сущности, – следовало ее уговорить, пересечь вместе с ней мрачную кислотную реку... Лаурель сознавал свою неготовность к этому. Он страшился того, что ему придется действовать посреди этой звездной магмы. Луна катилась по небу. Недалеко до рассвета... Лаурель никак не мог сосредоточиться. Внутри него не прекращался раздраженный шепот: он различал голоса Ла Кабры, немца и Ла Роситы, единодушно называвших Эстрелью нежелательной сожительницей. Они уже почти договорились о справедливом разделе тела Лауреля и не хотели, чтобы Эстрелья разрушила их планы. Кроме того, их бесило возможное присутствие самки с ее повадками.

К черту! Марсиланьес должен обнять свою любимую! Ощущая собственное бессилие, Лаурель прекратил медитацию и приоткрыл веки. Подле него сидела Боли, скрестив ноги и выпрямив спину. Она взирала на Гольдберга с испуганным блеском в глазах.

– Мы сделаем вдвоем то, чего ты не можешь один. Давай я помогу тебе. Не надо больше указывать мне путь: я пойду слепо за тобой...

– И я знаю, почему, – презрительно заключил тот. – Ты якобы полна жалости к Аламиро, но на деле хочешь воспользоваться случаем и отыскать своего вампира...

– Да, это так, не стану скрывать. Но я также знаю, что бесполезно охотиться за богом. Он является, когда сам того пожелает, и я тут ни при чем. Помогая тебе, я, по крайней мере, узнаю, каков из себя его мир.

– Ладно, к чему задаваться... Я не могу жить без тебя. Неважно, что тебе нужен другой. Мне полегчает. Иди сюда...

И оба впали в каталепсию, покинув свои тела, чтобы пересечь порог загробного царства.

Между тем Марсиланьес, всю ночь возводивший стену, которая превратила бы углубление в могилу, истощил запас слез. Он напрягся, извлекая из себя рыдания, но вместо этого зашелся в кашле. Туман безумия, сгустившийся вокруг него, рассеивался. Что-то не сходилось. Хотя прошло немало времени, тело не отвердевало. Да, оно было холодным, но плоть отчего-то не становилась жесткой. Марсиланьес приподнял верхнюю губу Эстрельи: во рту скопилась сладкая слюна. Приподнял веки: глаза совсем не остекленели. Он обнял тело, послушно сгибавшееся, согласно его воле... Ну, хватит иллюзий! Она умерла, а вовсе не заснула... И все же... ммм... Аламиро осторожно потрогал пальцем вход в ее лоно: божественный свод хранил прежнюю упругость. И тогда, трепеща от нежности и страха, он ввел туда свое напрягшееся естество. Стенки влагища облекли его, словно перчатка, и Марсиланьес извергся после шести движений. От наслаждения он зарылся носом в грудь усопшей. От сердца ее кругами шел стойкий фиалковый аромат. Он понял: Эстрелья скончалась как святая, и тело не будет разлагаться!..

Боли, путешествуя в неведомых мирах, привязанная к окончности флюида, чувствовала холод. Дрожа, она нашла себе убежище в радужном яйце – разуме Лауреля. Ненасытные сущности протягивали свои щупальца к серебряным нитям, чтобы спуститься по ним к двум уснувшим

телам. Но Лаурель, привычный к этому, распугал их желтыми лучами, и те разлетелись, прячась в плотных областях эфира.

Боли впервые постигла, кто такой Лаурель, раскрылась навстречу свету, и свет этот был жарким, чистым, полным доброты, безмерной настолько, что сила Аурокана показалась слабостью, а благодатное растворение в исходявших от Лауреля флюидах – насущной необходимостью. Как глупо было с ее стороны спутать жар с мистической преданностью! Она знала только тело Лауреля, да и то захваченное, порабощенное... И не понимала, что изгибы их душ идеально пригнаны друг к другу, как части головоломки. Боли подождала еще немного, сливаясь со светоносным овалом. Лаурель с наслаждением принял ее в себя, и оба поплыли по асфальтовой реке, поддерживаемые магнетическими разрядами своих тел, готовых раствориться одно в другом.

И они нашли Эстрелью, не пребывавшую нигде: светлая, солнечно-золотая, та вращалась вокруг собственной оси – красного, почти кровавого стержня, – не подозревая, что легионы голодных духов жаждут вцепиться в ее ауру и что едкое течение скоро растворит ее, навечно увлекая в неведомые глубины. Когда Лаурель вывел ее из экстаза, обстреляв стержень холодными лучами, последовал взрыв негодования. Что за нахальная эктоплазма посмела вырвать ее из райских куц собственного «Я»? Пришлось смирять ее силой. Тут Лаурель узнал, сколько отваги таилось внутри Боли: то, что выглядело фанатизмом и предательством, обернулось двумя острейшими лезвиями благородного клинка. Боли была прирожденным воином и, без сомнения, сражалась героически. Все стало на свои места: она – дар, а он, Лаурель, – вместилище для этого дара. Вместе они образовывали совершенную сущность. Понимая друг друга глубинно, подсознательно, оба действовали, как единое целое – и, наконец, заставили Эстрелью спуститься с ними по одной из серебряных нитей.

Открыв глаза, они решили, что промчалась тысяча лет. Все изменилось: несмотря на преклонение Боли перед Аураном, они с Лаурелем отныне были крепко связаны между

собой. Губы их потянулись друг к другу. Но что-то было не так: рот женщины поменял очертания, язык отвердел, вкус слюны сделался иным, тело раздалось вширь, дыхание стало шумным. Лаурель отпрыгнул назад: еврейка стояла, широко, помужски расставив ноги, выпятив заметно попышневшую грудь, хрипло прокашливаясь, встряхивая воображаемой огненной гривой. То была Эстрелья Диас Барум!

Товарищи поспешили к ней и утопили в объятиях, не задумываясь ни на секунду, что перед ними – тело Боли. Акк, в качестве вождя отряда, не мог себе позволить отдаться на волю сомнений. Но все же он отделился от энтузиастов и подошел к «воскресшей».

– Послушай... Безутешный Аламиро Марсиланьес покоится за стеной из камня, закрывающей вход в пещеру, прилипнув к бездыханному телу возлюбленной, с твердым намерением стать главным угощением на пиру могильных червей. Только ты можешь спасти его. Давай же...

– Нет ничего проще – прогремела поэтесса.

И, раздевшись, она повернулась в сторону пресловутой выемки в скале, чтобы проделать свой коронный чревоущательский номер. Однако небольшие нижние губы Боли не были приспособлены к этому, а мышцам не хватало тренировки. Щель едва-едва приоткрылась, и оттуда раздался голос сгорающей от желания самки:

– Я снова с тобой, глубокая и пустая, как никогда раньше! Наполни меня!

Лаурель прикрыл ей одной ладонью рот, а другой – лоно. Использовать тело его любимой – пусть, но он не позволит издеваться над ним! Аламиро Марсиланьес может сожительствовать с душой, но не с приютившим ее телом. Эстрелья одним ударом кулака освободилась от стеснительной опеки. Лаурель повалился на товарищей, и тем пришлось выдвигать кульбиты, чтобы не потерять равновесие и не рухнуть в пропасть.

По горам пронесся аромат фиалок: добровольный пленник ломал возведенную им стену. Со спокойной улыбкой он вышел, неся на плечах драгоценное тело. На белой коже

розовела неистово зализанная рана. Ловко помогая себе култей, уже привычной к скалолазанию, Марсиланьес без посторонней помощи легко достиг карниза, где его ждали все остальные. Так же спокойно, как спускался, он уселся на камень, положил перед собой останки возлюбленной, протянул руку к ее холодным плечам и нежным, но непреклонным голосом произнес:

– Я слушаю...

Эстрелья не понимала, почему этот глупый Марсиланьес так прикован к ее широкобедрому, грудастому, слоноподобному телу. Ее тонкой, почти детской душе было куда приятнее пребывать в нынешней оболочке...

– Аламиро, немедленно выкинь в пропасть этот труп... Тебе он ни к чему... Вот она я, прекраснее, чем прежде, в новом, замечательном теле!

Марсиланьес левой рукой стукнул себя по правому плечу и сделал обрубком непристойный жест. Затем, подняв заостренный камень, потряс им, словно кинжалом:

– Я знаю, о чем ты думаешь. Глупец – совсем не я... На пути нашего счастья всегда вставала твоя мелкая душонка. Теперь я могу сказать это вслух: Плевал я на поэзию! Меня притягивало твое тело, оно одно – и сейчас я обладаю им, не делюсь с тобой.

– Как ты смеешь?! Ты надругался над моей плотью, несчастный калека! Разорви ее на кусочки, брось грифам! Пойми, быть бестелесным духом – это настолько лучше...

– Да, для твоего нарциссизма так лучше. Но я предпочитаю видеть тебя послушной куклой. Твое тело будет повиноваться всем моим желаниям... И никаких стихов...

– Но...

– К черту все эти «но»! Кто попытается отобрать у меня покойницу, тот сам покойник! Разойдитесь! Дайте пройти! Я отомщу за нее, сражаясь вместе с Лебатомом против преступной армии! А вы продолжайте свой бесконечный путь. И хватит трепать друг другу нервы.

Аламиро Марсиланьес взвалил на плечи возлюбленную – с растопыренными руками, обнаженная, та походила на

гигантский крест, – и скрылся в лабиринтах ущелья, идя на встречу Революции.

Жители Антофагасты с мешками в руках спешили к побережью. Вокруг них тучами вилась моль, заполонившая улицы, сбегавшие к воде. Два бомбардировщика ожесточенно атаковали колоссальную статую Хуана Неруны, возвышавшуюся на холме. (После победы Виуэлы на выборах правительство, в знак «вечной» благодарности автору стихов о святом Геге, объявило конкурс на лучший памятник ему. Выиграл конкурс неизвестный никому скульптор, изваявший почти точную копию роденовского «Бальзака»: насмешник прибавил лишь знаменитый шарф, закрывавший лицо. Когда мошенничество выплыло наружу, было уже поздно. Бетонный гигант царил над городом и портом, стоя на пьедестале в виде греческого храма.) Свист бомб напугал беглецов. Что, если летчики получили приказ уничтожить также и горожан? Все ничком упали на песок. Статуя раскололась на куски; серое облако поднялось в небо. Голова, огромным бильярдным шаром прокатившись по центральному проспекту (одноэтажные, из-за частых землетрясений, дома были ниже ее), свалилась в море, обдав народ фонтаном брызг. Парфенон устоял. Самолеты закружили над руинами – возможно, делая снимки. Внезапно между колонн высунулись орудия и одновременно подбили оба бомбардировщика, и те разбились о желтые холмы.

Раздалось единодушное «ура!»: захваченные шахтерами танки ехали по ночам, направляясь на крайний север страны, и везде население прятало их от властей. На этот раз их защитил цоколь статуи. Боевые машины выехали на улицы города и продолжили свой поход, в то время как один из танкистов побежал к своим товарищам с вестью о славной победе, которую замолчат все газеты.

Войско Лебатона прошло больше тысячи километров под земной поверхностью, по туннелям, проложенным крысами. Гаргулья рассказывала, что такие ходы пересекают всю страну: они идут с юга на север и выходят наружу возле Арики. До этого места оставалось еще примерно пятьсот километров.

Потом, когда в их ряды вольются рабочие Севера, следовало опять спуститься под землю и двигаться на столицу через Икике, Писагуа, Мария Элену, Каламу, Чукикамату, Антофагасту, Кальдеру, Копиапó, Ла-Серену, Кокимбо, Вальпараисо, чтобы захватить дворец Ла-Монеда и свергнуть предателя Виуэлу.

Бойцы передвигались, согнувшись в три погибели. Отряд состоял из шахтеров, с детства привыкших ползать, как черви, среди угленосных пластов, чтобы заработать несколько жалких грошей. Но сейчас они делали то же самое с радостью, сутки напролет, словно не замечая сырости, холода, темноты и тесноты, – ведь каждый пройденный метр приближал их к свободе. Неутомимый Виньяс, войдя в роль Неруньи, не переставая декламировал «Гимн шахтерам», следуя во главе колонны. Когда тот или иной стих выпадал у него из памяти, хромой Вальдивия тихо подсказывал ему слова. Загорра, став тенью генерала, не издала ни единой жалобы, подавая всем пример. Лебатон уверился в ней, увидев однажды ее за обедом. В подземельях пищей служили только корни, грибы, муравьи и насекомые, но всего этого не доставало: вырисовывался призрак голода. Дон Теофило – так прозвали ученую крысу – ударил по земле хвостом, и на глазах изумленных людей вырос холм из мертвых крыс, которым перекусили горло их сородичи. Толстые, с небольшими головами, они походили на молодых телят.

Лебатон – как обязывало его военное воспитание – мог употребить их в пищу, но Загорра, чье нёбо привыкло к изысканным сортам шампанского и лучшей икре, не заслуживала такой жуткой трапезы. Генерал предложил ей свой последний запас – несколько консервных банок. Великолепным, полным достоинства, жестом, та скинула мешок с консервами в расщелину.

– Здесь все равны! И я не хочу быть постыдным исключением! Или я буду питаться, как вы, или умру!

И, закатав рукава измазанной в глине рубашки, она свернула шею крысе, выпотрошила ее, насадила на палочку, изжарила и, подавляя тошноту, вонзила зубы в мясо...



Изголодавшиеся рабочие заплодировали и нетерпеливо последовали ее примеру.

Впереди показалось розовое сияние. Все устремились туда, и взгляду открылась невероятных размеров пещера, прохладная, с перламутровыми стенами, мостиками из камней, полная кристальной воды. Хорошее место для отдыха – и для обдумывания плана атаки! Лебатон объявил четырехчасовой привал. Перед тем, как заснуть, шахтеры выслушали молитву, прочтенную аббатом и монахами: бенедиктинцы окончательно завоевали симпатию всех, умело зажарив крыс на вертеле и приправив их взятыми Бог знает где пахучими травами.

Расхаживая между спящих, Попайчик бессонными глазами выискивал своего пса, ощущая себя одиноким и ненужным. Стоило им ступить под своды галереи, как Атриль и его подруга принялись обнюхивать все закоулки, резвиться в широких местах. От заразительного лая крысы пришли в хорошее расположение духа и в шутку принялись сражаться с собаками, позволяя им хватать себя за загривок и закидывать далеко. Серыми шарами грызуны падали на землю, поднимались, кусали собак за все семь лап. Наглядный урок того, как нужно себя вести: в самом опасном положении животные от души веселились... Сепеда обнаружил, что оба пса спят брюхо к брюху, переплетя лапы; рядом лежал с десятком крыс. Ангелочки, да и только. Попайчик не мог сердиться на Атриля или ревновать к черной суке, так как не принадлежал к беззаботному миру зверей, оставаясь человеком. Но и среди людей он не находил себе места. Никогда шахтеры не примут его за своего: он – карабинер и вышел из семейства карабинеров. Генерал Лебатон и поэты предпочитали не общаться с ним близко: действительно, экс-капитан за всю жизнь прочел лишь букварь и устав строевой службы, да и то по диагонали. С монахами разговор тоже не завязывался: Сепеда только получал от них благословения и помогал сворачивать шеи крысам. Он вздохнул. Лучше найти какую-нибудь лужу и полежать в ней, наслаждаясь приятной влагой. В детстве он, помнится, порой заходил в реку и делился с ней своими горестями...

Гигантская неосвещенная полость выглядела пустынной. Где-то в полумраке, за каменными утесами, блестела заводь, образованная падающими со сталактитов каплями. Попайчик снял обувь и грязный мундир, осторожно вошел в прозрачную жидкость, пока не погрузился в нее до пояса, – и завел беседу с водой. Глаза его понемногу привыкли к темноте, и один из камней в пруду неожиданно оказался дном Теофило: старая крыса принимала ванну вдали от многолюдного сборища, и у нее не имелось собеседника. По сравнению с другими животными, она была мыслящим существом, но шерстистое тело, приютившее этот разум, делало ее в глазах людей каким-то чудовищем. «Ты совсем как я... Мы – два изгоя... Нас приветствуют, нас терпят, но никогда не примут за своих...» Сепеда, позабыв о себе, проникся сочувствием к зверю. Вымокшая гладкая шерсть... Теофило казался брошенным ребенком. Уловив его взгляд, глубокий и чистый, как воды пещеры, Попайчик едва не разрыдался. Крыса дала себя слегка погладить, но скоро выскочила из водоема. К Попайчику возвратилась печаль: его отвергли! Другого товарища ему не найти... Но тут дон Теофило появился среди завихрений, создаваемых каплями, и протянул ему лапку: в когтях у него были зажаты несколько пятнистых грибов. Значит, мы скрепляем дружбу, поедая эти плоды подземного мира? А почему нет? И Сепеда прожевал один гриб. Брррр! До чего же горький! Но делать нечего, не обижать же друга... Пришлось сделать усилие и проглотить. Горечь проникла в желудок, и Попайчику сразу же страшно захотелось вымыться как следует. Он захватил в пригоршню гладких камешков и стал энергично тереть себе кожу. Через час таких упражнений голова его кружилась, а камни казались изумрудами. Сквозь их зеленое сияние он увидел, как вода понимается и собирается горкой под животным, образуя подобие прозрачного трона. Оставалось лишь встать на колени. Со скрещенными передними лапками крыса выглядела вполне королевски. Не отводя взгляда от видения, Попайчик заплакал. Сколько благородства, сколько смиренной мощи, сколько величия прозревал он в этом существе, закаленном

в непрестанных трудах! Ему были различимы все части серого тела: сетка шрамов обозначала многочисленные схватки, следы острых зубов говорили о не раз испытанной смертельной опасности, пятна были свидетельствами болезней, морщины – знаками голода, лишений, но, прежде всего, – внутренних страданий. Начав свою жизнь простой помойной крысой, Теофило шаг за шагом прошел через тысячу жизней и тысячу смертей, преодолел все пределы, развил в себе умственные способности путем жертв и добровольных страданий, скрывая бьющий из него свет – стрела в воздухе, змея на камне, судно в океане, – замата следы, обрубая корни, выбрасывая балласт, претерпевая постоянные изменения. Да, перед человеком стоял настоящий титан. Как только крыса могла совершить такое?! Превзойти человека, изначальное расстояние до которого – как до луны! И снова Попайчик залился слезами, углядев глубочайшее одиночество своего друга, окруженного низшими существами, вынужденного нести свою тайну, словно крест, немого из-за необычайно развитого слуха... Броситься в его объятия, немедленно! Но бывший капитан превратился в статую. Приложив невероятные усилия, он оказался на водяном троне, внутри Теофило, а прямо напротив стояло на коленях его собственное тело, белые глаза которого были раскрыты так же широко, как и рот... Это чувство он уже испытывал. Бурное пенистое течение некогда позволило ему перевоплотиться в Атриля, понять, что есть сознание собаки. И вот он может – если только разум его не замутится окончательно – воспринять послание великого наставника. Грызуны – не враги людям, а наоборот, явились им помочь; в некотором роде они заменяют конницу. Он путешествовал по земным путям, пробираясь между человеческих ног и потоков серых созданий. Он пересек из конца в конец всю галактику, сея жизнь на вселенских просторах... Поглядев на своего двуногого приятеля, он преисполнился сочувствием: простодушный, добродушный, прямой... Животное по имени «человек» было прекрасно. Следовало вести его за собой, откликаться на его зов, стать подлинным Наставником... Когда Попайчик проснулся, на

голове у него дремала серая крыса. Он улыбнулся, так как обрел товарища – и теперь был готов сражаться за него до последнего издыхания. Прежде чем враг доберется до этой священной крысы, ему придется пройти через труп Сепеды.

С севера прибыл гонец, известивший о триумфе. Танки, сбив два бомбардировщика, направлялись в Арику. Лебатон, не слишком громко, но так, чтобы слышали все, пообещал Непомусено Виньясу восстановить статую, но уже без шарфа, закрывающего лицо. Поэт воздел руки, будто победитель в боксерском матче, и поприветствовал шахтеров, устроивших ему овацию.

Пристроившись около плоского камня, генерал устроил военный совет. Он нарисовал мелом по памяти северную часть Чили, обозначив выходы на поверхность: где выбираться для внезапного нападения, где прятаться при воздушной тревоге. Правда, стопроцентной точности не было, некоторые из них могли вообще не существовать. Мудрая крыса указала им на сеньору Гаргулью, единственную, кто – как она сама утверждает – понимает язык этих животных, которым шахтеры будут вечно благодарны за помощь. Но в качестве главнокомандующего он не имеет права основывать свои планы на поддержке с их стороны. Крысы могут исчезнуть в любой момент, оставив отряд беззащитным среди горных расщелин. Разумнее всего использовать крыс, насколько возможно, но не полагаться на них целиком. Самое лучшее, если удастся привлечь новых людей. Попайчик чуть не перебил его: теперь, превосходно понимая Теофило, он мог бы стать переводчиком, но без доверия нет любви, а лишь любовь к крысам, имеющая в своей основе уничтожение всех предрассудков, могла обеспечить их полную преданность. Серые союзники вовсе не делали им подарка, даже если люди этот подарок и заслужили, а вступили в войну тоже в надежде обрести свободу. Не своенравные животные, а верные спутники на всю жизнь и до конца времен. Планета больше не принадлежала одному только роду человеческому, ее надо было делить с другими. А разделив, можно было во сто крат умножить богатства Земли... Но тут Попайчик понял, что,

попробуй он высказать эти мысли, его сочли бы тронутым. Придется дожидаться удобного момента, чтобы все объяснить. Легкое поскребывание по голове стало знаком того, что Теофило пробудился и одобряет его молчание. Что ж, будем слушать Лебатона...

– ...А чтобы привлечь новых людей, мы рассчитываем, в первую очередь, на присутствующего здесь Хуана Нерунью, – Непомусено издал приличествующее случаю «эхм», – который объедет рудники и, читая там новую поэму, еще более зажигательную, чем «Гимн шахтерам», призовет всех присоединиться к восставшим ради победы Революции...

Виньяс поправил три пряди на лысой макушке и взглянул искося на Вальдивию. Тот успокоительно махнул рукой. Ободренный этим, Виньяс взял слово:

– Вдохновляемый музой Справедливости, я создам прямо перед рабочими массами лучшее из моих творений. Обещаю вам полный триумф – насколько это зависит от моей лиры...

Снова аплодисменты. Поэт попросил дать ему помощника – конечно же, товарища Вальдивию. Лебатон сообщил, что грузовик уже готов отправиться. Гонец из Антофагасты довезет их, спрятанных между бочек с салатом, к рудникам Чукикаматы, где революционного барда уже ждут десять тысяч сторонников. В случае успеха – но сомнений тут не было – они поедут дальше, от деревни к деревне, от шахты к шахте. Поэзия Нерунии зажжет полстраны.

Ноги дона Непомусено едва не подкосились, а ноги хромца, казалось, вытянулись... Позже, прыгая в кузове медленного грузовика и жуя листок салата, – наконец-то над головой чистое звездное небо! – Виньяс отечески похлопал Вальдивию по плечу:

– Знаешь, приятель, у меня уже есть наготове три гениальные строчки, которыми я завершу твою поэму. Изучай тщательнее мой стиль, не стоит портить его долгими периодами... В сущности, главное в поэме – это конец, все прочее – лишь разминка и подготовка.

Хромоногий раскрыл рот – то ли поперхнулся листком салата, то ли его затошнило.

Проклятая мумия! Как бы самому не стать сушеным трупом! Нет! Никаких тощих коров, даже если он услышит тысячу «клак-клак-клак»! На него станут наседать сверху и снизу, спереди и сзади, справа и слева, пускай – он, Геге Виуэла, не тронется с места, защищаясь ногтями и зубами! Даже если придется связаться с такими типами, как этот прилизанный генерал Лагаррета. Все из-за дурусти Пили! Это донельзя узкое лицо – лбом генерала явно обделили, – этот мундир из английского казимира, подбитого китайским шелком, эти очки в золоченой оправе, эти перчатки из козлиной кожи, эти ботинки, натирая которые, не один солдат слег от чухотки!.. Черт, черт, черт! Самба – и та неспособна его развеселить... Что делает он, президент Республики, в полночь, в старой крепости, один, вдали от столицы, ожидая этого пренеприятнейшего субъекта? Пять минут опоздания! Нет, решительно, этот Лагаррета все больше его раздражает. А что же будет дальше? Спокойно, Виуэла! В твоих руках сейчас – не палка, а уснувшая змея!

Но нет, все в порядке: это шум вертолетного винта. В конце концов, ветер довольно сильный – может быть, они задержались из-за плохой погоды? Через окно Виуэла увидел, что генерал один. Никто, никто не должен знать об их встрече! Надо бы скорее позаботиться об исчезновении этого парня. Отравить уздечку его лошади? Прикончить выстрелом в лицо? Да какая разница! Там посмотрим. А теперь – прямо к делу и никаких сантиментов.

Войдя в холл, Лагаррета отрапортовал писклявым голоском:

- Задание выполнено, господин президент!
- Когда?
- Десять минут назад.
- Свидетели?
- Ни одного.
- Сделали все сами?
- Нет. Два надежных солдата.
- Ошибка: проболтаются!

– Я заложил взрывчатку им в грузовик. Отбивные не разговаривают.

Генерал, скрывая улыбку, снял очки – протереть. У Геге мурашки пошли по коже. Да он рехнулся – спица в ботинках! Впрочем, если череп так сдавлен с боков, это, видимо, неизбежно...

– Вы уверены, что ни у кого не возникнет подозрений?

– Даже ее собственная мама поверит...

– А лицо?

– Разбито сапогами. Кровавое месиво.

– Подушечки пальцев?

– Срезаны.

– Лобок?

– Как вы приказали, его выбрили в форме сердца и выкрасили светящейся оранжевой краской.

– Мотив?

– Самоубийство. Кинулась из окна.

– Вы точно взяли ту, которую нужно?

– Обижаете, Ваше превосходительство. У меня был отличный альбом с фотографиями. Двоюродная сестра госпожи Пили, по причине сексуального отклонения, одевалась как мужчина. Опознать ее было легко.

– О боже! Как я мог забыть! Она ведь была девственницей!

– Не волнуйтесь, господин президент. Я все продумал до мелочей: прежде чем размозжить лицо, солдаты ее изнасиловали. Про одного она даже сказала: «вот это хобот»...

– Почтовые открытки?

– Заставили написать пятьдесят штук.

– Прекрасная работа, генерал!

– Всегда рассчитывайте на меня, Геге Виуэла!

Вот дерьмо. Опустил «Ваше Превосходительство» и «Господин». Он-то может запросто называть его «генерал», но когда такой солдафон в ответ обращается по имени... Бррр. «Этот опасен: в два счета организует военный переворот. Остальные генералы тут же его поддержат. Мед власти притягивает стаи мух. Лучше уж дать ему то, что он просит, и назначить его министром обороны».

Сидя за рулем «кадиллака», прикрытый высоким воротником, париком, фальшивыми усами и широкополой шляпой, он не переставал сыпать проклятиями. Неосторожность Пили могла стоить ему президентства. И подумать только, что он избрал ее символом своего правления. Ее монашеский наряд был тузом в покере, который зовется «избирательной кампанией», и вот теперь ее застали врасплох, на месте преступления... Зачем было от него скрывать? Разве они не компаньоны во всех делах? Он защищал ее от репортеров бульварных газетенок и излишне честных полицейских начальников. Но, видимо, острота положения, близость опасности только распаляли ее... Кто знает, что делалось в разгоряченной голове его дражайшей супруги! Все началось с простой облавы. Тайный бордель. Когда дурно пахнущие детективы ворвались в скромное шале, то обнаружили, что клиентами были дамы, а «персоналом» – самцы... ну, то есть псы. Да! Специально выдрессированные, неопрятные, похотливые псы с красным членом и шершавым языком! Мاستины, левретки, сенбернары... Двенадцать жаждущих самцов облизывали, а затем имели дам, стоящих на четвереньках. Фотовспышки просверкали больше сотни раз, когда детективы с горечью выяснили, что из четырех извращенков три были жены министров, а одна – не кто иная, как сама первая дама Республики Ее Превосходительство Пили де Виуэла... Журналисты пустились наутек, представители же властей остались под дождем, осыпаемые градом пощечин и пинков, ибо прервали президентшу накануне оргазма... Еще одна роковая ошибка! Следовало топтать камеры, а отнюдь не зады детективов. Скандал начался на первых страницах подпольных листков, а закончился восемью колонками в правительственной газете. Никакое вмешательство, даже божественное, не смогло бы прекратить бурю. Снимки с изображением Пили, сидящей верхом на немецкой овчарке, разошлись по всей стране со скоростью молнии. Миллионы копий! Катастрофа! Страна ждала, затаив дыхание: что скажет президент? Святой Геге обязан отыскать лекарство, по силе равное болезни... Он достал из



кармана фальшивые часы, открыл и бросил в ноздри порцию кокаина.

В два часа ночи он вихрем ворвался во дворец, где уже сидели министры экономики, здравоохранения и просвещения, вытирая припухшие глаза. Приободренный благодаря наркотику, президент сразу перешел к делу, не тратя времени на приветствия:

– Смотрите, козлы! Ваши распутницы совместно с моей опозорили все правительство. Что ж, подтянем штаны и будем действовать не как жертвы, а как герои! Если не станете мне помогать, потеряете должность, состояние и жизнь. Я подам пример. Нам нужно нечто театральное. Средневековое судилище! Инквизиция! Здесь, перед дворцом, мы расстреляем сатанинское собачье отродье и сожжем бесстыдниц живыми. Каждый из нас, держа факел, освященный кардиналом Баратой, лично зажжет очистительное пламя. Дети есть? Приведите детей!.. Если не решитесь на все это, вот три заряженных револьвера. Пустите себе пулю в висок! Но если решитесь, то знайте, что там соберется весь город, радио- и телекорреспонденты, и что наказание станет народным праздником, а потом пройдет еще военный парад...

Министры рухнули в кресла, рыдая. Через десять минут они на все согласились и оживленно обсуждали, в чем следует присутствовать на церемонии. Кто-то предлагал смокинг, другой – францисканскую рясу... Министр здравоохранения предложил: явиться обнаженными, и пусть их хлещут плетью священники в кашпошонах...

– Нет! – отрезал Виуэла. – Каждый из нас наденет новую военную форму. Отныне мы превратимся в солдат. Сбросим маску разума и покажем неумолимый лик силы!

Хлопнув дверь, Геге покинул помещение. Спустившись вниз, он опять достал фальшивые часы и втянул в себя белый порошок. Колокол в соборе пробил трижды. Предстояла самое невыносимое: встреча с Пили. Развратница даже не плакала! Но почему в такой час она раздета? Почему щеки пылают? Невероятно! Собачье дерьмо на ковре! Он потер

подошвой о пол, сдерживая гнев, и сел в кресло, обитое розовым бархатом.

– Хватит притворяться, Пили! Где ты его спрятала?

Ожесточенное царапанье заставило его подняться с места и открыть дверцу шкафа. На грудь ему тут же бросилась та самая овчарка. Геге упал навзничь. Пес разорвал зубами его ширинку и принялся вылизывать член.

– Убирайся, мерзкая тварь!

– Не называй так Ринтинтина!

– Что-о?! Ринтинтин – это я!!

– Ты – всего лишь экран, на который я проецировала свои фантазии. А он – настоящий Ринтинтин.

– Прогони его с меня, или я отрежу ему язык!

Пили нежно обняла животное за шею и склонилась над ним.

– Не подумал бы, что ты совсем сойдешь с ума. Ты не подозреваешь, насколько все серьезно. Читала газеты?

– Да, все.

– И что скажешь?

– Ты так держишься за президентское кресло, что найдешь способ вытянуть меня из ямы...

– Верно. Уже нашел.

– Подожди. Я хочу предупредить, что готова на все, только бы с Ринтинтином ничего не случилось. Он мне столько дал...

– Признания отложим на потом. Времени мало. Твой труп уже обнаружен.

– Как?

– Вот так. Ты выбросилась из окна. Тебе нужно написать письмо, где ты раскaiиваешься и выражаешь желание найти в аду справедливую кару...

– А кого убили вместо меня?

– Твою кузину.

– Бедняжка. Она всегда мне завидовала и хотела жить так же. Ну хоть теперь ей удалось встать на мое место. Принеси цветов на ее могилку.

– Никаких могилочек. Ее сожгут прилюдно вместе с тремя дурочками, которых ты развратила. Я сам, лично понесу твой труп на костер. А пепел увезет мусорная служба.

– Отец узнает правду?

– Пока что никто не узнает. Ты притворишься своей сестрой. Уедешь в Париж. Вот пятьдесят открыток, подписанных ею. Будешь посылать по одной дону Моисесу. Если меня не переизберут и я останусь в живых, то мы навестим тебя во Франции. Держи, это поддельные документы. Надень насадки с отпечатками ее пальцев и быстро собери вещи. Я должен идти, есть два-три дела. Организовать церемонию судилища и найти овчарку, похожую на твою.

– А на что я буду жить?

– Не беспокойся. Завтра дам тебе все необходимое.

– Только не надо мне мстить, Геге. Я не сяду в самолет и устрою несусветный скандал, если не дашь мне то, что я попрошу. А я про тебя кое-что знаю.

Президент вздрогнул.

– Дам тебе все, что захочешь, и даже больше того. Я верю тебе, любовь моя...

– А я люблю только своего пса. Не забывай, что мы компаньоны.

– Помню, Пили... Хороших тебе снов.

С подчеркнутой заботливостью он укрыл свою жену и пса атласным покрывалом.

Поспать удалось всего пару часов. Открыв глаза, он тут же сунул нос в часы и сделал глубокий вдох. Чистый, выбритый, с легким макияжем и лакированными ногтями, он уселся в машину и помчался к Национальному госпиталю имени святого Геге. Строительство больницы началось сразу после его избрания и закончилось в три месяца: работа шла круглосуточно. Так он увеличил свою популярность, ничего не потратив: кредит на строительство дал американский банк, и деньги к тому же можно было не отдавать. Посещение проходило всегда одинаково: знамена, оркестр из паралитиков, свежее выкрашенные стены (только в тех местах, куда

вели президента), врачи, с сомкнутыми каблуками приветствующие его по-военному, обед из одного котла с больными (котел показывали крупным планом, но обед приносили из ресторана «Наполеон»), и в конце – бесцветная речь первого лица. Тыфу! На этот раз медики еще настояли, чтобы он прошел обследование. Четыре часа его просвечивали рентгеновскими лучами, заставляли пить какие-то взвеси, делали уколы, брали на анализ кровь, слюну, кал и мочу. И вот вместо того, чтобы прислать результаты по почте, они затеяли эту церемонию – именно тогда, когда он по самые уши вляпался в историю с Пили. И плюс к тому – мятеж шахтеров на севере, при поддержке дрессированных крыс... Чистое безумие... Что это все забавляются со зверюгами? Не хватает одного: чтобы он назначил министром просвещения попугая...

Мотоциклы с солдатами расчистили дорогу к госпиталю. Кортёж прибыл точно вовремя. Но где же оркестр, флаги? Почему все эти типы рядом с директором одеты в черное? Или это не праздник в честь его приезда? Скорее напоминает похороны. Где запах свежей краски? Со стен сыплется штукатурка... Как они встречают своего президента? Ладно, урежем им содержание.

Он уже готов был скомандовать отступление, когда врачи с преувеличенной любезностью пригласили его в лабораторию. Что, нет ни одной пластинки с самбой – оживить это унылое мероприятие? Геге усадили. Директор стал напротив него с влажными глазами; в руках – ничего, похожего на листки с речью. Ну-ну. Импровизируем, значит. Теперь понятно. Он забыл про какую-то важную дату, годовщину свадьбы или еще что. Сейчас полетят конфетти, заполощутся знамена, оркестр взорвет тишину, больные и самоотверженные практиканты зайдутся в овациях и осыплют его цветами – все как нужно. Он широко улыбнулся, приглашая бледного врача произнести эти слова, которые, по причине робости и большой любви к президенту застряли у него в горле...

– Господин президент... Лучше сказать об этом... Мужественный человек, как вы, не заслуживает, чтобы ему лгали...

Это еще что? Где приличествующие случаю фразы? Мы не в кабаке, где после энного мартини можно говорить «как мужчина с мужчиной».

– Лучшие медики страны изучили ваши анализы. Они единодушны: рак печени, операция невозможна. Вам осталось жить несколько месяцев...

– Что?

Виуэла остановился так резко, что хвост его фрака разлетелся пополам.

– К сожалению, это правда, дон Геге...

– Ваше превосходительство!

– Да, Ваше превосходительство. Опухоль на поздней, очень поздней стадии. И чрезвычайно коварная: боли возникают только под самый конец. Сейчас вы кажетесь вполне здоровым, но через месяц сделаетесь желто-зеленым, с ног до головы...

– Желто-зеленым, я?!! Кучка предателей! Отравители! Стервятники! Говорить мне такое! Продажные коммунисты! Геге Виуэла никогда не умрет! Сколько вам заплатили юго-славы? Я обвиняю вас в государственной измене.

И он сорвался на визг, чуть не охрипнув:

– Лагаррета! Ко мне! Здесь убийцы!

В лабораторию ворвались автоматчики под предводительством узколицего генерала.

– Арестовать!.. Объясню все потом. Закрывать госпиталь! Никто не должен входить и выходить до особого распоряжения. Заговор против меня! Посмотрим, кто кого, трупоеды! Я вас заставлю проглотить свои ланцеты!

Гнев рвался из него, ничем не сдерживаемый. Чтобы разжать сведенные судорогой челюсти, Геге без всякого стеснения вытащил часы и прямо на глазах Лагарреты принял тройную дозу. Тот непринужденно, как у себя дома, протянул длинные гвоздеобразные пальцы и кинул себе порошка в каждую ноздрю. Геге даже не заметил этого. В ярости он забыл захлопнуть крышку, кладя хронометр обратно, и в салоне «Кадиллака» поднялось кокаиновое облачко.

– Скажу вам на ухо... Не могу доверять своему шоферу: вдруг он понатыкал в машине микрофонов? Страна прогнила насквозь. Коммунистическое золото затопило ее. Даю вам два часа срока, пока не началась встреча с депутатами и пресс-конференция. Вы должны заставить этих врачей признаться, что они пытались отравить меня, что они участвуют в международном заговоре и выдрессировали развратных собак... Накачайте их наркотиками, шантажируйте, возьмите их жен, детей, родителей, дедов, прадедов, загоните иголки под ногти, все, что угодно, но добейтесь этого... Еще за это время врачи должны взять вину за убийство министра обороны. Убьете его, разумеется, вы. Кресло министра останется за вами.

– Спасибо, Виуэлита, можешь мне доверять. Я не подведу!

Проклятый скелет! Он уже перешел на «ты»! Ладно, я подожду, пока тощие коровы не станут жирными. Ты заплатишь мне за все, наглец!

И состоялось историческое заседание Сената. Когда президент со слезами огласил предсмертное письмо своей супруги, атмосфера все еще оставалась ледяной. Но когда привели медиков, признавшихся, что они обучали собак, используя больных, организовали покушение на министра обороны (известие последних минут, немедленно сообщенное агентству новостей), и что все больные – на самом деле тайные агенты мирового коммунизма, зал взорвался аплодисментами: свидетельство безоговорочной верности режиму.

Геге Виуэла назначил преемника погибшему министру. Лагаррета поднялся на трибуну и вместо речи медленно выговорил национальный девиз – «Разумом или силой», с такой ненавистью, что прошла минута напряженного молчания, прежде чем разразились овации. Воспользовавшись моментом, президент дал слово кардиналу Барате. Тот высказался за введение не только чрезвычайного положения, но и инквизиционных судов.

И началась вакханалия. Президент взял из рук секретаря смоляной факел и зажег его. Огни потухли, двери открылись. Санитары вкатили тележку с телом первой леди. В неверном,

зловещем свете пламени Геге Виуэла провозгласил, что не только врачи и собаки будут расстреляны, а жены министров сожжены заживо вместе с трупом Пили, но для острастки югославов, русских и их сообщников он приказывает поджечь госпиталь с его лжепациентами.

Вошли несколько сот солдат с факелами. Все затянули национальный гимн. Геге легко добился того, чтобы депутаты и сенаторы, отбросив все законопроекты о прибавке жалованья рабочим, занялись девальвацией песо.

В восемь вечера Геге за рулем спортивного автомобиля подкатил к своему личному самолету. У трапа стоял Лучо, президентский пилот, верно служивший ему вот уже десять лет. Пройдя в кабину, он оставил Пили и Геге вдвоем в небольшом салоне. Овчарка уже изгадила роскошные кресла, помечая свою территорию. К счастью, пес дремал, уполовинив жирного фазана. Пили выглядела довольно привлекательно в одежде своей кузины-лесбиянки. Геге попытался чмокнуть ее в губы.

– Нет-нет. Только в щеку. Если Ринтинтин проснется, он будет ревновать.

– Хорошо. Вот ключи от кейса. Открой его.

Пили ввела по ключу в каждое из пяти отверстий. Механизм сработал безупречно. Подняв крышку и увидев слитки золота, она не издала ни звука, а вместо этого невозмутимо извлекла из сумочки флакон.

– Конечно, Пили.

– Мы ведь знаем друг друга, Геге...

Пили достала один слиток прямо с поверхности, второй – из середины и третий – со дна кейса. Капнув из флакончика на золото, она поскребла каждый слиток и улыбнулась.

– Чистое золото, мой дружок... Не знаю, как благодарить тебя...

– Благодарю Чили. Это дар нашей страны.

– Украденный тобой...

– Перестань. Этого золота хватит лет на триста. Я доверяю тебе. Ты приспособишься к европейскому образу жизни. К тому же ты будешь не одна... Хотелось бы рассказать

все подробно, но, к сожалению, мне надо присутствовать на огненной церемонии. Она начнется через полчаса. Самолет взлетит через двадцать пять минут. Ты сможешь наблюдать за представлением сверху. Не пропусти. Потом сообщу тебе, как мы будем держать связь. Название банка, бумаги на виллу – все у Лучо. Если не понравится, продашь и купишь другую. До встречи, Пили...

И Геге Виуэла, без улыбки – вид обнаженных зубов теперь вызывал у Пили крапивную лихорадку – обнял жену, сдерживая слезы. Пили же не скрывала своей радости. Разбудив Ринтинтина, она ткнула его мордой в слитки:

– Смотри, сокровище мое, мир принадлежит нам...

Видя, как его супруга блаженствует, заставляя пса облизывать золото, Геге тихонько вышел из салона. Пили заметила его отсутствие только полчаса спустя.

– Быстрее, Лучо, – приказала она. – Если не взлетим сейчас, то все пропустим.

Внизу, в центре города, окутанном мраком – электричество отключили – крыши озарялись отблесками пламени, пожиравшего больницу. Пожарные подливали туда бензин. На улицах толпы народа потрясали факелами, перед дворцом пылали четыре костра. Средневековые! Пили усмехнулась. На одном из них сейчас сгорало ее прошлое. А она рождалась заново. Разбуженный Ринтинтин сам, без всякого побуждения, бросился на нее. Он просто чудо. Пока пес усердно работал, Пили отдалась во власть воображения. Зачем ей Геге при таком количестве золота? В паспорте указано, что она не замужем. Можно снова вступить в брак. Скажем, с президентом Франции. Если по-умному использовать это богатство, она станет миллиардершей. Супруг нужен только для обретения политического могущества. А что касается самцов, достаточно овчарки... Подступающая дрожь экстаза развеяла химеры. Легкое покусывание погружало ее в море наслаждения, все глубже и глубже, пока она не начала выкрикивать привычные непристойности, никого не стыдясь... На самой вершине оргазма ее застиг голос Виуэлы:

– Как ты там, Пили?



Дурак! Что за вопрос в такой момент! Все наслаждение разом пропало.

– Я приказал Лучо включить эту запись, когда вы будете пролетать над Тихим океаном, близ северного побережья страны. Выслушай меня. Это для тебя очень важно, ты даже не представляешь, насколько. Судя по всему, ты развлекаешься со своим псом, радуясь, что избавилась от меня и уже подыскивая себе политика рангом повыше...

Да! Геге знал ее вдоль и поперек! Они – два звена одной цепочки! Пришлось принести в жертву свое удовольствие, дав Ринтинтину свободу двигаться дальше. Геге знал, как привлечь ее внимание!

– Ты уже подсчитала стоимость золота, нафантазировала потрясающие коммерческие операции. Ты готовишь для себя новую жизнь, без меня, и думаешь остаться в выигрыше. Но ты ошиблась. Ты потеряла все!

Что?! Предательство? Нет, только не это! Рядом лежит кейс, полный золота, Лучо – умелый пилот, он доставит ее в Европу... Геге бредит – наверное, от ревности.

– Я мог тебя спасти – все-таки я не совсем каменный, – но ты допустила роковую ошибку, влюбившись в эту омерзительную псину. Я все позволил бы тебе, если бы ты отвела мне почетное место в своей жизни. Ты была неуязвима, совсем как я – в каком-то смысле, девственница... Вглубь твоего сердца никто не мог проникнуть. Мы шли в одну сторону, восхищенно глядя друг на друга с соседних вершин, – двое равных. Но ты проявила неуважение, сравнила меня с животным и погубила себя. Ты насмехалась надо мной, потому что хотела быть только с ним, каждую секунду. По счастливой случайности я нашел твои стихи – те, что были спрятаны между страниц «Песни песней». Романтическая чушь, писанина неудовлетворенной школьницы... И посвященная кому? Ему, Ринтинтину! Мне ты никогда не посвящала такие восторженные строки. Только собаке... Поняла? Я просто вынужден наказать тебя...

Пили побледнела. Однако вид кейса с сокровищем ее успокоил. Верные люди будут ждать ее прямо на выходе из

самолета. Никто не сможет отнять золото. Нет, Виуэла все-таки дурак. Он слишком доверяет Лучо. Несколько слитков – и они полетят в Бразилию вместо Европы...

– Я специально сделал паузу. Дал тебе помечтать о том, куда ты прикажешь лететь, подкупив пилота. В Бразилию? С такими средствами можно направиться куда угодно. Единственно слабое место в твоих планах – то, что самолет никогда не сядет... Ты не обратила внимания, что кейс бронирован. Сейчас его механизм уже пришел в действие, и без ключа замок ни за что не открыть. Представляю, как ты кидаешься на чемоданчик, тянешь защелки, дергаешь их... Ты надеешься найти специалистов, думая, что любой замок можно открыть. Да, ты права... Подожду, пока ты не успокоишься...

Пили упала в кресло, стряхнула с себя Ринтинтина, перевела дух. Какая мелочность! Булавочный укол... Подумать только, что ее муж способен на такие подлости. Как ее угрозило выйти замуж за такую презренную личность! Пили залилась слезами от стыда.

– Не плачь, Пили. Я не такой мелочный, как тебе кажется. Кейс забронирован, но вовсе не из желания досадить тебе. А для того, чтобы слитки не пропали. Через несколько секунд взорвется бомба, заложенная в самолет. Мне жаль верного Лучо. Кейс ляжет на дно в заранее рассчитанном месте, а наверху рыбы станут поедать то, что останется от тебя и от этой твари... Когда все успокоится, я подберу золото... Прощай навсегда.

Пили бросилась к Ринтинтину.

– Скорее, возьми меня, вонзай крепче, аааах...

И прогремел взрыв.

Инь и Ян вконец обезумели. Клекот их слышался вот уже больше часа, сопровождаемый оглушительными хлопками крыльев (Хумс привязал птенцов к камню). Красный диск луны, удушающая жара – ни малейшего дуновения воздуха – и молчание насекомых, распуганных птицами, мешали путникам заснуть. Зум, подойдя к индейцам, поприветствовал их самым изысканным образом и спросил:

– Вы, кто знает язык примет, скажите, что означает это молчание, таящее в себе звуки?

Ответ был кратким и неясным:

– Ждите Нгуенхуена.

Рука и Тотора нашли узкую щель в скале, втиснулись туда и легли, принаравливаясь к ее причудливым изгибам. Но прежде они уложили Гаргулью, давно уже закрывшую глаза: она пребывала в ином мире, возможно, общаясь с Наставницей. Прочие члены Общества кое-как попытались взять с них пример, но безуспешно – острые камни не давали покоя телу. Оставалось заснуть сидя.

Вдруг раздался вой, такой, что задрожали горы, и прилетел ветер, сопровождаемый черными тучами и клубам пыли, непрерывно усиливаясь, унося с собой запахи, влагу, камни, куски дерева, целые стволы; наконец, он достиг предела своей мощи и дул теперь ровно, поднимая в воздух тяжеленные каменные глыбы, будто пушинки...

Затаившись, как змеи, в расселине, беглецы едва дышали. Пришлось уткнуться носом в землю, чтобы в ноздри не набилась пыль. Над головами летали целые утесы. Каменный ливень... Как обычно, все принялись молиться и незаметно заснули. Один Акк старательно записывал у себя на животе объемистую фразу, где давалось описание расщелины и разъяренной стихии. Буря могла продолжаться дни и недели. Значит, лучше всего сочинять роман. Если их когда-нибудь найдут здесь, журналы опубликуют – посмертно – его труд... Он попробовал сконцентрироваться, но не сумел. Сверху на него навалилась обнаженная Боли, щекотала ему ноздри лобковыми зарослями и, медленно шевеля нижними губами, словно желала доброй ночи. На самом деле это была Эстрелья. Акк увидел, что она касается языком левого уха Лауреля, призывая фон Хаммера. Глаза юноши раскрылись, тело вытянулось, приняв военную выправку. Барум предложила немцу войти в нее. В конце концов, ведь это он ее совершил, пусть и при помощи револьверного ствола. Ожидаемое соитие было для нее чем-то вроде завершения начатого дела. Фон Хаммер не заставил себя долго просить: хотя он

предпочел бы взять еврейку полностью, с душой и телом, но за неимением лучшего... «Вперед!» И началось неистовое совокупление, заглушившее шум урагана, так что все проснулись. После взаимного оргазма Боли встретила взглядом с Лаурелем, ронявшим в нее последние капли спермы. Оба были удручены. Не этого они хотели... Они нарочно оттягивали момент близости, а теперь пара захватчиков использовала их тела в своих целях. Лаурель содрогнулся, представив себе, как Ла Росита влюбляется в индейца, Ла Кабра соблазняет карлицу, а фон Хаммер растлевает многочисленных девушек. Боли, управляемая Эстрельей, переспит с половиной мира... Он осторожно вытащил член. Чтобы их союз оказался прочным, надо найти способ нейтрализовать непрошенных гостей... От света зари окрестный пейзаж принял лиловый оттенок. Ветер дул с прежней силой, но глыбы по воздуху уже не летали. Монотонный вой его отдавался в сердцах людей неизбывной тоской. Рука и Тотора сели рядом с Гаргулей, уставившись в землю. Толин, не просыпаясь, вылез из щели, отдавшись во власть вихря. Он описывал гигантские дуги, спирали, замысловатые кривые, порхая, как бабочка. Понемногу ураган начал стихать и положил музыканта, словно перышко, прямо к краю расщелины. Старая проститутка бормотала:

– Давным-давно, когда морское дно было сушей, арауканы жили счастливо, не ели живых созданий, питались плодами земли, которые сами выращивали. Из Вену, далекой синей страны, где обитает Нгуенечен, Верховное существо, пришел светловолосый человек, мужчина, а может, наполовину женщина, и дал араукам свистульку-*пифильку* с одной нотой. «Если окажетесь в беде, свистите», – так сказал он. Но арауканы не знали бед. Светловолосый человек говорил им: свистите в нее каждый день, но они забыли об этом. И потеряли свистульку. А потом другие народы покорили их и сделали рабами. Тогда арауканы пустились на поиски пифильки... Они брели, глядя под ноги, стараясь отыскать ее, припоминая, как она выглядела. Все напрасно... Поэтому они напиваются все время... Поэтому, когда поднимается ураган, они склоняют голову и молча плачут. Им стыдно за себя...

Двигаясь наугад – ставни закрыты, шторы задернуты, – во мраке, где было не разглядеть даже собственных рук, он пересек гостиную, носом толкнул дверь, миновал длинный коридор, зашел в ванную вместо кухни, исправился, порылся в ящике с инструментами, жадно, будто бриллиант, достал рулетку... Достал свечу и с закрытыми глазами закатал левую штанину раззолоченной пижамы. Затем чуть приподнял веки. С астматической одышкой Геге Виуэла рассматривал пятно кофейного цвета на своей левой икре. Едва коснувшись его, он приложил рулетку и тщательно измерил величину. Достал блокнот и сверился с показателями четырехдневной давности, отчего лицо его побелело. Тогда пятно насчитывало пять сантиметров в длину и три в ширину, а теперь – двенадцать и семь с половиной. Почти в два раза больше! Завыв протяжно, как сирена, Геге помчался обратно, везде зажигая по пути свет, и вбежал в спальню, раскрыв рот, откуда обильно текла слюна. Эпилептически вздрагивая, он сорвал шаль с трехстворчатого зеркала. Разделся и облегченно вздохнул: грудь его была такой же, как всегда, гладкой, изящной, слегка мускулистой. Небольшие колени, ступни правильной формы... Кожа всюду выглядела безупречно белой. Уф! Ложная тревога! Психосоматическое расстройство, ничего больше. Он всегда так волнуется, если речь идет о расстройствах... Воображает бог знает что. И зачем было прятаться четыре дня подряд на своей вилле, боясь видеть собственное тело? Приступ ипохондрии, вот и все. Может быть, он слишком долго находился на солнце? Несварение желудка? Аллергия на кашемир? Пятно исчезнет так же неожиданно, как появилось. Геге пристально посмотрел в глаза своему отражению и проговорил: «Я здоров, совсем здоров, никакого пятна нет». Но тут же сообразил, что видел себя только спереди. А спина? Смелее! Так! Э-э... Повернемся... Нет. Никак. Президент застыл, словно пригвожденный к полу. Во рту стало горько, по телу покатился холодный пот. Озноб заколотил его так сильно, что пятки застучали по паркету, едва не разламывая дощечки. Он дал себе пощечину, так, что щека покраснела – нет, все равно никак, – ущипнул

ягодицу с криком «Ай, мама!». Сколько лет он не вспоминал о своей матери – и вот вспомнил. «Помоги мне, пресвятая дева, что на небесах». Геге медленно стал поворачиваться. По мере того, как задняя часть отражалась в зеркале, сердце его билось все учащеннее, а ноги начали подкашиваться. Он упал на колени, коснулся задом холодной поверхности пола. Спина была испещрена кофейными пятнами! Настоящая жирафья шкура! Он заплакал от гнева. Врачи наслали на него проклятие, заразили чем-то... С помощью своих аппаратов вырастили внутри раковую опухоль... Что делать? Госпиталь превратился в черную грудку развалин, все доктора расстреляны. Одно только чудо может его спасти! Но какому святому довериться? Не может же он отправиться паломником в Лурд! Никто не должен знать, что президент болен, даже обречен. Лидер нации обязан быть живым, здоровым и бодрым... И все это сейчас, когда предатели-коммунисты и югославы подняли мятеж! Не подарит же он Неруные удовольствия видеть его в таком жалком состоянии... А кроме того, для чуда нужна вера, давно им утраченная. Геге шумно выдохнул. Есть, есть надежда! Он верит двоим: Виолете де ла Санта-Крус и ее мумии. Это с них все началось... Коровы стали настолько тощими, что кажутся гильотинными ножами... Значит, они и вытащат его из передрыги. Или он сожжет их – десять раз, сто раз, если понадобится. Он подбежал к телефону и закрутил диск с такой скоростью, что сломал ноготь. Пусть Лагаррета займется этим делом!

– Генерал, вы мне нужны!

– Готов служить, Виуэлита...

От хамоватого, насмешливого тона президента чуть не вырвало. Дай этому типу палец, он всю руку откусит. Ладно, когда все закончится, мы поучим его хорошим манерам.

– Друг мой, возьмите вертолет и отправляйтесь в Мелипилью. Поищите среди развалин дома Виденте. Найдите там останки, кусок матраса и немедленно привезите ко мне.

– Могу ли я спросить, зачем вам этот мусор?

Неотесанный мужлан. Где его слепое повинование? Не будем лгать. Скажем половину правды.

– Для лечебных надобностей. Говорят, от таких вещей проходит понос.

– Ах, несчастный Вигито! Ничего не бойся. Дай мне чрезвычайные полномочия, и я подавлю революцию на севере за пару дней...

Итак, этот сукин сын считает меня трусом. Только бы избавиться от пятен... А там мы сделаем из него котлету... Нет, скорее костную муку – мяса в нем нет...

– Я доверяю вам, Лагаррета. И я умею награждать. Вижу, что вы всецело мне преданы...

– Да, тебе сильно повезло.

Связь оборвалась. Эта свинья министр вешает трубку! Смеет хамить ему, президенту! Куда все зашло! Хватит! Больше не уступаем ни миллиметра! Он пошарил под кроватью, вытащил маленький автомат, подаренный ему директором ЦРУ на день рождения... Вот так. Подождем этого Лагаррета. Только он вернется с останками, как превратится в дуршлаг!

Время едва-едва ползло. Через три часа Геге Виуэла обнаружил на запястье темные точки. Раньше их никогда не появлялось. Он снова потушил свет и принялся ждать в темноте. Задремал. Из забытья его вывел шум вертолета. Пока тот приземлялся на широкой лужайке, президент успел побриться и облачиться в светлый, безупречного покроя костюм. Он ни за что не покажет своих пятен этому наглецу и карьеристу. Послышался металлический стук. Узкие ботинки генерала казались двумя стручками. Геге установил автомат в стратегически важном месте и, распахнув объятия, сверкая зубами, двинулся навстречу министру. Попытался прикинуть вес пакета, который тот несет... но руки Лагарреты были пусты! Что он, черт возьми, делал в Мелипиле? Сухим голосом – внеся в него, однако, оттенок теплоты – президент отчеканил:

– Вижу, вы не привезли ничего, генерал Лагаррета. Хватило бы обугленного обломка доски...

– Знаешь, Виго, придется тебе наложить в штаны. Когда я прибыл на место, там не осталось ни руин, ни пепла, ничего. Даже земли. Это местные жители... Они растащили все,

как реликвии... Осталась только яма в семь метров глубиной, и там до сих пор кто-то роется.

– Яма в семь метров глубиной?

Виуэлу словно шарахнули палкой по голове. Он больше не в силах был сдерживаться:

– Дерьмо! Дерьмище! Измена! Марксистско-ленинско-сталинский заговор! Если ты не хочешь, трус, чтобы страна развалилась на хрен, ты отправляешь в Мелипилью отряд спецназа! Самых диких! Обыскиваешь деревню! Каждый дом! Кто не выдаст реликвию, хотя бы горстку пепла, вышибить мозги! Никого не пропускать, всех обшарить, мужчин, детей, женщин, стариков, всех!.. Привезешь землю, обугленное дерево, все, что осталось! В бронированных фургонах! Потом расстреляешь всех и сотрешь эту деревню изменников с лица земли! И не спрашивай ничего, у меня плохое настроение! Завтра поглядим!

– Да-да, Виго. Конечно, понос – штука серьезная, и на нервы действует. Должен тебя предупредить, что мои приятели, генералы Лебрун и Бенавидес, тоже хотят стать министрами. Экономики и общественной безопасности. И не вздумай сказать «нет». Ну, что скажешь?

Когда за генералом захлопнулась дверь, Геге Виуэла устремился в ванную. У него и вправду случился понос...

Пятьдесят шахтеров, вооруженных колями и пиками, кое-кто – ружьями, вытащили Виньяса с Вальдивией из грузовика, посадили в две тележки и самым осторожным образом доставили в деревянный домик, где было приготовлено угощение – фасоль с лапшой, вино, хлеб со вкусом опилок. А еще там имелись кувшин с водой, умывальник, осколок зеркала и две парусиновые койки с латаными-перелатаными тюфяками. Один из встречавших – похоже, главный, – обратился к ним, не отводя глаз от земли:

– Отдохните, товарищи. Поешьте – здесь то небольшое, что мы можем предложить. Вы, наверное, устали... Когда стемнеет, мы придем за вами. Весть о вашем приезде пронеслась, как искра по бикфордову шнуру. Собралось больше



народу, чем мы думали. Тысяч пятнадцать... Это очень хорошо, но есть и опасность. Мы уже получили несколько анонимных писем с угрозой расправы. Полиция не осмеливается заглядывать к нам в шахты, но крайне правые способны послать провокаторов. Возможно, они попытаются убить товарища Нерунью. Мы будем пристально следить за всеми, но оружие при желании спрятать легко. Многие предложили себя в качестве живых щитов, так что, читая новую поэму, вы будете со всех сторон окружены верными людьми. Из большого числа добровольцев мы выбрали только женщин и детей: есть надежда, что преступники устыдятся и не станут стрелять. Вы рискуете жизнью ради нас, великий поэт, мы рискуем своей ради вас! Вы учите нас, как умирать за правое дело – мы готовы погибнуть за правое дело! Спасибо! И спасибо также вам, неизвестный помощник Нерунии: вы – одна из песчинок, которые образуют берег!

И, слегка приобняв Вальдивию, рабочий вожак из всех сил заключил в объятия Виньяса. Последовали хлопки по плечу, поцелуи в щеку. Затем он вышел, закрыл за собой дверь, но тут же вернулся со стальной пластинкой, размером с тетрадь. В углах ее были проделаны два отверстия, куда было продето кольцо из волос.

– Это волосы наших женщин. С их помощью вы наденете эту пластину; если что, она станет преградой для пули...

Когда он ушел окончательно, поэт рухнул на кровать. Будучи непрочной, та мгновенно развалилась, и теперь Виньяс лежал на полу, дыша, словно умирающий. Затем, скорчившись, издал протяжный слабый стон.

– Друг Вальдивия, я отравился этим салатом. Скоро меня разобьет паралич, от ступней до языка. Я говорю, делая невероятные усилия, ибо должен пожертвовать собой ради народа. Брат мой! По воле случая, судьба моей поэзии – в твоих руках. С этого скорбного ложа я выслушаю твою импровизацию, сожалея о том, что не могу физически быть рядом с тобой. Физически – поскольку душа моя будет неизменно вдохновлять тебя на создание гениальных строф... Ты скажешь им, что я слег в приступе болезни и, как обычно, ты

готов прочесть поэму, заученную на память – ведь во время долгих переходов у нас не было бумаги... Когда после всего ты вместо меня примешь поздравления, мои поклонники – тщательно проверенные на предмет оружия – смогут выстроиться в очередь, чтобы увидеть меня, больного, разбитого, героически отражающего атаки лихорадки и паралича на алтаре Отечества... Конечно, вокруг меня должны находиться добровольцы, женщины и дети... Пусть все видят, как народ чтит своего певца...

Новая серия хрипов, стонов и судорог. Вальдивия выслушал эту речь с каменным лицом, не говоря ни слова, помог поэту раздеться и оставил его лежать под заплатанным одеялом, заснувшего или якобы заснувшего.

Непомусено из осторожности не открывал глаз около часа. Он слышал, как Вальдивия ходит туда-сюда, наливает воду в умывальник, выбивает пыль из одежды – своей, не иначе! – разбивает зеркало – вот неуклюжий! – что-то чистит – хронец, а выпендривается! – главное, пусть не забудет три последних строки, иначе все пойдет прахом! Снаружи раздались голоса рабочих-телохранителей. Виньяс еще крепче закрыл глаза и притворно захрапел. Его друг был настолько чуток, что вышел из хижины и встретил свиту у двери. Кажется, никто его не потревожит. Они хорошо воспитаны и, конечно же, не станут нарушать покой больного. Из естественного амфитеатра – холмов, образованных взрывами динамита, – донесся гул тысяч обожателей Неруњи. Они все поймут. Они будут еще больше уважать его за то, что, несмотря на страдания, он здесь, а не на больничной койке. Аплодисменты что-то жидковаты. Триумф... Печатные листки, восхваляющие его в один голос... Статуи... Еще статуи... Главы в учебниках истории... Ммм... И Виньяс провалился в сон со стальной пластинкой на груди.

Он пробудился весь в поту. Луна протягивала серебряную руку в окно. Ах да, они у шахтеров... судя по оплывшей свече, его приятель ушел на заклание больше часа назад. Несчастный... Когда народ победит благодаря его, Виньяса, одам, он напишет сонет в честь хромоногого, «неизвестного поэта» –

неизвестного солдата величайшей битвы... Шквал рукоплесканий, неистовый рев пятнадцати тысяч глоток прокатился по склонам холмов... Мороз прошел по его коже...

– Да здравствует Нерунья! Долой Виуэлу! Свобода!

Вот так. Драмы не случилось. Полная победа. Музы вновь сжалились над Вальдивией. Судьба хранила его. «Гимн Революции» вырывался из его рта с такой же легкостью, как горный поток из источника между камнями. Тысячи рук уже переписывали поэму. Еще немного – и она разойдется в тысячах копий по всей стране. Новый крик неимоверной силы и бесконечные овации сотрясли стены хижины.

– Нерунья – да! Виуэла – нет!

Исторический вечер! Грандиозное торжество! А он валяется в постели! Что, если он, невзирая на жестокий недуг, преодолевая паралич конечностей ради великого дела, предстанет перед ними, еле держась на ногах, бледный, но мужественный, и, в ознаменование своего торжества, через силу воздев руки, сдерживая стон боли, выдаст три последние строки?! Надо поторопиться, а то Вальдивия закончит... Он вскочил, продел голову в кольцо из волос, приладил как следует пластинку. К чему ненужный риск? Но в коробке вместо его одежды лежал какой-то бесформенный тюк. Как? Уродливые тряпки Вальдивии? Дерзкий хромец облачился в его великолепный костюм национального поэта... И он, убогий, хочет произвести впечатление на дам? Читая поэму, Вальдивия явно не упустил случая уцепиться за ягодицы одну-другую добрую женщину, которые отдали Нерунье собственные волосы... В гневе он натянул на себя лохмотья, поискал умывальник и зеркало, желая пригладить три свои пряди: знаменитый трезубец, известный не меньше сталинских усов. Вождь должен выделяться не только внутренне, но и внешне. Как можно с карикатурным обликом Вальдивии затронуть народную душу? Умывальник был полон волос. Так вот почему тот разбил зеркало: хотел при помощи острого осколка пригладить шевелюру... Но рука дрогнула и почти весь волосяной покров остался с медном тазу. Ну и занятный у него, должно быть, вид. Это даже и лучше, что все так вышло: можно затесаться

в толпу незамеченным и ворваться на трибуну в решающий момент. Но его узнают по лысине и трем прядям... Под кроватью Виньяс нашел старую пожелтевшую газету и сложил ее в виде треуголки. Аплодисменты раздавались в определенном ритме. Непомусено заметил, что они следуют ритму поэмы. «Нет, это не Вальдивия зачаровал их, а моя слава, магическое имя Неруны. Надо поспешить. Он так тщеславен, что способен распинаться ночь напролет. Протиснусь в первый ряд и дам ему знак, что пора умолкать...»

Порыв ледяного ветра пронесся по равнине. Холодный кусок стали на груди заставил Виньяса закашляться. Ни травинки, ни жучка – только селитра, куда издавна вонзались буры, и бесплодный песок. Крест одиночества! Чтобы справиться с тревогой, он ускорил шаг и громко проговорил три последние строки. Не запнуться в ответственный момент... Из какой-то дыры вылезла чесоточная собака и, обнажив клыки, с лаем бросилась на поэта. Тот сначала попробовал унять ее ласковыми словами, но животное лишь рассвирепело еще больше. Виньяс с чувством стыда отбросил достоинство, присущее знаменитости, и пустился наутек. Пес настиг его и вонзил зубы в ягодицы. По счастью, он завяз в ткани брюк, мыча и встряхивая головой. Виньяс подсчитал, что через сорок секунд зверь вырвет, наконец, клочок ткани, а затем возобновит атаку и оставит себе на память кусок мяса. Объятый страхом, он взял стальную пластину и стал избивать собаку. Та истошно завывала, разжала челюсти и бросилась на импровизированное оружие. Непомусено подождал, пока она не сломает свои клыки о сталь, и бегом продолжил свой путь.

Задышавшись, он достиг амфитеатра и тут увидел, что бумажная шляпа слетела. Поэт улыбнулся. Благодаря неожиданному нападению он даже выиграл время. И вот он здесь! Никто не обыскивал его. Виньяс стал пробираться через толпу. Голос Вальдивии гремел, волны рукоплесканий накатывали и отступали, чтобы накатить снова. «Ура» и «Долой» звучали не переставая. Хотя Виньясу и не была видна сцена, кровь застыла в его жилах: Вальдивия читал, подражая голосу Неруны... нет, хуже... голосом Виньяса, когда тот подражал Неруне...

Бесцеремонно расталкивая стоящих справа и слева, он наконец смог увидеть чтеца и, пораженный, разинул рот. На помосте, опиравшемся на железные бочки, освещенный тысячами свечей, перед людским морем стоял Вальдивия, прямой как штык, и, нисколько не хромя, размахивал руками и делал шаги невероятного размаха. Над голым черепом трепетали три пряди. Одевшись в костюм Виньяса, Вальдивия выдавал себя за него... за Хуана Нерунью. Имитация была превосходной. Мерзавец, свинья, гнусный предатель! В первый раз Непомусено обратил внимание, что кожа его экс-помощника не смуглая, а белая. Ну да, ведь отец француз... Если приглядеться получше, то они очень похожи: тот же цвет глаз, длинный нос, большие уши... Дружба, настоящая или поддельная, уподобляет людей друг другу... К тому же от напряжения – пот катился с него литрами – Вальдивия сделался таким же худым... На помосте по обе стороны от него стояли старики и женщины с детьми, изображая занавес. А где же плотное кольцо охраны? Бред какой-то! Хриплым голосом Виньяс спросил у своего соседа:

– Извини, товарищ, я опоздал... выпил немного, сам понимаешь... Что тут происходит?

– Дай послушать... Уважай великого поэта...

– Но...

– Заткни пасть! Надрался и выступает тут!.. Да здравствует Нерунья! Ура-а-а!

Непомусено подавил свой гнев, решив выждать, пока Вальдивия не сделает паузу и коллективное безумие не спадет. Так он прождал четверть часа.

Хромец жестом Христа попросил немного вина – увлажнить свой пересохший язык. В толпе показалось множество бутылок, тут же заполнивших сцену. Лже-Нерунья отпил по глотку из каждой. Бурные аплодисменты.

Непомусено предпринял новую попытку.

– Извини еще раз, что беспокою тебя, товарищ... я опоздал... Что тут происходит?

На этот раз ему поверили и, бледнея с каждой секундой, Виньяс выслушал рассказ о случившихся здесь событиях.

Центральный комитет Коммунистической партии принял решение – испытать бывшего сенатора, проверить его, так сказать, на прочность. Для этого придумали историю с покушением, убедив Нерунью, что несчастные женщины и старики должны будут отдать за него жизнь. Но поэт оказался настоящим героем! Вступив на помост, он отказался от охраны из добровольцев и, распахнув на груди рубашку, показал всем, что совершенно незащищен. Затем, подойдя к краю, заявил, что готов отдать свою собственную жизнь за правое дело. «Если хотите стрелять – стреляйте! Вы можете убить меня, но не поэзию! Она бессмертна! Я живу не только сам по себе, но и в сердце народа! Поэма, которую я прочту сейчас, уже написана! Если меня убьют, ее услышат от кого угодно: от шахтера, от старика, от мальчишки, от моего помощника, знающего ее наизусть!» Вот так, не позволив другим гибнуть за себя, он немедленно завоевал доверие рабочих. И когда он начал декламировать «Гимн Революции», священное пламя разбушевало еще сильнее. Никто не в силах его погасить. Они, горняки, будут с Неруньей всегда, до конца времен!

На глазах у Виньяса заблестели слезы, как и у всех, – но то были слезы не соучастия, а зависти. Этот калека похитил у него все. Если тот чувствовал подвох, надо было рассказать об этом Виньясу, не давать ему притвориться больным, честно сотрудничать, не занимая чужого места... Теперь он, Непомусено, не может открыться. Придется пить чашу до дна. Он приблизился к трибуне, стараясь не производить лишнего шума. Мошенник заканчивал чтение поэмы. Он не использовал строк Виньяса, с олимпийским презрением заменив их стихами собственной выделки! Несколько секунд Непомусено надеялся на провал: никто не аплодировал... Все взвешивали завершающие строки... Но после гробового молчания воцарилось массовое безумие: крики, плач, призывы к оружию, топанье, буря оваций, дождь из шляп, группы людей, повторяющих только что услышанные стихи, барабанный бой по жестяным банкам, и под конец – пение национального гимна. Все, стоя неподвижно, как готовое к битве войско,

под звездным небом между горных отвалов, пели, как один. В центре стоял, крестообразно раскинув руки, Иуда – его бывший секретарь Вальдивия...

Виньяс стал энергично жестикулировать, чтобы привлечь его внимание. На лице героя дня нарисовалась широкая улыбка. Он поднял руки, призывая толпу к молчанию.

– Товарищи...

– Ура-а-а!

– Минутку, товарищи...

– Заткните пасть, уроды... Тссс! Поэт говорит!

Понемногу установилась тишина, особенно безмолвная посреди пустынной равнины... Хуан Нерунья указал на первый ряд:

– Я хочу представить вам своего верного секретаря, которого по-дружески зову «хромой Вальдивия». Без его веры, его поддержки, его заботы меня бы здесь не было... Этот скромный человек знает на память «Гимн Революции». Он стоял в первом ряду, готовый встать на мое место и продолжить, если бы меня сразили пули. Иди ко мне, дорогой товарищ Вальдивия! Ты, безвестный герой, заслужил того, чтобы разделить со мной это торжество – торжество всего народа!

Оглушительное хлопанье в ладоши. Его поставили лицом к толпе. Что делать? Проглотить свою гордость. Он в ловушке, нет, в дерьме по самые уши. Прихрамывая, Непомусено взошел на помост и обнял «Нерунью». Его качали до самого рассвета... Шахтеры тысячами покидали рудники. Начался поход на Арику.

На следующий день Виньяс и Вальдивия отправились, все в том же грузовике, в Антофагасту, Токопилью и Икике, где ожидалось три грандиозные манифестации в честь Неруньи. Пыльная дорога пролегла между однообразных выжженных холмов, усыпанных камнями. В небе – ни облачка. Единственным зеленым пятном в этом пейзаже был салат внутри грузовика. Истомленные жарой, все в салатных листьях, оба сидели в противоположных углах кузова, не глядя друг на друга, но напряженные, как два боксера перед решающим матчем. Грузовик пробежал километр за километром. Экс-президент

Поэтического общества и его экс-секретарь не желали обмениваться ни единым словом. Внезапно уставший шофер наехал на большой камень, не заметив его. Машина подпрыгнула, и это мигом развязало обоим языки – словно прорвало плотину.

– Ты не имеешь права, Вальдивия... Предатель... Свинья.

– Замолчи, Виньяс, ты сам виноват... Ты оказался недостойн звания национального поэта.

– Как ты смеешь, хромец несчастный!..

– А вот так! У меня просто с детства был комплекс. Отец заставлял ходить с согнутой ногой. А теперь все прошло.

– Неблагодарный!

– Я от тебя видел сплошные тычки... Я могу сочинять стихи, а ты – просто трус и бездарность. И потом, имя Хуана Неруны тебе не принадлежит. Оно принадлежит лучшему! А лучший здесь я. Все равно ты без меня ничего не значил. А я могу занять это место и без тебя. Как видишь, я готов рискнуть жизнью. Теперь я буду главным, а ты – моим помощником. Только вот что: у тебя неважно получается хромать... Но ничего, я тебя научу.

Непомушено, онемев от такого цинизма, сдерживал гнев, пока в ушах у него не зазвенело. Тогда он обезумел и, прокладывая путь между листьев салата, устремился в тот угол, откуда слышался голос Вальдивии. Рыдая, весь в соплях и слюнях, он схватил того за шею и с силой, необычайной в столь рахитичном теле, встряхнул его, точно ком тряпья. Бывший секретарь высунул язык, лицо его побагровело. Он попытался высвободиться, но получил такой удар ногой по яйцам, что отключился. Сумасшедший стал дробить ему ноги о кузов, приподнимая и опуская при каждом прыжке грузовика. Когда ноги превратились в сплошное месиво и обнажились кости, Виньяс ногтями и зубами вырвал три пряди с его головы.

– Ешь их, изменник!

Когда рассудок возвратился к Непомушено, раны на ногах и на голове Вальдивии уже облепил рой мух. Откуда они только взялись? Виньяс вынул изо рта своего друга три пряди – оказалось, что один зуб сломан – и, хлопая по щекам,



вернул его к жизни. Затем приложил к ранам листья салата. Вальдивия открыл глаза и пробормотал:

– Мое рабство закончилось, дон Непомусено. Видишь эту бумажку? – он достал из башмака десять песо. – На них можно купить кисть и ведро для краски. Этого мне хватит, чтобы зарабатывать на жизнь при помощи рисования вывесок. Оно и есть единственное занятие, достойное литератора. Ищи себе другого дурака, который станет писать за тебя стихи. Или сам попробуй... Для меня все закончено. Я возвращаюсь к своим занятиям, которых не должен был бросать.

И, пользуясь тем, что водитель сбросил скорость при въезде в Антофагасту, он выскочил из кузова и, прихрамывая, побрел по серой равнине.

Непомусено Виньяс стал биться головой об кабину. Без Вальдивии не будет стихов. Сам он не умеет импровизировать – проверено. Больше того: если бы ему дали год на каждую строфу, он и тогда не написал бы поэмы... Там соберется вся Антофагаста – тридцать тысяч человек. Что делать, когда вся эта масса почтительно замолкнет, ожидая бессмертных строк?

Чтобы шофер не слышал его стонов, Виньяс набил себе рот салатом.

## XV. ПЕРВЫЕ ПОСЛЕДНИЕ ВСТРЕЧИ

*В любом конце – мое начало,  
в любой тропе – моя дорога...*

**Песня беглых  
бенедиктинцев.**

Ущелье закончилось. Пройдя сквозь завесу дождя, отряд очутился у притока реки Биобью. Все продрогли до костей. Увязая в грязи, беглецы ушли с речного берега в лес, казавшийся бесконечным. Рука и Тотора радостно объявили, что здесь начинаются земли арауканов. Дошли до поляны, откуда шла тропа, обсаженная с обеих сторон высоченными араукариями. Когда шум дождевых капель стал неразличимым для слуха, его сменил детский плач...

Эти звуки – будто кто-то подул в большую трубу – упорная, настойчивая, бесконечная жалоба – доносились с далеких холмов, раскачивая деревья, волнуя воду, заглушая всех и вся, заставляя дрожать едва ли не саму вселенную, превратившуюся в гигантское эхо. Животные бегали, а птицы летали туда-сюда, бесцельно, будто присоединяясь к неистовой мольбе: «Молока! Молока! Молока!».

Индейцы поплевали на землю, скатали из глины шарики и заткнули себе уши. Остальные сделали то же самое. Отряд продвигался колонной прямо к тому месту, откуда раздавались громовые просьбы. Порыв ветра донес до них запах маисовой настойки, чичи, которую получают разжевыванием кукурузных зерен. Ммм... Все позабыли про итальянского философа и направились туда, где выпивают. Впереди вышагивал Га: он-то не нуждался в компасе, чтобы прийти к цели. Членов Общества подхлестывал лучший из погонщиков: жажда. Рука и Тотора помчались, как борзые, и вернули отряд на прежний путь.

– Слишком много ненависти в этих краях... Можно пройти, только если гуалы помогут...

Арауканы стали рыть землю в месте, отмеченном кольями в виде человеческих фигур, и извлекли два наряда из перьев, черных и белых, завернутых в кусок брезента. Одев их, они раскрасили себе лица и заплясали, подражая плавному полету лесных уток. Еще в яме лежало два ружья. Индейцы выстрелили из них в небо.

– Теперь они знают, что это пришли мы. Не нужно бояться. Мачи защитит нас. Идемте!

Мало-помалу стало понятно, что безлюдные на первый взгляд места кишат индейцами. Повсюду – темно-красные тела и раскосые глаза, следящие за ними между стволов и ветвей. Фигуры в пончо землистого цвета появлялись из кустов и тут же исчезали. Стайки детишек, прятавшиеся где только можно, разглядывали чужеземцев. Через несколько часов запах перебродившего маиса сделался крепче, и путь беглецам преградили пьяные арауканы. Все были вооружены: пики, пращи, карабины. Все смотрели с неприкрытой ненавистью.

– Уинки...

Это слово, прозвучавшее, как удар хлыста, – мужчины тем временем дотрагивались до яичек, женщины мяти себе груди, точно собирались оторвать их, – заставило изгнанников содрогнуться.

– Уинки...

Появились новые индейцы в лохмотьях, вылезавшие отовсюду: из просветов между деревьями, из кустарника, из ям. В руках они держали выдолбленные тыквы с чичей и делали глотки, выпивая за раз не меньше полулитра.

Колонна рассыпалась: теперь члены Общества стояли тесной кучкой, в напрасной надежде прикрыть друг друга. Гаргулья прошептала:

– Эта ненависть копилась веками. Уинки, белые люди, безжалостно уничтожали их. Еще в 1900-х годах здесь рыскали охотники за яичками и грудями... Латифундисты щедро награждали их за кровавые трофеи. До того арауканы не ели мяса, и в местном языке не было слова «нож». Белые научили

их пить чичу и убивать своих собратьев. Обвинив индейцев в воровстве, пришлецы отобрали у них землю и все имущество, потом согнали в селения и никогда не считали из презрения к ним. И сейчас неизвестно, сколько арауканов живет здесь.

Лес походил на разворошенный муравейник. Похоже, индейцы выползали из-под камней... И все нетрезвые, взбодраженные громчайшим плачем. Мрачное войско: море шляп из выцветшей ткани, грубые украшения, ожерелья из металлических пробок, порванные на коленях штаны, гнилые зубы, чесотка, океан рептилий... Благодаря Руке и Тоторе их не трогали, но ненависть этого скопища была так велика, что каждый из местных клал два пальца в рот – и вскоре тропинка впереди была залита рвотной массой. Смешавшись с землей, она превращалась в омерзительную гущу. Гаргулья, воздушная, легкая, первая ступила в нее голыми ногами и пригласила остальных идти следом.

– Молока! Молока! Молока!

Истерические выкрики младенца становились все сильнее. Земля дрожала так, что едва можно было держаться на ногах.

Скоро индейцы остались позади, и путникам открылось величественное зрелище. Холмы накрылись черно-белым облаком. От ветра по черным и белым перьям шли причудливые волны. Две тысячи воинов, вооруженных до зубов, одетых лесными утками!

Рука и Тотора хлопали руками, прыгали, топали, пели на своем языке, обнимали одного за другим белых товарищей, а затем, весело побежав вперед, растворились в пернатом воинстве...

Тринадцать человек на конях, украшенных разноцветными перьями горных птиц, спустились вниз, охраняя какую-то старуху. Она была одета как простая арауканка: шерстяная накидка с длинной бахромой, окутывавшая все тело – свободной оставалась одна левая рука. Сверху был накинут плащ, спереди скрепленный булавкой. На голове – тюрбан, тоже отороченный бахромой, но из серебра. На груди – серебряная брошь.

Индеанка опиралась на копьё с шаром вместо наконечника. Лоб ее был невероятно высоким, а левый глаз, карий, косил так, что едва не выпрыгивал. Сквозь приоткрытые губы – все в морщинах – проглядывали кое-где стальные зубы. Старуха показалась бы чудовищем, если бы не правый, здоровый, глаз: он заливал своим светом лицо и сообщал ему красоту. Ноги ее еле двигались. Тринадцать воинов, переговариваясь о чем-то по-индейски, надели на нее плюмаж и мантию из перьев, такую же, как у них. Странное существо закрыло глаза и принялось раскачиваться. Из рта его вырвался вопль – столь пронзительный, что две тысячи бойцов упали на колени. Гаргулья склонилась перед ним:

– Привет тебе, брат Марепуанту!

– Привет, малышка моя...

Старуха, похоже, видела сквозь опущенные веки, ибо делала широкие шаги, ходя взад-вперед, а от ее тела исходила колоссальная энергия. Войско пустилось в пляс, потрясая ружьями. Один старухин жест – и все оно выстроилось позади нее, напоминая хвост королевского павлина... Гаргулья прошептала:

– Это Мачи, колдунья и целительница племени... В нее вселился сын солнца. Обращайтесь к ней, как к мужчине...

Акк понимал: в качестве вождя отряда он должен что-то сказать. Но что? Похвалить костюмы и предложить им совершить заграничное турне всей труппой? Поблагодарить за покровительство? Любые слова будут неуместны, даже оскорбительны. Нужен подарок... Он украдкой поглядел по сторонам – не найдется ли цветов, чтобы наспех сплести венок. Ничего... Кондоры били крыльями. Вот оно! Два птенца! Отлично! И окраска подходящая: белый Ян и черная Инь. Чего еще желать? Он попытался отобрать птиц у Хумса, но тот вцепился в свое сокровище, словно у него хотели вытащить печень... Сквозь зубы он проговорил:

– Если тронешь птицу, откушу тебе сам знаешь что...

И прикрыл обеих своими руками. Неблагодарные кондоры за это едва не выклевали ему глаза. Тогда он спрятал их у себя за спиной, удерживая за связанные лапы, и опустил

голову. Акк подошел к Мачи и поклонился, всем видом изображая, что ничего серьезного не происходит.

– Ну, как дела? Очень мило, что встретили нас. Как семья? Здоровье?

На ногу Акка полилась желтая струя, прервав его словоизвержение. Старуха его обмочила! Он отскочил назад... «Марепуанту» презрительно обратился к нему на безупречном испанском:

– Ты не можешь говорить от их имени, потому что живешь для себя. Твое тело все исписано. Ты владеешь слишком многим. Ты не приказываешь и не повинешься. Ты – никто...

И она указала пальцем на Хумса.

– Ты, коротышка, будешь говорить...

Хумс, расстроенный непонятно чем, притворился непонимающим, но его подталкивали вперед птенцы, чьи клевки в мягкое место были чувствительны. Мачи издевательски засмеялась:

– Мне нравятся смельчаки!

Воины дружно воскликнули:

– Ао!

Еще пара клевков – и Хумс оказался прямо перед женщиной. Небольшого роста, Хумсу она показалась размером с египетскую пирамиду. Старуха протянула к нему руки, изрытые морщинами с тыльной стороны, но с розовыми детскими ладонями. Издав долгий вздох, он протянул ей птенцов, которые тут же успокоились, ожидая, пока им не развяжут лапы. Мачи прижала копьё к груди, и кондоры уселись на венчавший его шар. Замахав крыльями, они поднялись в небо почти отвесно и скоро уже выглядели двумя черными точками. Восторженные крики воинов смешались с просьбой ненасытного ребенка: «Молока! Молока! Молока!». Один из них взял Хумса за правую руку и потер ее о белые перья своего наряда. Другой сделал то же с левой рукой, окрасив ее в черный цвет. Снова «Ао!» – и Мачи хриплым голосом, глядя Хумсу прямо в глаза, спросила:

– Что это значит?

Он пошатнулся. Тогда колдунья наставила на него копьё:

– Отвечай! Быстро!

Тысячи идей с головокружительной скоростью мелькали у него в мозгу. Надо ответить правильно, или ему разmozжат череп... Но в конце концов, почему бы не смолчать – и умереть? Большой, никчемный, ненужный, он донес из неведомых мест запечатанное послание для этого загадочного народа... На земле – арауканы, в небе – кондоры, они связаны друг с другом... Он, со своей вечной меланхолией, сирота с младенческих лет, каким-то чудом стал вестником того, что закончилась эра прозябания и нищеты и началась новая, отмеченная победами и процветанием. Ему позволили присутствовать при ее рождении, натерли ладони черным и белым... Иначе говоря, став братом индейцев, он должен заплатить за это, расставшись со своими детьми...

– Отвечай! Быстро! Что это значит?

Не отпрыгни Хумс в сторону, удар копыта пришелся бы ему прямо в лоб. Шар задел лишь ухо, окрасив его кровью. Разъяренная старуха продолжала свой натиск. И вот боль принесла с собой озарение. Теперь понятно! Вопрос был ловушкой. Это событие ничего не значило. Он не потерял кондоров: птицы – другая грань его самого. Орел и решка. Но монета одна. Он заклекотал, маша руками, словно крыльями, стал подсказывать на месте, вздымая клубы пыли. И сделался кондором, черным и белым одновременно.

– У твоего отряда есть сердце, – сказала Мачи. – Мы ждем вас уже несколько веков.

Воины окружили Марепуанту, Хумса, его друзей и затанцевали, как бешеные. Когда же пришло изнеможение, они, посадив белых на лошадей вместе с собой, направились в селение, откуда неслись детские вопли.

Опять местные жители – серые, напившиеся. На минуту подобрев, индейцы приветствовали гуалов, потрясая оружием и расстилая на пути войска травяной ковер. Кони топтали свежие стебли, воздух наполнился благоуханием...

Акк замыкал шествие, трясясь на крупной лошаденке – по его мнению, худшей из всех. Гнев разбирал его, но понемногу, держась за перья всадника, он задремал. Лаурель, напротив,

пребывал в страшном возбуждении. Ла Кабра, Ла Росита и фон Хаммер не давали ему покоя, споря за обладание телом. Правда, доводы у каждого были разные. Ла Кабра указывал, что он – единственный индеец из всех присутствующих, что после многолетних унижений он заслужил право отдохнуть душой и телом среди себе подобных. Отныне, благодаря встрече со старухой и гуалами, он больше не стыдится своих корней. Фон Хаммер перебил его: у героев нет корней! Здесь он нашел свой идеал: мужественные воители, солдаты, сплоченные мощнейшим из всех средств – магией... Война как священнодействие... «Закрой рот, нацист недорезанный... Одни воители уже потоптали тебя как следует... Если кто-то и достоин взять в руки клинок, так это я! Я всегда был предрасположен к таким занятиям, и никто не смеет вставать на моем пути...»

И Ла Росита в яростном порыве овладел телом. Он с удовольствием понюхал перья на плече впереди сидящего, наслаждаясь мощной эрекцией, которую вызывал этот запах. Рискуя свалиться с лошади, он перестал держаться за пояс всадника и расстегнул брюки – так, чтобы яички терлись о влажную кожу. Жаль, что крайняя плоть Лауреля обрезана: член, привыкший тереться о ткань, доставлял довольно слабые ощущения. Он просунул руку между перьев воина, нащупал край штанов и потянул их вниз. Обнажились темные и твердые ягодицы, подпрыгивающие соответственно ритму скачки. Ла Росита смочил указательный палец слюной и, как опытный развратник, немедленно нащупал анальное отверстие. Индеец даже не пошевелился, правя конем как ни в чем не бывало. Ла Росита вытащил палец: теперь смазки там, внутри, было достаточно. Путь открыт! Он теснее прижался к телу спутника и вошел в него. Резкие подбрасывания тут же вознесли его на порог блаженства... Внезапно индеец схватил его за яички и дернул. Ла Росита чуть не упал в обморок: неужели кастрируют? Но никакого ножа не блеснуло. Тот дернул снова. «А-а, ему нравится!» Ла Росита издал вздох облегчения. Его просят войти не в райские врата, а чуть пониже. Божественная влага! «Как же они все-таки потеют... Ну да, все



время в движении». Эрудит, чувствуя, как его затягивает бездонная кишка, с криком наслаждения извергся внутрь. Затем обхватил руками грудь индейца, желая поцеловать ему затылок. И нащупал две выпуклости. Тревога охватила его: что это – опухоли? А эти твердые наконечники? Соски? Женская грудь?! О ужас! Ла Росита обезумел: потрогав член, он понюхал свои пальцы, и его стошнило. Итак, грозная армия состояла из мужчин и женщин. Как он раньше не заметил? Все его представления о себе в одночасье рухнули. Он может обладать женщиной. Он не голубой. Так кто же он? И безутешный Ла Росита зарыдал.

Ехали всю ночь. Не спали одни кони, всадники же проваливались в сон. Седоков позади себя они привязали к спине, чтобы те не упали. Кавалькада дремлющих людей-птиц в лунном свете пересекала долины и горы. Детские крики не прекращались...

Открыв глаза, члены Общества клубня обнаружили, что находятся на лугу, простирающемся вдоль озерного берега. Лошади жевали пересохшую траву, индейцы в одежде плавали в ласковой воде под лучами восходящего солнца, искусно подражая движениям утиных лап. Мачи зашла по колени в воду и опустила в нее копьё, смывая с шара рой светлячков. Гаргулья рукой махнула в сторону селения. Оно было окружено колоннами, сложенными из лебединых костей. Индейцы не поленились расположить кости так, словно то были нетронутые скелеты. Белые призраки громоздились один над другим, глядясь в озеро. На крышах домов виднелись такие же скелеты, тысячи и тысячи. Из деревни, как выяснилось, и доносились вопли ребенка.

Гаргулья объяснила, в чем дело:

– Наряды гуалов сделаны из перьев этих лебедей. Во времена Конкисты, когда стало понятно, что против испанцев не выстоять, полторы тысячи арауканов, не желая попасть в руки врага, утопились в этом озере. Светляки отдали им свои души, и те превратились в диких уток, на местном языке – гуалов. На озере эти птицы водились тогда во множестве... В 1890-м, когда разразилась война «умиротворения», арауканы

снова были побеждены, на этот раз – алкоголем: их спаивали банкиры, чтобы прибрать к рукам индейские земли. Лесные утки исчезли, и вместо них появились лебеди, белые с черными шеей, враждебные человеку. Когда Мачи – сегодняшняя – получила послание от Белой Змеи, извещавшее о начале новой эры, она обратилась к своему народу и повела за собой полторы тысячи человек – мужчин, женщин, юношей. С ними были и лебеди – они сунули голову в воду и утопились. Никто не стал есть их мясо: скелеты сохранились как амулеты. Так родился клан гуалов, ни разу не побежденных в бою. Война с испанцами продолжается. Индейцы вновь обрели былое достоинство. В этом селении никто не пьет...

Многие из сотоварищей побледнели, а больше всех Га, густо сплюнувший: его была мелкая дрожь.

– ... кроме как на священных церемониях...

Га улыбнулся, и остальные тоже.

– ... два-три раза в год.

Бледность возвратилась на лица.

– Как раз сейчас проходит празднество в честь нового Мачитуна.

Все воодушевленно зааплодировали. На такой важный обряд и в самом деле было интересно посмотреть. Кстати, а что принять пить по этому случаю? Маисовую чичу? Ну что ж, они станут курочками и петушками и искренне полюбят вкус этого таинственного злака.

– Деметрио!

– Здесь! – отозвался поэт, повинувшись условному рефлексу, приобретенному еще в лицее. Колдунья пронзила его взглядом, легко проникшим сквозь маску из глины – та сохранилась со времен Ассис Намура.

– Слышишь крик Белой Змеи? Только ты можешь привести ее к молчанию. Все зависит от тебя.

Деметрио онемел. Если это змея издает такие звуки, она выше небоскреба. Он обнял Американку, прикрывшись ею, как щитом, и, окутавшись безразличием суфийского лжепророка, тихо сказал «Нет» – но оно никого не убедило. Напротив, индейцы в перьях вылезли из воды, подняли его в воздух,

бросили в озеро, затем вытащили и натерли тело песком, пока оно не заблестело. Тогда Деметрио потащили к селению. От крика «Молока!» земля опять задрожала, и все попадали.

Однако Деметрио не оставили в покое. Его повели к большой хижине и, подталкивая стволами ружей, заставили войти. Дрожа, поэт попросил копье и щит. Возможно, ему удастся повторить подвиг святого Георгия, убив дракона... Члены Общества кинулись вслед за ним. Подавленные всем этим, но сгоравшие от любопытства, они поспешили рассеять его пустые фантазии. Это же ребенок!

Внутри хижины лежал Кристоаль Колон с курчавой белокурой головой и длинными лобковыми волосами, свисавшими, как хвост, до пола. Вокруг него стояли коленопреклоненные шлюхи из «Ареналя». Диана Доусон, неподвижнее, чем всегда, напоминала Будду. Язык ее плавал внутри пластмассового куба. Гаргулья поцеловала ноги Наставницы и села позади нее.

С Мачи сняли плащ и плюмаж, и мужественный вождь прямо на глазах превратился в дряхлую старуху. Новый крик Колона заставил ее содрогнуться с головы до ног; потеряв равновесие, она свалилась на руки Деметрио...

– Мать Белой Змеи объявила забастовку. Она не хочет кормить свое дитя, пока не увидит тебя. Поэтому ребенок плачет, и плач его способен разрушить весь мир. Скоро посыплется горы. Помогите нам добыть материнского молока. Исполни прихоть великой женщины...

Прежде чем ввести Деметрио в овальную комнату, убранную лапагериями и лимонными ветвями, воины один за другим склонились перед ним, беря в рот его член. Это вызвало у поэта бурную эрекцию. Войдя в священные покои, он позвал – нежно и в то же время страстно:

– Энанита, ты здесь?

Великанша услышала голос того, о ком мечтала все эти ночи. Наклонная крыша дома и полумрак заставили ее утрачивать чувство пропорций: она видела лишь Деметрио, ее господина, гиганта с нацеленным на нее твердым острием – напоминанием о роковой встрече. Влагалище ее сделалось

водоемом, где бились о стенки горячие волны. Внутри нее раскрывались не яичники, а целые галактики. Желание Энаниты было столь велико, что она плюхнулась на спину, раздвинув ноги, отчего стены задрожали, а с крыши посыпалась солома. Деметрио увидел лоно – сочащееся влагой, полураскрытое, пахнущее возбужденной самкой... Пусть она Дева Мария и Богоматерь, но сейчас, вытянувшись, она имеет право позвать к себе мужчину из плоти и крови, своего кумира, повелителя, Хозяина. Наконец-то она подходит ему по росту и может стать той самкой, которую он жаждет заполучить. Они вместе, они едины, они – пара. Больше нет ни карлицы с ее комплексами, ни истерик из-за отсутствия груди и зада. Тяжесть ее тела давала ей теперь возможность наслаждаться земными радостями.

– Не будем терять времени, мой господин... Я знаю, что нравлюсь тебе такая... Приди с грозноувлажненным эректолитом и кувыркательно меня особачь!

У Деметрио слюнки потекли. Эта громадная туша соответствовала размаху его похоти, копившейся бесконечными ночами, без всякой надежды на удовлетворение. Он нуждался не в женском лоне – в горном ущелье! Не раздумывая, он бросился в бой. Вогнав внутрь свое орудие, он понял, что не прошел даже начального отрезка пути и беспомощно забарахтался внутри обильной плоти. Он попробовал сжать ее грудь: ладонь не смогла обхватить массивный выступ, две – тоже. Здесь требовалось быть по меньшей мере двадцатируким! Тогда он поискал губами сосок: тот забил ему весь рот до отказа. Попытался подсунуть руку под тело возлюбленной, чтобы погладить ягодицы: слишком короткая. Энанита, желая помочь своему господину, повернулась, и Деметрио заорал от боли, придавленный гигантской массой. Он снова перешел в атаку, постарался проникнуть глубже. Энанита, облегчая ему путь, приподняла ноги – и поэт взлетел под крышу. Он упал на живот Энаниты, а оттуда скатился на лобок.

Увидев, как Господин бессильно корчится среди частей ее тела, великанша осознала, что все закончено. Она совокуплялась со своей мечтой, нет, даже не так: сама с собой. Как этот

жалкий, слабый человечек мог быть для нее Богом? И Энанита стряхнула его с себя легким движением. Деметрио отлетел в угол. Женщина остановилась перед ним, наклонившись – иначе голова коснулась бы крыши... Карлик, с микроскопическим отростком, с жалкими потугами на достоинство, лишь отдаленно похожий на тот образ, который вставал у нее перед глазами... На секунду ее охватила жалость – но тут же сменилась ненавистью. Столько лет, отданных бесплодной иллюзии! Господин оказался паяцем, как и все остальные. Что же ей оставалось в жизни? Да! Ее сын! Она была не одинока. Грудь Энаниты заныли, и впервые она ощутила желание кормить. Из сосков потекли две струи молока. Поцеловав Деметрио в макушку, она покинула хижину.

Поэт вылил воду из тыквы на земляной пол, обмазался грязью и вывел большое «НЕТ» у себя на лбу. Когда он вышел за дверь, его ждала только Американка, такая же твердая, как всегда. Все прочие с восторгом наблюдали, как великанша кормит Кристобая Колона – Белую Змею.

Деметрио обнял свою подругу, испачкав ее грязью. Жалость к самому себе тянула его к Американке. Он попытался поцеловать ее; язык Американки оказался у него во рту, забившись глубоко в глотку. Он дал ей пощечину. Та погладила его руку и положила в нее отлетевший винт. Тогда Деметрио поволок ее в хижину и овладел ею, как животное. С яростью искал он экстаза, зарывшись в безжизненные члены, пролил семя и закричал:

– Скажи, что я – твой Господин!

Американка заскрипела, устраивая в воздухе электрические разряды. Деметрио прижал свои губы к ее пятнистому уху и продекламировал стихотворение – он сочинял его на ходу, ритмично хлопая механическую самку по лобку. Он описывал свой смертный час, погребение, расставание с друзьями, с неутоленными желаниями, с неполученными ласками, с неприобретенными вещами, с недостигнутыми идеалами, пиршество червей, видящих его в последний раз, а значит, и в первый, ибо встреча с мертвецом есть также и прощание... Он поднялся удовлетворенный: лучшее его стихотворение,

прочитанное пластмассовому уху, знаменует конец целого этапа в жизни. Американка снова покрыла его грязью.

– Ассис Намур, ты прекрасен... Земляной человек для механической женщины...

Поэт, поколебавшись, выразил свое согласие глухим «нет!» и приблизил свои губы к неживым губам подруги...

Все время одно и то же! Как вырваться из порочного круга? Вся ее жизнь была отмечена непрерывной цепью успехов! И вот один промах – и она на грани ужасного поражения... И ведь все козыри были на руках! Не меньше, чем Бог! Утратив язык, она пересекла черту, войдя в мир великих свершений. Выведя из организма отраву, покрытая потом и слезами, благодаря своей воле – железному пруту, который ни одна сила в мире не согнула бы – она достигла такой чистоты, что смогла поглотить человека из злаков и стать пророчицей. Благодаря пшенице она узнала о втором пришествии Христа; благодаря маису, о существовании арауканов. Не значась нигде, ни в какой бумаге, вычеркнутые из официальных гражданских списков, не замечаемые презрительными чиновниками, они множились, выйдя за пределы селения, притаившись в каждой ямке, под каждым кустом и камнем, – два миллиона человек! Гордые, они, тем не менее, стыдились своей расы, веря в приход белого мессии, змееподобного, с седыми волосами: он поведет их от победы к победе, ибо индейская война еще не закончена. Чили принадлежит арауканам, они должны управлять страной. Именно поэтому, завладев Кристобалем Колоном и его верными последователями, она спустилась вниз по Биобио на двух баржах, груженных ружьями и военным снаряжением, купленных тайком – штука за штукой – у американских моряков... Новая дева Мария встретила в ней свою старую знакомую, Марию Магдалину. Спаситель – так же, как раньше, – оставался под присмотром робкой девы и энергичной блудницы. Она, Диана Доусон, немая Наставница, объединила бы вокруг святого дитяти легионы священных блудниц с отрезанным языком, носимым, как талисман, в пластмассовом кубике, на животе, чуть пониже

пупка... При поддержке Мачи, пятнадцати тысяч воинов, немых проституток, двух миллионов индейцев, она овладела бы Ла-Монедой и свергла президента, легко справившись с армейскими частями. Она чувствовала в себе достаточно силы, чтобы стать президентшей и папессой одновременно. Крестовый поход по всей Южной Америке! Младенец-Христос рос бы, помогая ей при помощи своих чудес. И наконец – акт справедливого возмездия, способный смыть старые оскорбления, – они захватили бы Соединенные Штаты. А дальше Диана Доусон по телевизору, пользуясь жестами – всех обязали бы учить язык глухонемых, – провозгласила бы новую, очистительную мораль. Запретить помидоры, сахар, соль, мясо, фрукты и тому подобную отвратительную пищу. Все жители перешли бы исключительно на злаки... А потом ее власть распространилась бы на другие континенты (дети, мужчины, женщины – тысячи немых священнослужителей), на весь мир, на Ватиканский престол. Все вставали бы в шесть утра и ложились с заходом солнца. Йога и медитация обязательны, под страхом смертной казни, и сверх того – принудительное разглаживание морщин. Запретить старость, раз и навсегда! Пластическую хирургию – в массы! Печи крематориев – для дряхлых и немощных!

Все шло как по маслу, пока, за несколько пядей до вершины, в безупречном механизме не начались пробуксовки. И тогда все покатилося вниз. Гуалы готовы следовать за ней куда угодно, неся очищающий огонь, два миллиона пьяных индейцев только и ждут жеста белой Змеи, чтобы начать мятеж, – а этот идиотский бог присосался к материнской груди! А великанша, вместо того, чтобы оторвать младенца от себя и показать ему правильный путь, путь развития, отвергает роль Марии и, пережив дурацкую романтическую страсть, цепляется за ребенка, чтобы удовлетворить жажду ничтожной человеческой любви. Омерзительно! Эти сентиментальности, эти детские расстройства погубят мир! Времени не остается. Свеча догорает. Она не может ждать, как эти неторопливые арауканы, что Кристоаль Колон научится ходить, вырастет, достигнет зрелости, чтобы в тридцать лет

донести до людей свое Послание и стать мучеником. Нет! Скоро она не сможет делать подтяжек, и ни один специалист в мире не поможет ей остановить старение. Неужели она пропала? Неизвестно почему, ей вспомнилась свадьба в Кане Галилейской, когда Дева заставляет Христа совершить первое чудо, хотя тот и говорит: «еще не пришел час Мой»... Конечно! Именно так! Надо его заставить!

Не долго думая, она знаками подозвала своих верных прислужниц. Мачи и воины не знали языка глухонемых, а кроме того, внимание их было приковано к радостно сосущему ребенку. Опасности они не чувствовали. Проститутки рассеялись в толпе, заняв стратегические позиции. К счастью для них, у гуалов были только ружья. Под широкими же туниками весталок были спрятаны портативные автоматы.

Наставница подняла куб с языком внутри – и Мачи была немедленно окружена. Другая группа образовала кольцо вокруг Марии, заткнув рот младенцу. Третья, обезвредив членов Общества клубня, дала несколько очередей – и скелеты лебедей рассыпались. Этим Диана рассчитывала деморализовать гуалов. Затем она опустила куб – и стрельба прекратилась. Мачи, казавшаяся теперь совсем древней, жестом предупредила воинов, чтобы те не бросались в самоубийственную атаку. Ей стало понятно, что белые женщины в отчаянии решили разыграть свою последнюю карту. За несколько секунд они могут перестрелять воинов, Белую Змею, ее саму, и арауканы лишатся будущего. Но все, что ни делается, – к лучшему. Немая уже очистилась, индейцы – нет, и они могли ждать очищения столетиями. Мачи приказала на индейском языке всем сесть на корточки и ни во что не вмешиваться.

Гаргулья и четыре проститутки разметали хижину и, подхватив две балки, побежали к холмам. На вершине его, связав балки вместе, они поставили импровизированный крест. Диана Доусон взяла копье, три кинжала и Мачи – как заложницу. Пусть великанша поведет Христа на Голгофу... Без ненужной жалости... Обыкновенное сочувствие может сорвать все ее планы по воцарению на планете. Человечество должно заново научиться есть. Только она способна стать великой



Матерью, избавить телят от ножа мясника, поставить людей на трудный, но верный путь – путь злаков... Распять младенца! Кинжалы вместо гвоздей. Гаргулья уже сплела терновый венец. К делу!

Она проткнула нежные ладони без особых усилий, вбила кинжалы камнем. Лезвие прошло обе ноги, словно кусок масла. Копье было великовато для маленького тела. Прикинув, Диана вонзила его совсем неглубоко. Хлынула струя крови, смешанной с водой. Все как в Евангелиях. Превосходно! Скоро поднимется ветер, земля затрясется, небо потемнеет... Это уже известно. Осталось ждать смерти Бога. Пройдет три дня, и он воскреснет в облике светоносного вождя, бледного ящера, величественного Мессии... Она улыбнулась. На этот раз провала не будет... Никто не отнимет у нее корону.

И она приказала смочить губы распятого уксусом.

Нет, эта боль пришла неожиданно. Снова крест? О нет! Повторение невозможно. Разыгрывать комедию смерти? Для чего? Он уже доказал, что смерть – одна лишь видимость. Умирать и воскресать – это наружные перемены, переход от одной формы существования к другой, не больше. Он вновь посетил мир не для того, чтобы искупить уже искупленные грехи и показать известный всем путь. Что ему – опять и опять жертвовать собой ради человечества, повторяясь, как испорченная пластинка? Смех один! Публичную миссию он исполнил в первый раз. Они хотели Мессию, они его получили. Зачем нужен второй? Он сделал все: искупил грехи людей, превратил их падение в восхождение. Теперь настало время заняться собой. Стать человеком, но полноценным человеком, не останавливаясь на тридцати трех годах. Отведать вкус старости, прожить осеннюю пору жизни, испытать предсмертные судороги в своей постели, уйти в окружении детей и внуков, познать до конца, что такое быть восхитительной посредственностью, сгнить в земле, отдохнуть от чудес, от вечности, от совершенства, от всемогущества, погрузиться в море следствий и позабыть о причинах. Праздник повседневности! Не дать ни одного урока! Сделаться не

наставником, а учеником, ничего не менять в мире, наслаждаться ужином, не произнося проповедей, добывать хлеб в поте лица своего, совершать чудесные ошибки, отдаться на волю плоти, не брать на себя никакой ответственности... Каникулы!

Эта несчастная немая не подозревает, какой опасности она подвергает планету, Галактику, да что там – Вселенную. Нейроны детского мозга не готовы к такому. Надо действовать осторожно, вмешаться, но плавно, постепенно. Как же трудно управлять своей мощью... Один случайный порыв – и тело разлетится, а за ним – все сущее. Шаг за шагом... Раны должны затянуться. Металл – раствориться бесследно. Затем надо упасть на горячую землю. Восстановить поврежденную печень. Ускорить собственный рост. Спешно творить кровавые тельца. Отрастить первые зубы. Раскусить кляп... И после этого он вскочит на ноги – снова тридцатитрехлетний! Давайте же, клетки, внутренние органы, нервы, сухожилия, повинуйтесь! Малейшее сопротивление с вашей стороны – и мир придется создавать заново. А я сейчас не расположен устраивать космическую катастрофу. Овладеть языком, так будет проще. Вспомнить лишь малую часть своих познаний, только то, что пригодится. И не забыть уменьшить мою мать, чтобы она могла ускользнуть незамеченной.

Кинжалы раскалились докрасна, обратились в жидкость, потекли. Ребенок упал на землю рядом с крестом. Раны на руках, ногах и груди затянулись. Седые волосы выпали, показались зубы. Младенец рос. Вот он уже стал подростком, вот – тридцатилетним мужчиной. Здоровое, сильное, смугловатое тело, каштановые волосы, светло-карие глаза, никаких особых примет. Он улыбнулся великанше: размерами и возрастом она теперь напоминала сына. Брат и сестра, – сказал бы любой. Диана Доусон, на грани безумия, не знала, что делать. Пророк отказывался умирать... А без жертвы нет и религии! Ее мечты потонут в океане посредственностей! Она пала на колени перед ним и на языке глухонемых спросила: «Почему?». Ответ читался в его глазах: Бог, становясь

человеком, уходит от людей. Эпоха верховных жрецов закончилась. Мост, воздвигнутый между двумя берегами, отныне висел в пустоте. Человечество должно справляться само. Настало царство анонимных личностей.

Все тело Энаниты пульсировало. Перед ней стоял человек. Да, это он – ее Господин... Она ощутила кожей его увлажненный член, но не устыдилась: ведь он был Создателем и Отцом. Но еще и сыном, рожденным из ее чрева: плоть от плоти и кровь от крови. А самое главное – возлюбленным, второй половиной. Энанита испытала жесточайший позыв немедленно зачать от него, получить от него отцовскую ласку и дать ему самому ласку материнскую. Она позабыла обо всех мужчинах, с которыми встречалась прежде, и отдалась ему, Кристобалью Колону, чистейшая, оставившая все без тени сожаления...

И что – позволить им слиться, вот так просто? На радость нарциссистам? Прославить кровосмешение? Тому, кто есть Бог во плоти, легко наслаждаться грязью. Но для людей гниение и распад – вовсе не праздник. Чудовище, несправедливое чудовище! Считает серебро перед всем народом! Идеальная пара, что живет в долине, вдали от всех, возделывает свой сад, питается свежими яйцами милых курочек, совокупляется днем и ночью, порождает на свет толстых детишек, с блаженной улыбкой вдыхает прозрачный воздух, уверенная в том, что в конце дороги ее ждет лучший мир... Зависть вытеснила гнев. Диана Доусон восстановит справедливость! Она расстреляет Бога и эту шлюху – его мать! Вырвав автомат из рук Гаргульи, она тщательно прицелилась в спину Кристобалью Колону и Энаните, шагавших, обняв друг друга, в сторону гор.

Мачи сразу все поняла. Белая Змея отреклась. Индейцы остались без организующего центра. В следующий раз час мести настанет века спустя... Она поглядела вокруг себя единственным глазом, мгновенно все увидев, оценив, взвесив... Ей было известно, что нужно делать и чего не нужно. Прежде всего – не дать свершиться преступлению... Святотатство приведет лишь к тому, что Змея погибнет, и в арауканском народе будут расти поколения нытиков, взывающих

к новому пришествию, терпя бесчисленные унижения... Потом, отпустить эту парочку на свободу. Не стоит делать из них мучеников. Надо убедить воинов, что безъязыкая женщина ошиблась, что ребенок – всего лишь мелкий насмешливый дух... И показать им – последнее – настоящую Змею! Ложь? Да, но ложь во спасение. Что, если Бог устранился от дел, дав людям решать все самим? Можно выбрать кого-нибудь из белых: он станет живым символом и сплотит вокруг себя весь народ. С помощью Нгуенечена и Нгуенемапуна, двух ликов Верховного существа, а также магических пассов, узнанных благодаря сыну солнца, она сможет осуществить свой грандиозный замысел: вернуть арауканам утраченную честь и достойно править на чилийской земле.

Палец Дианы Доусон уже начал нажимать на курок, когда Мачи, зарывав, превратилась в Марепуанту и, по-тигриному подскочив к ней, вырвала из рук автомат и повалила на землю. Гуалы зарывали подобно своей предводительнице и обезоружили проститутку. Теперь все было под контролем! Мачи произнесла речь по-индейски. Кристобаль Колону и Энани-те позволили беспрепятственно уйти в горы и жить там скромной семейной жизнью. Он обернулся и в последний раз поглядел назад, сделав такой жест, словно перед ним воздвиглась стена. Исчезнув из виду, оба оказались забыты, не оставив ни единого следа в памяти своих бывших товарищей...

Марепуанту обратился к немой Наставнице голосом, шедшим будто из-под земли и от начала веков. Хриплым эхом он отдавался в горах; над холмом появилась темная туча.

– Ты хотела выпить пространство, принадлежащее другим, побороть бесконечность времени, поставить свое имя в центр мироздания... Ты жадно хранила горсть песка, стоя посреди пустыни... И не отдавала себе отчета, что твоя победа неизбежно обернется поражением. Но все же ты добра, благородна и красива. Раскрой ладони, выпусти свое имя, дай прийти возрасту, скрести ноги, расслабься, будь говорящим камнем, поющим камнем, любящим камнем...

Диана Доусон погрузилась в глубокую медитацию. Горячий ветер сорвал с нее накидку и тунику, и она осталась

обнаженной: скелетообразное тело, испещренное шрамами. Кожа, которую многократно подтягивали, уступила естеству, по ней волнами пошли тысячи морщин. Еще один порыв ветра – и с ее головы сорвало парик. Безволосая, она разинула рот и глубоко вдохнула, с удовольствием, неведомым ей прежде. Затем выплюнула вставную челюсть. Туча пролилась дождем, разразилась громом, озарила окрестности молнией. Наставница застыла, парализованная электричеством, и превратилась в статую из блестящего гранита. Небо прояснилось. Акк недоверчиво пробормотал: «Мачи тут ни при чем. Обычная молния. Совпадение, и только».

Гуалы семь раз протанцевали вокруг монолита под звуки *тфутрук, пифилек и культрун*, а потом спустились с холма, возвращаясь в селение. Гаргулья умоляла о чем-то Мачи на местном наречии. Ее желание было исполнено. Верные Наставнице, они решили отдать ей свои жизни и, вознамерившись не принимать пищи и питья, расположились вокруг камня.

Держа свое слово, проститутки неподвижно ждали конца под звездным небом. Гаргулья поцеловала каменные ступни Наставницы и, собрав воедино всю энергию, порожденную страданием, вызвала из дебрей памяти жесты Розы Кристины, безумной ваятельницы, лепившей статуи из воздуха. Она знала: из своей вечности Наставница помогает ей, и начала ощупывать пространство, мять его, поглаживать, вытягивать, сжимать... Да! Ей тоже это доступно! С благоговением она возвела рядом со статуей первую колонну невидимого мавзолея – и помолилась, чтобы Наставница помогла ей закончить работу до смерти. С восходом солнца прилетят миллионы пчел со своими царицами, устроятся в щелях незримых стен и начнут изготавливать соты. Скоро на этом месте встанет медовый храм.

Все были взволнованы предстоящей встречей. В каком-то смысле Карло Пончини распахнул им дверь: мир начал меняться именно тогда, когда они выдумали его. А может, они теплepatическим образом уловили его существование... Однако на вопрос о Пончини ответа не последовало. Ах да, ведь Рука и Тотора звали его «Дон Никто». Дети тут же откликнулись:

– А, вы хотите видеть ворона? Идемте!

Ворона? Философ такого масштаба должен преподавать в Чилийском университете, а не ютиться в глухой деревушке. Ворона! Ребята, смеясь, таща с собой связку бананов, повели их в уголок леса с особенно густой растительностью. Пролагая путь через кусты, усыпанные ягодами ежевики, они вышли к некоему подобию пещеры, своды которой образовывала листва. Солнечный свет, приглушенный плотными кронами, отражаясь от сырого мха, принимал здесь странный зеленоватый оттенок. В центре этого убежища стоял старинный дуб, многометровый в охвате, и протягивал кругом себя ветви, точно щупальца: он царил надо всеми прочими растениями, присваивая себе солнечные лучи. Дети перестали хихикать и поклонились дереву, как царю. После этого, опять отдавшись смешливому настроению, они привязали банан к веревке, свисавшей между листьев. Невидимые руки схватили плод. Тишина. На голову Акка свалилась кожа. Вербка спустилась обратно. Дети привязали к ней еще бананов, но когда сверху протянулась рука, удержали груз, не давая ему подняться. В других обстоятельствах Акк не пошевелился бы. Но после стольких унижений, когда Мачи облила его мочой, едва он открыл рот, эта банановая шкурка – да еще упавшая на самую уважаемую часть тела – вывела его из себя. Присоединившись к детям, он потянул так сильно, что из листвы показалось чье-то обнаженное тело. С воробыиной ловкостью человек перекувырнулся в воздухе и приземлился на большой сук. Худой, костлявый, мускулистый, без единого грамма жира; кожа плотно обтягивала его лысый череп, на котором сзади виднелось несколько длинных, словно перья, прядей. Спереди противовесом им служил выдающийся горбатый нос, непропорционально крупный для маленькой головы. Человек кинул взгляд направо, налево, и беспокойно задвигал челюстями, дожевывая остатки банана. Карло Пончини и вправду походил на ворона... Дети оживленно приветствовали отшельника и бросили ему оставшиеся бананы. Тот поймал их на лету, не потеряв ни одного, с довольным урчанием очистил,

сложив шкурки рядом с собой, и быстро пожрал белую мякоть. Акк раскинул руки, сдерживая энтузиазм товарищей. Ему, и только ему, принадлежит честь завязать беседу – не зря же его избрали вождем отряда. Сейчас речь шла не о сношениях с невежественными индейцами, а о диалоге между философами.

– Уважаемый коллега! Я и мои друзья рады, более того, счастливы установить контакт с вами – мыслителем, отыскать которого стоило нам стольких трудов. Наша университетская делегация пересекла, и далеко не всегда в достойных ее условиях, половину страны лишь для того, чтобы встретиться с вами и оказать вам посильную поддержку. Такой эрудит, как вы, не заслуживает столь нищенского существования. Аудитории альма матер призывают вас! Несколько поколений молодежи нетерпеливо ждут, когда вы своими вдохновенными словами приоткроете триполярный покров метафизики... Мы просим вас спуститься с дерева и вернуться в лоно цивилизации...

Старик резким движением сбросил кожуру на голову Акку. Вслед за чем повернулся задом. Акк поспешно отступил – не хватало еще подвергнуться новым оскорблениям. Он pokrutil пальцем у виска. Одна девочка достала из мешка кусок козьего сыра. Человек-ворон виртуозно запрыгал с ветки на ветку, делая сложные перевороты в воздухе – такова, очевидно, была плата за еду. Закончив представление, он уселся на сук и протянул раскрытую руку за обещанной наградой.

Зум почувствовал прилив вдохновения. Он вырвал сыр и осторожно приблизился к философу, пускавшему слюну по случаю ожидаемого пира. Зум вложил сыр ему в правую руку и, пока старик подносил его ко рту, завладел кистью левой руки, потер ладонь, чтобы под грязью проступила сеть линий, и мягким голосом начал свою лекцию. Пончини, поглощенный процессом жевания, не шелохнулся.

– Я прозреваю, пусть только отчасти, жизнь вашей матери. Дочь известного «человека, который не смеется», сурового судьи с параличом лицевых мышц, Карла Пончини, занимавшая должность профессора эстетики в Римском

университете, посещала бедные протонародные цирки, собирая материал для своего труда «От кур – к паяцам, от паяцев – к ангелам». В одно из таких посещений ее соблазнил клоун по имени Маттео. В сорок лет от роду она потеряла девственность на куче соломы, возле трупы слона, умершего, поскольку его окрасили в розовый цвет для номера «Выпивший Маттео». Проснувшись, она обнаружила, что обнимает слоновью тушу, без туфель и без денег. Цирк уже уехал (возможно, хозяева не хотели тратить на похороны животного), Карла же осталась беременной, хотя еще и не знала этого. Как и ее отец, она не умела смеяться. Когда живот ее вздулся, она захохотала и не переставала делать это до рождения ребенка. Даже кончина отца (узнав, что дочь в положении, он пал жертвой инфаркта) не умерила ее смешливости. После родов ее сразу же поразил наследственный лицевой паралич. Мать презрительно назвала вас Маттео и доверила попечению служанки. Иногда вас вносили в аудиторию, где Карла разглагольствовала о Гегеле или Декарте. В пятнадцать лет вас забрали из интерната, чтобы впервые дать пообщаться с той, кто породила вас на свет. Однако вы обменялись лишь тремя фразами, ибо мать пребывала в агонии. Она вручила вам незавершенную рукопись книги о паяцах, попросила довести ее до конца и во второй раз за свою жизнь разразилась смехом. Тут у нее лопнула аорта. Вы легко поступили в университет, прекрасно учились, не заботились о деньгах (состояние судьи нетронутым перешло в ваши руки) и были окружены толпой почитателей. Вы подписали книгу «Карло» в память о матери, рассуждая в трех ее частях о трех полюсах метафизики. Первая часть называлась «Куры», вторая – «Паяцы» и третья – «Ангелы». Получив международную известность, вы охладели к науке, так как последняя воля вашей матери была выполнена. Вам было видение: белая седовласая змея показывает вам карту Таро, «Мат». Стало понятно, что в имени отца – разгадка всей вашей жизни. Если к свободному существу арканов Таро – без коней, без планов, без свойств – прибавить «Тео», «бог», то получится «Маттео», божий человек, юродивый, нищий, бродящий в поисках Души Мира... В 1931-м вам в



руки попала книжка «Traditions et croyances des indiens Araucans»<sup>1</sup>. В ней сообщалось, что арауканским Мачи в видениях постоянно являются белые седовласые змеи, что от колдуньи к колдунье передается полузабытый священный язык, возможно, самый древний на Земле. Язык особого свойства: если на нем произнести «огонь», изо рта Мачи вырвется пламя... Вы бросили все и прибыли сюда, на южную оконечность мира... Так говорят линии на вашей руке... Больше я прочесть ничего не могу.

Удовлетворенный своей речью, Зум обвел взглядом товарищей, не отпуская руку помешанного. Никогда еще ему не доводилось вывести так много от нескольких скупых линий. Нет, он ничего не выдумал. Даже если бы ему не сказали, чья это ладонь, он прочел бы на ней то же самое. Все тщательно запечатлено здесь, ошибки быть не может. Он попытался было заглянуть в будущее, но человечек, выдернув руку, взял его двумя пальцами за ухо и увлек с собой. Добравшись до какого-то места, он извлек камень и потряс им перед носом своего пленника. «Что, он хочет сломать мне нос? Или я должен проглотить этот камень?». Костлявый палец указал на серую поверхность. «А-а, надо прочесть! Но здесь ничего не написано! Может быть, невидимые чернила?». Зум зашевелил губами, будто читал священный текст, в надежде обмануть старика. Тот плюнул ему в лицо и показал какие-то черточки на камне: две, идущие почти параллельно, одна кривая, другие, не такие глубокие... Пончини поднес камень к своей левой руке. Зум догадался, что линии на камне и на ладони совпадают. Вот линия сердца, затем линии разума, жизни, творчества и страдания... Судя по всему, камень был таким от природы. Хумс, обретя былую способность к иронии, засмеялся:

– Толстячок наш, если верить тебе, то этот булыжник был профессором философии в Римском университете... Вот что птичка имеет в виду...

---

<sup>1</sup> «Традиции и верования индейцев-арауканов» (фр.).

Карло Пончини внезапно прервал всеобщее веселье. Не выпуская из рук ни камня, ни уха, он спросил дребезжащим голосом:

– Без начала, без конца – что это такое?

Ай-ай-ай! Как можно ему, Зуму, полному профану в метафизике, задавать подобные вопросы? Что же ответить? «Вселенная»? «Всемогущий Бог»? «Космическое сознание»? «Жизнь как таковая»? «Груша на ветке, мы под деревом, тени движутся»? Раскинуть руки и воскликнуть «Это»? Почесать себе зад? Начать обмахиваться листком? Поцеловать ему ноги, сказав: «Ты!»? Недовольно пробурчать: «Уже закончилось»? Выдать презрительное: «Не знаю»? Но ведь ему известно, что все сущее бесконечно, что ничто не начинается и не кончается, что любая вещь пребывает в вечности и в каждом «я» заключена Вселенная! Поцеловать в губы?..

Зум вспотел от такого обилия мыслей. Слишком сложный вопрос для его бесхитростного ума... Поэтому он выбрал самое простое:

– Но, дон Карло... Что значит ваш наивный вопрос? Какой ответ вы хотите получить?

Старик наклонился к лицу Зума и прошепел, заплевав ему глаза непрожеванными кусочками сыра:

– Интеллектуал, учись умирать!

И стукнул собеседника камнем по лбу. Полилась кровь. Зум рухнул на землю без сознания.

Звук был таким громким, как от ружейного выстрела. Что, если несчастному проломили череп? И он корчится в агонии? Все окружили беднягу, слегка хлопая его по щекам, чтобы привести в чувство. Зум открыл глаза, изобразил улыбку до ушей, вскочил на ноги, обнял Пончини – тот, ворча, вернулся на свое дерево – и понесся сквозь кусты, окрашивая их в красный цвет, с криком:

– Му!<sup>1</sup>

Деметрио чуть не стошнило от этого псевдовосточного озарения. Он влез наверх по корявому стволу и присел на

---

1 Нет! (яп.). Реплика из классического дзэнского коана.

корточки перед Пончини, всем своим видом демонстрируя олимпийское безразличие. Тот потрогал пальцем земляной наряд Ассис Намура, понюхал его, явно намереваясь что-то сказать. Но Деметрио опередил его, выдав холодное «Нет!».

Пончини прыгнул на него, схватил за шею и стал душить. Потом потащил, еле живого, на длинную ветку, под которой простиралась небольшая топь, и сбросил поэта туда. Лже-пророк погрузился в грязь, увязая все глубже и глубже.

Деметрио, казалось, уже простившийся с жизнью, отвергнувший все иллюзии, признавший свою ничтожность даже по сравнению с каплей воды в океане, при виде близкой смерти – по идее, события столь же незначительного, как и его существование, – вместо того, чтобы наглотаться грязи и мужественно принять свою судьбу, дико запаниковал, маша руками, опорожня мочевой пузырь, прося, умоляя, обещая, если выберется на поверхность, никогда больше не придавать метафизического значения грязи. «Время умирать не настало и никогда не настанет. Я не хочу бросать все, я хочу спасти свою шкуру. Если выживу, буду жить полной жизнью, клянусь!». Тут большой палец его правой ноги нащупал скалистый выступ. Деметрио оперся на него, хотя было немного больно. Эта минимальная опора позволила ему вытянуться и высунуть кончик носа. Он благодарно вдохнул порцию зловонного воздуха – и остался неподвижен. Любое телодвижение увлечет его в гибельную трясину. А что же делают товарищи для его спасения? Он чуть-чуть повертел головой – и паника уступила место гневу. Общество клубня собралось у края болота и голосами паяцев обсуждало: надо его спасать или не надо? Имеет он право быть вытащенным из воды или не имеет? Почувствует ли он себя хорошо, будучи спасенным? Не отразится ли это на его мозгах?

– Идиоты! Я тону! Без шуток!

Но те явно были настроены издеваться и дальше.

– Ну что ж, гибнуть так гибнуть...

Внезапно им овладела страшная усталость. Смешная ситуация. Смешная жизнь. Мир паяцев. Зачем цепляться за

существование? Оно того не стоит. Приблизим же конец! И Деметрио убрал ногу прочь.

Когда он погрузился с головой, все замолчали и принялись действовать. Га раздвинул ноги. Лаурель вскарабкался ему на плечи. На самом Лауреле разместился Толин, а на Толине – Акк. Медленно наклонившись к утопающему, они образовали живой мост. Хумс, Американка и Боли (Зум по-прежнему бегал среди деревьев) вцепились в ноги колосса. Толин потянул Деметрио за волосы, но поскольку Га, измазанный в грязи, весил центнера два, трио не удержало его и соскользнуло в топь. Не желая утонуть, все забили руками по поверхности болота, пытаясь опереться друг на друга: было уже непонятно, кто есть кто в этой грязи. Дети на берегу усиливали неразбериху, обстреливая неудачливых спасителей камнями, и забавлялись, попадая кому-нибудь по голове. Зум носился туда-сюда, дергая руками, – он считал, что дирижирует оркестром из птиц, и вовсе не понимал серьезности положения. Наконец, сквозь мешанину тел прорезался чей-то рыдающий голос:

– Дон Карло, пожалуйста, помогите нам...

Пончини, с сияющим лицом каркавший на своей ветке, немедленно кинулся головой в болото, но тут же вынырнул, плавая и резвясь в жидкой грязи, словно в собственной ванной. Для него, видно, она не представляла опасности. Члены Общества понемногу перестали вопить и хвататься друг за друга, со стыдом осознав, что у трясины имеется дно... Надо было лишь нащупать ногой твердый камень и встать на него. А они, вслед за Деметрио поверив, что погружаются в бездонную пучину, упорно сгибали колени. И не подай им пример полоумный философ, все бы утонули. Выбравшись на берег, сотоварищи свалились без сил. Дети устремились в болото и завязали шуточное сражение со стариком, брызгавшим в них грязью...

Не смея смотреть друг другу в глаза, путники обмывали свои тела в кристальных водах Биобио, и усерднее всех – Деметрио. Судя по его упорству, он, несмотря на просьбы

Американки, возжелал навсегда расстаться с Ассис Намуром. Безразличие перестало определять его поступки.

Прибежал и Зум, объявивший, что в качестве Девятого Воплощения Божества он помочится на каждого из них. Его связали по рукам и ногам и понесли в селение. Акк брюзжал:

– Надо поискать новую цель для нашего путешествия. Мы не получим Пончини, ни живого, ни мертвого!

Алое облако возвещало близкие сумерки, скорый приход вечера, в течение которого ему придется разочаровать тридцать тысяч рабочих. Приходилось признать, что без Вальдивии он не способен ни на что. Даже прочитать хоть одну строфу из последней поэмы. У него всегда было плохо с памятью, и, судя по событиям последнего времени, также со скромностью и талантом. Вальдивия подражал ему, и что такого? Хромец придумывал бы стихи, избавляя его от трудов и риска. Он взвалил на себя самую тяжелую и неблагодарную работу – сочинять оды и подвергать себя риску, – в то время как Виньясу доставались лавры и почет. Он даже не нарушил его, Неруњи, исторического облика, поскольку тщательно воспроизвел три знаменитых пряди. Самовлюбленный кретин, тысячу раз кретин! Что теперь делать? Объявить себя больным? Его внесут на носилках. Антофагаста кипит, узнав о его прибытии, все декламируют стихи Неруњи – вплоть до детей... Стихи Неруњи... То есть хромого Вальдивии... Стены заклеены плакатами с серпом и молотом внутри чилийской звезды, на которых можно прочесть крупными буквами: «Неруња в городе!». Ни армия, ни полиция не вмешаются: это будет означать гражданскую войну... Он уже заметил на улицах сотни картонных фигур, изображавших его, с прославленным трезубцем прядей... Карнавал, на котором он будет шутом. Покончить с жизнью? А что? Если не будет иного выхода? Устроить критический разбор последней поэмы, строчка за строчкой? Бред! Он ведь не на собрании литераторов. Через десять минут толпа заволнуется, еще через десять его побьют камнями. Столько напрасных усилий! Леба-тон и Загорра пробираются по крысиным ходам, жертвуя

своим личным счастьем, – и все для того, чтобы несчастные рабочие потерпели поражение из-за него, Виньяса! Он ответил себе жгучую пощечину. Мало! Он заслужил палку с гвоздями на конце...

На сухой почве обозначались извилистые следы ящериц. Рядом с громадными бетонными блоками – остатками статуи Неруњи – пробивалась чахлая крапива, единственное зеленое пятно в пейзаже... Ступни, чуть подальше – колени, грудь, шея, облепленная чайками... Голова, как говорят, покоится на дне моря. Если бы он не обидел лучшего друга, после триумфального выступления местные жители восстановили бы памятник, приладив другую голову – его собственную... Он позабыл на миг о своих печалях и сел у руин, живо представив себе изваяние со своим лицом, тремя бетонными прядями... Величественное зрелище!

Гитарные аккорды вывели его из мечтательного состояния. Кто пришел в эти пустынные места – отдать почести его поверженной статуе? Подняться на этот горячий холм, без малейшего признака тени – да это истинный подвиг! Только ящерицы здесь и могут жить. Не желая гасить порыв вдохновения, Виньяс на цыпочках пошел туда, откуда слышалась музыка. Оказалось, что она доносилась из темного уголка внутри цоколя-храма. Завидя приближение чужака, кто-то задул свечу. Музыка смолкла. Только трение одежды о колонны. Бедные сограждане, живущие в страхе перед карабинерами: им запрещено выражать свои чувства таким замечательным образом! Поэт растрогался. Сквозь слезы, гнусавым пророческим голосом, он начал:

– Мои чилийцы, коснитесь вновь гитарных струн! Зажгите свечу! Пусть вернется к вам веселье! Ночь на исходе, близится рассвет... Пришпоривая слово «свобода», я спешу к вам, чтобы слиться с народом!

И, раскрыв объятия до хруста в лопатках, он воскликнул:  
– Друзья мои, это я – Нерунья!

Прошло несколько секунд. Эхо его слов затихло. Воцарилось молчание, прерванное чирканьем спички о коробок.

Непомушено Виньяс быстро смочил палец слюной и пригладил пряди. Наконец, один из незнакомцев зажег свечу.

Три силуэта отбрасывали на стену гигантские тени. Двое, похоже, были женщинами. Между ними стоял внушительно-го вида мужчина, закутанный в плащ и широкий шарф. Он подошел к Виньясу и с силой толкнул его в грудь, потом взял за шею и тряхнул. Непонятно почему, Виньяс сразу догадался, кто это: имя всплыло откуда-то из нутра. Рано или поздно их пути должны были пересечься...

Он стойко переносил удары и оскорбления: спокойствие, небывалое спокойствие овладело им. Он спасен! Никакого выступления: ему нашлась замена! А побои не будут длиться долго: тот, в плаще и кашне, скоро устанет, пот и так льется с него ручьем...

– Вор! Плагиатор! Ублюдок!

Устав, Хуан Нерунья присел рядом с избиваемым передохнуть. Виньяс пощупал свою грудь: слава богу, все ребра целы. Он издал пару жалобных вздохов и тонким голосом принялся извиняться.

– Это не было заранее обдуманном шагом. Судьба распорядилась, чтобы я похитил у тебя лицо... Я прошу прощения... Пришлось совершить невозможное, чтобы остаться на высоте положения и не поколебать любви народа к Нерунье... Я превратился в канал, по которому вы, и только вы, нашептывали оды, произносимые мной с трибуны... А-а-ай!

Он прикусил язык, так как вспомнил, что приписывает себе заслуги Вальдивии, и стал ощупывать бока, делая вид, что боль – следствие пинков. Нерунья по-королевски поднял руку в перчатке, призывая его к молчанию. Между широкой шляпой и черными очками виднелась белая полоска – единственный кусочек кожи, выставаемый на обозрение публики, гладкий, бархатистый, словно у девушки. Раздался гнусавый голос поэта... Непомушено разразился рыданиями, вполне искренними. Одно дело – подражать этому голосу, медленно выговаривающему слова, слушать его по радио или на пластинке, и совсем другое – воспринимать его вблизи, вживую, в сочетании с массивным телом.

– Послушайте, виноваты во всем не вы, а предатель Виуэла. Я должен быть вам благодарен. Вы не украли у меня лицо, а, наоборот, подарили мне его...

И легендарный герой медленно снял плащ, шляпу, шарф, жилет, делавший его толще примерно вдвое, котурны, поднимавшие его над землей сантиметров на тридцать, и все остальное.

Виньяс был поражен. Невероятно! Перед ним стоял худой человек обычного роста. И без лица... Кожу с него словно содрали: сплошные рытвины, шрамы и пятна. Уши, нос – все было безжалостно изъедено, к губам точно прилипли нити, распространявшиеся на щеки и на шею. Ни бровей, ни ресниц, ни волос: лунный пейзаж...

– Как видите, товарищ, я – жертва оспы. Меня бросили трехмесячным на проезжей дороге. Монахини подобрали меня, и я выжил лишь чудом. Монастырская библиотекарша долгими дождливыми днями читала мне стихи. Я впитывал их вместо материнского молока... Но к чему рассказывать это... Расти было для меня непростым делом: яички мои никогда не опустились в мошонку, отсюда – высокий, тонкий голос, который я превратил в гнусавый. За неимением тела мне пришлось создать силуэт. И я выдумал теорию, согласно которой поэт не должен показываться читателям: важны только его творения...

Виньяс едва не упал в обморок. Снова ловушка! Настоящий Нерунья не может появиться перед тридцатитысячной толпой! Ему не дадут выступить, как раньше, закутанным, а потребуют снять шляпу, показать те самые три пряди... Стараясь выиграть время – вдруг в голову придет какая-нибудь мысль, – он заключил калеку в объятия и расцеловал в щеки, подавив отвращение.

– Брат Нерунья, хотя обстоятельства вынуждают меня занять место, принадлежащее вам по праву, я больше не могу подделываться под вашу поэзию. Она глубока, она неподражаема, а ведь главное – чтобы стихи выглядели подлинно неруньевскими... Я прошу, нет, требую, чтобы вы прямо сейчас создали гениальную поэму, которую ждет народ, готовый



ринуться на завоевание свободы! Я ограничусь тем, то прочту ее вслух, хотя и лишу себя при этом наслаждения сочинить стихи в вашем несравненном стиле...

– Не надо лишать себя удовольствия. Ваши оды – лучшее, что я написал. Вы довели мой стиль до совершенства. Вас зажигает энергия толпы. Я, наедине с пером и бумагой, не могу сделать то же самое. Пусть коллективное опьянение вознесет вас на вершину творчества...

– Если я буду знать, что вы слушаете меня, затерявшись среди народа, то ничего не сумею... У меня слишком много комплексов.

– Перестаньте, дон Непомусено. Мы хорошо знаем друг друга и меру нашего обоюдного тщеславия. И, выступая перед публикой, мы не имеем права оступиться... Кроме того, признаюсь, в изгнании музы покинули меня. Я бы сказал даже, что они переселились к вам. После бегства из столицы я не создал ни единой строки. Да и зачем? Я уже давно бесплоден...

Непомусено Виньяс потерял контроль над собой. Страх свалился на него, как камень, захлестнул, как штормовая волна. Отступать некуда. Антофагаста и близлежащие шахтерские поселки будут разочарованы Неруньей. Прощай, Революция! И все из-за него. Плача, он стал лепетать про хромого Вальдивию – и выложил все. Как его секретарь импровизировал поэмы, как они – совершенно по-дурацки – расстались...

Хуан Нерунья задумчиво молчал.

Женщины с гитарами вышли наружу и коснулись струн. Непомусено узнал Эми и Эму.

– Мы обязаны продержаться! Ради Чили, ради поэзии, Хуан Нерунья должен жить дальше! Иначе Виуэла возьмет верх!

Так сказал Нерунья. Он порылся в своих одеждах и достал кинжал.

– Поднявшись на помост, среди шума рукоплесканий, вы воскликнете: «Нерунья отдает жизнь за народ, чтобы народ отдал жизнь за Революцию!» – и вонзите его себе в грудь.

Виньяс сглотнул слюну, поперхнулся, улыбнулся. Слегка поиграл мускулами. Вот он – выход! Умереть! Поэт бросает

ему вызов – этот вызов надо принять. И потом, что еще остается? Он крепко сжал руку барда.

– Эти пять пальцев не подведут, Хуан. Сегодня вечером они окажутся на высоте. Нерунья войдет в историю так, как и должен войти: гением и героем!

И он твердым шагом направился к порту, обернувшись по пути для последнего прощания.

Эми и Эма накладывали грим на лицо Неруньи: став пацем, он наконец обретет лицо. Пирипипи снова пустится по свету, наигрывая вальс на монетах...

Я прощался с собой в слезах,  
но как радостно было найти  
нам друг друга в конце пути!

Холмы и набережная были усеяны народом. Ласковые волны, накатывая на песок, бормотали что-то свое. Свежий бриз заметно улучшал акустику. Для почетного гостя отвели большой плот, стоявший прямо под маяком. Чтобы поэт не замочил ног, сотня рабочих держала на плечах специальные мостки, ведущие на плот с берега. А если бы народный любимец захотел уединиться, призывая к себе муз, – для него соорудили хижину из листов ржавого железа.

Сидя в кресле из ивовых прутьев, перед пустым ящиком, с бутылкой руке (он не осмеливался ее открыть – можно неверно рассчитать удар и попасть в сердце), Непомусено Виньяс молился. Он намеревался исполнить задуманное, но лишь наполовину: вонзить клинок почти в плечо, так, чтобы острие задело кость. Придя в сознание, он станет рассказывать, что ангел со сталинскими усами спас его, отклонив роковое лезвие... Если ему поверят, он примется за поиски Вальдивии – на земле, в небесах и на море, чтобы успеть к следующему выступлению.

В стенку хижины постучали.

– Здесь один человек, с парализованной матерью... говорит, что он ваш брат. Впустить?

О черт! Виньяс и не подозревал, что у Неруньи есть мать и братья. Разве его не бросили на проезжей дороге? Так... но,

может быть, позже он все-таки познакомился со своей родительницей. А она-то знает, что лицо настоящего Неруны изрыто оспой! Его разоблачат!

В припадке сумасшествия Виньяс попытался бежать через окно, но окон не было. Обрушить стену? Скандал! Он загнан в угол. Придется впустить. Если дело примет серьезный оборот, он зарежет их. И прибавит к своей исторической фразе такие слова: «Поэт также отдал ради народа жизнь своей матери и сестры». А как иначе? Для серьезной болезни – серьезное лекарство! Виньяс покраснел: кажется, он впадает в пошлость... Надо сдерживаться. Он глубоко вдохнул, спрятал руку с кинжалом за спиной и с лучезарной улыбкой отворил дверь, сколоченную из досок сломанной бочки.

– Привет, старик! Не узнаешь?

О, какое неуважение к крупнейшему национальному поэту! Нет, только поглядите: как по-хамски он втолкнул сюда кресло-каталку! Старуха спит – почему бы не оставить ее за дверью? А если это наемные убийцы, подкупленные правительством? Конечно же, они вооружены автоматами и продырявят меня в два счета!..

И он приставил кинжал ко лбу непрошеного гостя.

– Руки вверх!

– Да что с тобой, Непомусено?

Ого! Этот тип знает его имя! Точно, шпион Виуэлы! Виньяс нацелился в яремную вену. Пришедший отпрыгнул назад, потеряв шляпу и парик.

– Дурак, это я, Марсиланьес!

С радостными криками они упали друг другу в объятия. На несколько минут Виньяс забыл о своих тревогах, выясняя, что случилось с одноруким. Почему он с этой старухой?

Аламиро распахнул халат женщины, снял с нее шапку. Пышная грива огненных волос рассыпалась, доставая до пола. Эстрелья! Спит? Или это наркотическое опьянение? Сквозь прозрачный пластиковый мешок – свободна была лишь голова – Непомусено мог созерцать ее бесстыдную наготу.

По просьбе Марсиланьеса поэт помог ему снять необычное одеяние – и от густого запаха фиалок у него потекли

слюнки. Одурманенный ароматом, шатаясь, Аламиро показал пальцем на глубокую рану в ложбине между грудей. Затем упал в кресло-каталку и рассказал о своих приключениях.

Мертвая поэтесса, чье тело не разлагалось, взывала об отмщении. Аламиро попробовал разыскать Лебатона, чтобы покарать войско убийц, но генерал с шахтерами как сквозь землю провалились. Он услышал о выступлении Неруньи и на перекладных добрался до Антофагасты, чтобы Непомусено сообщил ему хоть что-то о восстании.

Тот слушал рассеяннo: снаружи уже раздавался гул многотысячной толпы, жаждущей узреть своего кумира. В наплыве чувств он подошел к покойнице, пробормотал «Прости...» и воткнул кинжал в ее рану. Отверстие в груди подходило к клинку идеально, будто ножны.

«Аллилуйя!» – завопил поэт и, обняв калеку за талию, стал выделявать танцевальные па.

Маяк ярко освещал плот. Невообразимый гам царил на набережной. Овации сотрясли город и окрестные холмы. С лодок в небо взвились ракеты, рассыпавшись сотнями цветов. Наспех сколоченный оркестр заиграл национальный гимн. Слезы показались на глазах собравшихся с красными флагами в руках, одетых тоже в красное: фартуки, рубашки, брюки, носки... Непомусено прошел по мосткам, неся на плечах тяжелый крест. Он несколько раз упал на колени, ссадив их до крови, но отверг всякую помощь. Позади него везли кресло на колесиках с каким-то большим свертком.

Когда он дошел до середины плота и установил крест, лихорадочно озирая людскую массу, ему аплодировали в течение получаса. После этого установилось молчание: все напряженно ждали новой поэмы...

Аламиро Марсиланьес порывистым движением откинул покрывало, и в кресле-каталке обнаружилась женщина, обнаженная, рыжеволосая, белокожая, с кинжалом между обширными грудями. «О-о!» – прокатилось по толпе.

– Товарищи! – дрожа от возбуждения, взял слово Виньяс, полностью преобразившийся в Нерунью. – Эту женщину убил предатель, чье имя пачкает мои губы: Геге Виуэла!

Возмущенный гул.

– Она – простая рабочая женщина. В чем было ее преступление? В том, что она прилюдно просила хлеба, крова и свободы для своих сестер по несчастью! И даже смерть не смогла заглушить ее протеста. Тело мужественной женщины осталось нетронутым и направило свое послание миру! Чувствуете запах фиалок? Эта дочь народа – святая! Она станет нашим символом, нашей предводительницей! Вместо красного цвета у нас будет фиолетовый! Фиолетовые знамена, фиолетовые одежды!

С помощью Аламиро он привязал Эстрелью к кресту, вынул кинжал из раны и потряс им:

– Пусть же преступный металл обратится против самих убийц! Против военных, олигархов, прогнившей буржуазии, корыстолюбивых аристократов и лживых президентов! Поэт объявляет забастовку – забастовку молчания! Он замолкает, ибо это нетленное тело говорит, кричит, вопиет, зовет к оружию! Лучшая поэма Нерунии – вот эта прекрасная женщина!

Массовое помешательство. Тысячи рук протянулись к кресту, словно к знамени. Отсюда, с этого места, ведомые Непомусено Виньясом (за которым тенью следовал Марсиланьес, выговоривший себе должность «Хранителя священного символа», ибо он будет каждую ночь спать в одном помещении с усопшей, не допуская к ней никого), рабочие начали марш на Арику. Воодушевленные нетленным телом, опьяненные цветочным запахом, они сменили красные флаги на фиолетовые, а серп и молот – на перо и лопату, скрещенные над раненым сердцем.

Когда взошло солнце, Непомусено попросил снять себя рядом с распятой, с кинжалом в руке, указывающей путь к победе. Еще он приказал, чтобы вместо его стихов распространили портреты героини и про себя послал к черту хромого Вальдивию.

– Убрать все эти комья земли! Чтоб на паркете не было ни пылинки! Принесите из Ла-Монеды сто пятьдесят

пылесосов! И если сегодня же вечером пол не заблестит, как зеркало, всех арестую, ублюдки!

Геге Виуэла, колеблясь между удовлетворенностью и отчаянием, отдавал приказы по своему портативному телефону, сидя в лимузине. За неделю ему доставили несколько тонн священной земли, высыпанной из конфискованных у населения пузырьков. Но главное – перевернув все вверх дом, удалось обнаружить бесценный трофей: нижнюю челюсть мумии, почерневшую, но с целыми зубами! Браво! А теперь – за уборку! Время поджигает... Пятна на его теле слились в единую желто-кофейную поверхность, с которой непрерывно сочился гной: Виуэла гнил на глазах. Он, первое лицо Республики, разлагается здесь, вдали от глаз соотечественников – а там, на севере, оборванцы объединились вокруг нетленного трупа с цветочным ароматом! Ну, все! Шутки кончились! Пусть кардинал Барата поднажмет на своего Христа! К чему такой Спаситель, который не может спасти президента? Этой ночью кардинал придет сюда, в шелке, в кружевах, с облатками, библиями, святой водой, распятиями, свечами, чашами, – словом, весь этот священный канкан! А еще он притащит мраморный алтарь из кафедрального собора – тот, перед которым служил мессу папа и склонялся американский министр финансов. Генерал Лагаррета будет курить ладан. Ну что ж, что у челюсти нет верхней части – она все равно будет стучать зубами! Надо, чтобы она опровергла сама себя! Навалиться на нее всей мощью церкви и трех ветвей власти – и пусть она выдаст пророчество о семи коровах размером со слона! Его Превосходительство президент дон Геге Виуэла требует экзорцизма! Реликвия, как ей и положено, обязана сотворить чудо и вернуть ему здоровье! Это дело национальной важности... Если Бог не поможет, пусть Барата сговорится с дьяволом! Для этой процедуры Геге с помощью Лагарреты уже добыл основные составляющие – но их следовало использовать лишь в крайнем случае: проститутку и ребенка-сироту.

Вездесущий генерал справился раньше срока. Геге остался сидеть в машине и, так как не был голоден, выбросил в окно полкило икры. Втянул порцию перуанского кокаина и

(чтобы не беспокоила вульгарная физическая боль) изрядное количество морфия.

В одиннадцать вечера на грузовике с величайшими мерами предосторожности доставили внушительный алтарь. Его отнесли в салон, обитый шкурами пантер; ничего не понимающие монашки разложили рядом предметы культа. Большое деревянное распятие XIV века – главное сокровище церкви Св. Франциска – дополнило картину. На книгу Нового завета, обтянутую красной кожей, положили челюсть.

Дом опустел. В полночь прибыли автомобили с участниками церемонии. Из них вышли кардинал и генерал, скрестившие взгляд: ни один не хотел здороваться первым. С криком: «Хватит идиотизма!» Виуэла побежал к ним и, хлопая обоих по спине, повел в дом, будто не замечая, как они зажимают нос с видом отвращения. «Не будем тратить время на раскланивания. Пора начинать».

Лагаррета, как всегда фамильярный, хотя больше и не тыкавший президента в живот (из-за жуткого запаха), спросил, выглядывая из клубов ладана:

– Вот увидишь, Геге, мы живо уберем этот дерьмовый цвет и дерьмовый запах!

Кардинал Барата делал все, что было в его силах: читал «Аве, Мария» и «Отче наш», поднимал и опускал облатки, цитировал Библию, угрожал отлучением от церкви, целовал ноги Распятого, пел что-то на латыни, разбрасывал монетки, перекрестил каждый квадратный сантиметр пространства и несколько часов требовал от демонов покинуть тело президента, а от магической челюсти – извинений. На заре, раздраженный, полумертвый от усталости, он стукнул чашей по алтарю, взял челюсть и помахал ею перед носом Виуэлы.

– Не будь дураком, Геге. Чтобы эти кости застучали, нужно ударить ими обо что-нибудь! Это просто смешно! Здесь нет никаких демонов, а есть только рак!

– Заткнись и не каркай! Я здоров, только одержим злыми духами! А ты – старый трансвестит! Ты и твое деревянное пугало ни на что не годны! Чего вы добились молитвами? Нужна черная месса! Лагаррета!

– Да, мой камамберчик...

– Довольно! Прекрати болтать! Вытащи пистолет! Заставь эту старую развалину задрать сутану до пупка! Вот так, спасибо. А теперь приведи вонючую шлюху и долбаного сироту!

Генерал, ухмыляясь, притащил пленников. Ребенка поставили на четвереньках перед алтарем; женщина, у которой были месячные, слила кровь в чашу. Прелат грохнулся в обморок. Его привели в чувство, закачав в глотку целую бутылку с водкой. Булькая, он с ужасом наблюдал, как Виуэла энергично трясет его за мужское достоинство, вызывая эрекцию. И она пришла.

Президент сунул в зад малышу с полдюжины облаток.

– Кардинал Барата! Я требую от вас выпить эту нечистую кровь и содомировать ребенка, служа при этом мессу! И подбирайте самые грязные слова! Если нет охоты, я вышибу вам мозги.

Трепеща, кардинал наклонился к смуглым ягодицам и вошел между них без особых усилий. (Восьмилетний мальчик был привычен к таким вещам: он уже два года служил в специальном борделе для политиков.) Поднял чашу... Но испить из нее не успел – раздался долгожданный стук:

– Клак, клак, клак-клак-клак, клак...

– Заработало! Урааа! Челюсть говорит! Лагаррета, тебя учили азбуке Морзе! Переводи, быстро!

Кости повторяли одну и ту же фразу. Генерал через силу промычал:

– Семь тощих коров, семь тощих коров, семь тощих коров...

– Нееееет!

Геге в отчаянии бросил реликвию на пол и растоптал. Но «клак-клак-клак» все звучало. Да это же кардинал Барата!

– Это мои зубы! Я не могу сдержаться!

– Хватит насмехаться надо мной...

– Нет, правда не могу... Клак, клак, клак-клак-клак, клак...

Президент, взмыленный, бросился на него, зажав рукой старческий рот.



– Ко всем чертям! Заткнись!

Фарфоровые зубы вырвали из его ладони кусочек мяса. Обезумев от бешенства, нечувствительный к боли из-за морфия, он поменял руку – с правой на левую. Ее постигла та же участь. Раны были настолько глубоки, что доходили до тыльной стороны. Виуэла попытался расколоть челюсть лбом. Зубы, твердые как камень, не пострадали, но оставили на коже глубокие вмятины. Тогда президент решил пустить в ход свои ноги, босые – так требовала церемония. Устрашающие челюсти поместили и их кровавыми следами. От дурно пахнущей крови женщину с ребенком затошнило. Лагаррета увел их обратно в подвал. Барата, увлекаемый атакующими зубами, кинулся на Геге и выкусил клочок мяса сбоку, в области ребер. Стук прекратился, челюсти сами выпали из кардинальского рта и, упав на паркет, раскололись.

Барата еле выговорил сквозь икоту:

– Дьявол... Дьявол завладел моими зубами!

Геге, блестя глазами, раскинул руки в виде креста, будто в забытии.

– Нет, Кардинал! То был Господь! Смотри: на моем теле пять ран, как у Христа! А следы на лбу – словно от тернового венца!..

Он встал с ногами на кресло, прижавшись кровоточащим телом к деревянному кресту.

– Я все понял! Мне выпала божественная миссия... Мое тело превращается в дерево... Я – новый Мессия... Не случайно народ назвал меня «святым Геге»...

И президент, соскочив с импровизированного пьедестала, раскрошил старинного Христа на кусочки ножкой настольной лампы.

– Пути Провидения неисповедимы. Мы никогда не смогли бы победить рабочих: эта проклятая святая с пошлым мещанским запахом, привязанная к кресту, сосками вперед, нетленная, соединяет политическое чувство с религиозным. Простолюдины по большей части – фанатики... Но отныне я, по всем правилам провозглашенный святым церковью – римской, католической, апостольской, – с плотью, ставшей

деревом и божественными стигматами, пригвожденный к древнему кресту...

– Опрысканный дезодорантом... – вмешался Лагаррета.

– ...источая при помощи отверстий в перекладинах аромат лучшего французского парфюма, сведу с ума страну. Это будет высокий мистический бред... Вбивайте же гвозди, генерал! Вы увидите, что я не страдаю!

Тот не заставил себя просить дважды: отправился на кухню, захватил резиновые перчатки и молоток, и с палаческой опыtnостью прибил своего президента к кресту.

Его Превосходительство Мессия величественно-надрывным голосом вещал:

– Генерал Лагаррета! С этого момента бразды правления находятся в ваших тонких руках! Объявляю осадное положение. Напугайте аморфную массу, верните общественное спокойствие, принеся пять тысяч человек в жертву на городской бойне. Причислите их к изменникам и святотатцам... В том числе тех двоих, в подвале... Оденьте в форму всех – женщин, детей, стариков, новорожденных! В форму зеленого цвета – он хорошо сочетается с моим кофейным. А вы, кардинал, не спрашивая папского разрешения, публично канонизируете меня на крыше президентского дворца. Оттуда, распятый на кресте, я буду вдохновлять народ...

И, успокоившись, попросил генерала дать ему понюхать морфия.

– Пусть ежедневно мои сограждане видят меня в соборе. Я стану их благословлять. Я буду изображен в газетах на кресте, явлюсь к сенаторам на кресте, подавлю шахтерское восстание на кресте! Вся страна, стоя на коленях, будет молиться на меня...

– Аминь, – заключил Барата.

## XVI. AVE, AMEN, ETCETERA

*Чем мягче черепаха, тем тверже ее панцирь.*

**Поговорка гуалов.**

Мачи не знала, откуда вырвался безнадежный вздох – из ее рта или из подземного мира. Никогда она еще не ощущала такой усталости. Уже много лет назад ей следовало лечь в землю, превратиться в самку кита и перевозить мертвых на запад, но пришлось отказаться от смерти. Она не принадлежала себе. Нгуенечен, повелитель рода людского, имел большие виды на ее народ. Сейчас поток несясь наугад, никем не направляемый, далеко отклонившись от первоначального русла. Надо было вернуть его обратно. Ведь индейцы, в отличие от уинков, – порождение этой земли. Только они умеют занять отведенное им место в природе, не ломая камней и не отравляя вод. Только они, с помощью Нгуенемапуна, хозяина земли, могут вернуть растениям их бывшие корни из золота и серебра. И для белых настанет день возмездия за все непотребства, совершенные в Америке... Холод от сырой глины пронизывал ее до костей. Она утомлена вот уже много столетий – а между тем настоящее дело так и не начато... Эпунамун, бог войны, должен пробудиться при помощи Пиллана, бога огня, вулканов и землетрясений... Мачи сморщила нос, чтобы не чихнуть. Нельзя делать даже малейшего движения. Шесть часов она ждала, сидя на краю болота, ожидая, что в ее шерстяной мешок прыгнет жаба. У нее уже имелись: скорпион с вырванным жалом, лишенный яда, три ящерицы и крыса, но еще требовалось земноводное со шкуркой, покрытой вязкой и терпкой жидкостью. Из колдуньи непрерывно лилась струя зловонной мочи, за которой следил изумленный больной.

Наконец-то! Словно зачарованная, разевая пасть, жаба капризно, как бы нехотя, приблизилась к мешку. Но Мачи, несмотря на долгое ожидание, не очень-то повеселела.

Раньше, когда являлся Нгуенко, холод в костях сменялся жаром, и по телу пробегала победная дрожь. Зверек мерцал среди липкой грязи, – почтенное зеленое божество, – и когда он забирался в мешок, колдунья пела:

Я пришла сюда встретить тебя,  
встретить тебя.  
И увидела Верховного Бога.  
Вот зачем я пришла.  
Но о чем твои мысли, скажи?  
Ведь мои – о тебе одном!

Но сегодня она видела лишь рыхлое жабье тело, покрытое грязью, с выпученными глазами и пустым взглядом.

Уинки никогда не поверили бы, что животные, которых Мачи якобы доставала из их тел, были вышедшими из них болезнями. Арауканов она легко гипнотизировала дымом из своей трубки, когда курила дурманные травы. Наигрывая на культруне, она убаюкивала больного: «Здоровье вернется к тебе, ты красив, ты всем нужен, без тебя твой народ погибнет». Индейцы улыбались и вверялись ей, – для них колдунья была великой, как гора. Мужским голосом она взывала к другим Мачи, давно умершим, небесным Мачи, и вмешательство тысяч добрых целительниц оказывало свое действие. Было так просто ущипнуть соплеменника и сделать вид, что вынимаешь из него живую ящерицу – недуг. Животное тут же убегало. Тогда она приказывала родственникам, друзьям и друзьям друзей погнаться за этой тварью и убить ее. Полные решимости покончить с болезнью, индейцы – вся деревня – выходили и преследовали сбежавшую болезнь, в компании с земными и небесными Мачи. Если же занемогшего никто не любил, ящерица ускользала, и больной знал, что он обречен: *альюе*, незримая сущность, выходила из него и растворялась в воздухе... Так легко! Но чужеземцы были недоверчивы. Для них чудо должно принять другую форму, более простую, без прикрас. Мачи стерла с лица улыбку. Причина усталости – в том, что она всегда делала одно и то же. Любой

сведущий в травах и обрядах, может исцелять. Ее занятия превратились в набор ритуалов, призванный скрыть отсутствие богов... Может, они мертвы... Алкоголь убил традицию. Правда обернулась в наши дни печальной и постыдной ложью. Да, она всего лишь древняя старуха, но умеет держать вожжи в руках. Богов следует чтить, но рассчитывать на них, если стремишься к успеху, не стоит. Жаба готова была сделать последний прыжок и оказаться в плену – но тут Мачи, выйдя из неподвижности, открыла мешок, с усмешкой выпустила Нгуенко-скорпиона, ящериц и крысу. Они больше ей не понадобятся. Никогда.

На Зума не действовали слова убеждения. Даже завязать с ним разговор было невозможно. Блаженно улыбаясь, он ежеутренне с помощью меда облакался в наряд из разноцветных лепестков и, хлопая руками-крыльями, изображал бабочку. Утомившись, он вскарабкивался на большой дуб и пропадал в листве. Карло Пончини там уже не было, и арауканы упорно не выдавали его местонахождения. Зум, похоже, вознамерился заменить философа. Дети приносили ему сыр и бананы, окрестив его, из-за более плотного телосложения, павлином. Однажды вечером Хумс и Мачи пришли повидать его. Зум, сидя на ветке, дирижировал птичьим хором. Его учитель взобрался на дерево и, усевшись напротив, повел такую речь:

– Мой медвежонок, хватит уже этой комедии. Только такой интеллект, как ты, способен превратиться в священного безумца. Но не стоит труда. Ни один уважающий себя японец не запечатлеет тебя на ширме для грядущих поколений. Тут только измазанные дети. Ты вдалеке от матери-культуры. Иди с нами, прошу тебя...

Зум отклеил лепестки, закрывавшие рот, поднял бывшего учителя, поцеловал в губы и прошептал ему на ухо:

– Мы тщетно пытаемся взорвать динамитом ящик Пандоры, а ключ к нему – соловьиное пение...

Затем он взял Хумса на руки, словно раненое животное, и, с величайшей осторожностью спустившись вниз, положил

его у подножия дуба. Порывшись в земле, он извлек оттуда свой дневник, разбухший от влажности. Найдя чистую страницу, он обмакнул палец в жидкую грязь и вывел заключительную фразу: «Обрубив все концы, ты можешь связать себя прекраснейшими в мире узлами».

И отдал тетрадь Хумсу. Тот попробовал ее полистать, но страницы расползались в руках. Зум торжествующе закудал, вырвал дневник у Хумса, смял его в ком и пинком отправил в болото. Взобравшись на ветку, он уселся наблюдать за облаками.

Мачи увела Хумса, залитого слезами.

– У твоего друга больше нет имени. Он – ветка дерева. Относись к нему с почтением, он пошел дальше тебя...

Утешая садовника, она снимала с себя одежды и облачала в них Хумса. Тот вел себя покорно, как ребенок.

– Ты тоже утратишь имя. Скоро все изменится. Травы станут садовником, а ты – садом. Они прорастут внутри тебя, чтобы поведать о своих желаниях. Эти земные создания научат тебя петь, стучать в барабан, танцевать и, в конце концов, – исцелять других. Воины уйдут из этих мест, оставив только стариков, детей и больных. Я не могу остаться. Ведуньей будешь ты. И отдашь себя индейскому народу, потому что у тебя не осталось ничего своего.

– У меня осталась одна загадка. Как слепой может найти черный сундучок на дне моря?

– А что в сундучке?

– Сердце спрута.

– Рыбак должен прислушаться к биению своего сердца...

Хумса разобрал нервный смех. Его глухота исчезла; сердце стучало в такт звукам природы, вою ветра, стрекотанию сверчка, блеянию овец, ржанию лошадей, и давало жизнь миру...

Мачи улыбнулась:

– Спрут и рыбак – одно и то же. Если ты слышишь себя, то слышишь и нас. Не страшись своей доброты. Стань матерью. Лечи больных, говори, как справедливый судья, давай

советы сомневающимся, предсказывай будущее, молись за тех, кто готов отойти... Ты, на земле, и твой друг, на дереве, – вы оба достигли конца пути.

Хумс расправил черную накидку, обвязал голову платком, подождал, пока затихнет звяканье серебряного мониста, и пробормотал:

– Клубень пророс... Мы не уйдем отсюда.

Собственная жизнь представилась Хумсу громадной фреской. Да, с самого рождения все пути вели к этому: сделаться девой, шлюхой и матерью. В облике старой колдуньи он с удовольствием будет доживать свой век, наслаждаясь трансцендентной никому-не-известностью. И, в конце концов, он ведь не одинок! Не считая больных – тиф и чесотка свирепствуют в этих краях, – если он захочет общения, достаточно забраться на дерево и кудахтать вместе с Павлином!

Толина, Акка, Боли, Лауреля, Американку, Деметрио и Га раздели, уложили на спину, заставили сомкнуть ладони, связали большие пальцы кожаными ремешками. На них накинута свежеснятые коровьи шкуры и подвязали сверху хлопчатыми веревками, пропитанными воском.

Все полторы тысячи воинов, с одеяниями, убранными красными лапагериями, дули в трутруки, приставив их обратным концом к земле. Длинные – от трех до шести метров – трубки были обтянуты лошадиной кожей, а на конце у них был прикреплен коровий рог. Земля сообщала голым ступням свою непрерывную вибрацию... Так продолжалось уже три дня: гуалы бодрствовали, пока в главной хижине селения колдунья лечила чужеземцев. Хумс, целиком войдя в новую роль, выливал из чашки на раскаленные камни настой мальико, качанлагуа и других целебных трав. От густого пахучего пара члены Общества клубня обильно пропотели; прижавшись к столбам, они казались белыми личинками. Семьдесят два часа без сна, еды и питья, выгнали из их организмов все следы алкоголя. Такая абсолютная трезвость была им непривычна. Га, от имени всех, прохрипел: «Полцарства за глоток».

Мачи, не переставая бить в небольшой барабан, следила за ними. С кого начать? Она вгляделась в лица пленников. Из каждой куколки может вылупиться бабочка. Но они пока этого не знают. Они пребывают в комнате без дверей: чтобы выйти из нее, надо пробить стену. Желаний у каждого предостаточно, а вот веры не хватает. Надо освободить их от последних привязанностей...

Мачи, неожиданно совершив головокружительный прыжок, приземлилась рядом с Деметрио и принялась колоть шкуру острием ножа, задевая временами и самого поэта. Всего отверстий в шкуре оказалось двадцать восемь.

– Крючки!

Расторопный Хумс подал ей один за другим двадцать восемь крючков, заточенных на конце, привязанных к бычьим сухожилиям. Деметрио мотнул головой и плюнул в лицо лже-старухе.

– Предатель!

Хумс, мягко глядя на него, утерся краем пончо.

– В сердце семи найдешь двадцать восемь. Два и восемь – десять. Один и ноль – один. Единство!

– Засунь нумерологию себе в задницу!

И Деметрио плюнул еще раз.

Мачи произнесла глубоким, нежным голосом, истыкивая его крючками:

– Забудь про свои пределы. Только умирая, можно победить смерть. В тебе должно пробыть Верховное Существо. Ты станешь бабочкой, станешь великой душой. Сейчас ты сражаешься не со мной, а с собой. Эти крючки – желания, которые удерживают тебя в мире.

Мачи взяла последний, двадцать восьмой, и воткнула его Деметрио между бровей. Вместе с Хумсом она перекинула сухожилия через балки крыши. Используя камни как противовес, они вздернули тело в воздух. Мачи заплясала, играя на культруне, потом перерезала одно из сухожилий. Деметрио потерял равновесие, боль его стала еще сильнее. Танцуя и распевая, Мачи обрезала остальные, и Деметрио начал падать в самого себя. Через четыре часа оставался лишь



крючок, воткнутый в лоб. Кожа, растянутая до невозможности, еде удерживала его в подвешенном положении. Кровь лилась тонкой струйкой. Все тело Деметрио превратилось в одну сплошную голову, пустую, без мыслей, – чистое страдание, и все. И все же он цеплялся за последний клочок сознания, за собственное «Я». Капля не желала растворяться в океане.

– А теперь настало время, сын мой, сломать твою гордость. Принимай Верховное Существо...

Кожа на лбу стала рваться, и Деметрио понял, что любил самого себя больше всего на свете, что другие нужны были ему лишь для того, чтобы чувствовать свою особость. Он ненавидел вечное в себе, лелеял только эфемерное. Потому он и сделался поэтом: не чтобы восхвалять божественное творение, а чтобы увековечить в своих стихах мгновенное, непрочное, смертное. Мимолетность была ему дороже тягостной вечности. Но он не желал сдаваться...

– Ты будешь висеть, пока кожа не порвется. Я не могу родиться за тебя...

Истина заключалась в том, что Деметрио никогда не хотел рождаться, выблевав материнское молоко, а с ним – и весь мир. Он считал, что самое большое несчастье в его жизни – появление на свет. Проводя ночь с женщиной, он всякий раз входил в нее бешеными толчками, словно стучался в райские врата, пытаясь сбежать из вселенной, полной скорби. К чему столько смертей? Бессмысленная, непрестанная игра сотворения и распада. Бог породил жизнь лишь затем, чтобы иметь возможность ее уничтожить! Убийца! А значит, цель может быть только одна: самому стать Богом.

По легким сокращениям мускулов лица Мачи угадала мысли Деметрио. Так, этот на правильном пути... Она вынула нож из щели в стене и принялась ждать, когда кожа на лбу не выдержит...

Боль претворялась у Деметрио в ненависть. Он сознавал, что его поэзия имела корни, которые он, стыдясь, держал в секрете... Он подавлял в себе создателя не из зависти к самому себе, а из-за того, что творчество его служило лишь

прикрытием для злодейских замыслов. Он был не поэтом – мятущимся преступником.

Крючок разодрал плоть надвое, и длинно червеобразное тело свалилось, влажно шлепнувшись на пол. Мачи острым ножом начала разрезать коровью шкуру на продольные полосы, от шеи к пояснице. Деметрио зашевелился, чтобы выползти из чашечки этого странного цветка. Его сотрясали судороги; кровь, текущая со лба, делала все вокруг расплывчато-розовым. Лезвие освободило его от пут на ногах и на пальцах рук. Он больше не пленник!

Мачи взяла в руки другое оружие. Деметрио вырвал у нее нож – но то был инструмент с поллой рукояткой: лезвие при мало-мальски сильном нажатии уходило в нее и позволяло резать коровью кожу, не задевая тела испытуемого.

Как только кожа на лбу порвалась, внутри Деметрио разразился взрыв. В мирном поэте проступил убийца... С дикими воплями и хохотом бросившись на своих товарищей, он колол их, одного за другим. Шкура разрывалась, и из ранок в коже текли струйки крови. Для Деметрио то была кровь, для Мачи – всего лишь пот, смешанный с порошком, которым были покрыты шкуры изнутри. Товарищи безумца считали, что их убивают всерьез – такое воздействие оказывали боль во всем теле и вид красной жидкости, брызжущей из-под ножа. Воя, словно скот на бойне, они извивались и дергались в попытке освободиться от веревок. Поэт наносил им все новые и новые удары. Стоя за ним, словно тень, Мачи отклоняла его руку, когда нож нацеливался в лицо или шею. Скоро пол покрылся красноватым потом, и натиск Деметрио прекратился, между тем как жертвы жалобно стонали, веря, что умирают. Деметрио упал без сил. Нож выскользнул из его пальцев, и колдунья мгновенно заменила его настоящим. «Убийца» подобрал клинок и с холодным удовлетворением наблюдал за агонией своих друзей, обретя наконец внутренний покой. «Поэзия – всегда преступление... А теперь заключительная строфа: моя собственная смерть». Представление закончилось: зрителей нет, актер же считает, что комедию не стоит разыгрывать дальше... Занавес!

Мачи молилась в тишине: ей было не обойтись без Марепуанту. Уинка может погибнуть – все зависит от того, куда вонзится нож. Если в сердце или в печень, то он пропал, но если из ненависти к породившей его женщине белый выберет живот, она сможет кое-что сделать...

Деметрио наставил острие себе в пупок. Тела-черви перестали шевелиться: изумленные, все следили за спектаклем. Раз – и нож проник в живот на сантиметр. Металл, подобно обручальному кольцу, соединял его со смертью. Самоубийца продолжал нажимать. Лезвие погрузилось в тело уже наполовину. Боль была ему безразлична, вид крови нисколько не трогал его. Сделав разрез до самого лобка, Деметрио вынул оружие, взял за края раны, раздвинул их. Кишки вывалились ему на колени. Жажда уничтожения исчезла; впервые Деметрио понял, что́ есть красота. Она внезапно открылась ему в красных пятнах на полу, в звуках труб, в этой хижине, этом поколении, этом бесконечном миге, вспышке пламени, поглощающей мириады светил, звездном празднике, где жить и умереть было одним и тем же. За полным разделением он прозревал слияние. Деметрио закрыл глаза и, напевая колыбельную, слышанную от матери, позволил Мачи – вселенской курице – затолкать свои кишки обратно. Он видел, как старуха восстанавливает запутанный лабиринт внутренностей, возвращает все на свои места, соединяет края раны, взывая к сыну солнца. Он видел, как Мачи преобразается, как вокруг нее образуется светлый контур, будто за спиной колдуньи встал другой человек. Колдунья провела ладонями по животу раненого, оставив гладкую кожу без единого шрама.

Мачи – Марепуанту – улыбнулась. Теперь они в ее власти! Делая пленникам знаки, она разрешила шкуры в виде лепестков, разрешила путы. Потерев свои тела, члены Общества не обнаружили порезов. О чудо! Как радостно ощущать себя живым и здоровым! Все попадали в объятия друг друга, целуясь, смеясь, обнимая заодно и Мачи. Один Деметрио стоял в стороне, бледный, невероятно мокрый, словно побывавший тысячу раз в турецкой бане. Получив вновь дар жизни, он раскинул руки, благословил товарищей и, стоя на

коленях, попросил у них прощения. Видя его непритворное раскаяние, все перестали обниматься и поспешили к нему. После попытки расправиться с друзьями, Деметрио считал, что в некотором смысле он сотворил их – через уничтожение. Они были частью его самого, крепко сплетаясь с его душой, а вместе с ними – и Человечество. Согнувшись под многочисленными ласками, он зарыдал от счастья... Боли и Американка, склонившись над ним, открыли четыре притягательных полушария неизменно внимательному взгляду Га, который в порыве энтузиазма решил под шумок проникнуть в одну из щелочек. Но тут две сильные руки схватили его напряженный орган. Сжав сатира за яйца, неумолимая Мачи велела ему лечь на спину. Сопротивляться было бесполезно: малейшее движение – и хватка усиливалась настолько, что у Га темнело в глазах.

– Спрятавшись в свое звериное начало, ты ползешь по земле, как улитка. Я открою тебе дверь, и ты совершишь соитие с небом...

Сложное действо старуха завершила с такой быстротой, что Га и пикнуть не успел. В мочеточник ему ввели трубку с палец толщиной. Он попытался завопить, но Мачи взяла себе в рот другой конец, и стала выдувать из несчастного душу. Одновременно гуалы задудели в свои трутруки. Дыхание Мачи, смешавшись с оглушительной музыкой, проникло Га в яички, подобно могучему приливу подхватило семя, донесло его до живота, ветвилось, протягивая невидимые, но цепкие щупальца к самому горизонту. Затем дыхание старухи, будто копье, вонзилось ему в позвоночник. В сердце Га разлилась широкая река с водоворотами и завихрениями, гигантская золотая спираль, предельная концентрация любви. Ему захотелось разбрызгаться, пролиться дождем на землю, стать пищей, источником постоянно обновляющейся жизни, девственным родником... Мачи вынула трубку, натянула кожу мошонки до паха и культруном – деревянной палкой с кожаным мячом на конце – принялась наносить ритмичные удары в промежность. Энергия от сердца ринулась к голове... Дуделки взяли самые что ни на есть пронзительные ноты.

Полетели камни; вибрация сорвала крышу хижины и унесла ее прочь. Стены рухнули. В черных небесах мигали звезды, присоединяясь к свирепому концерту. Га выплывал по океану туч в Вечность. Тело его, вытягиваясь по всем направлениям, непрерывно расширяясь, становилось беспредельным пространством. А душа, лишенная памяти, образов, бесед, самосознания, – прозрачным семенем. Га разлетелся на части, растворился в бесконечности, зная, что при всем своем ничтожестве он оплодотворяет Время. Он навеки прикипел к божественной яйцеклетке, обреченный порождать новые миры. Поняв это, он закричал:

– Мы – зерна для посева!

И оглядел товарищей с улыбкой до ушей. Он был так далеко от них – у самых границ Вселенной, – и в то же время так близко... На память ему пришла излюбленная фраза на счет самоубийства. Га захохотал, словно ему рассказали смешнейший анекдот. Слепец! Величайшая глупость – убивать себя! Надо всего лишь научиться умирать, как семя, – оплодотворяя. Га прошептал в восторге:

– След обнимает след, и получается тропа...

И обнял своих друзей.

Благодаря Марепуанту все шло так, как и задумала Мачи. Настала очередь человека с исписанным телом. Смешав несколько куриных яиц, настой какого-то лишайника и истолченную раковину, она приготовила пасту, оттирающую с человеческой кожи все, что угодно. Прежде чем оборачивать Акка в коровью шкуру, Мачи смазала ее этой пастой. Теперь снадобье начинало действовать. Надо было поторопиться, пока буквы не исчезли совсем.

Раскачиваясь, колдунья приказала воинам сделать пол-оборота и отступить, окружив романиста и всех остальных живой стеной. Для толстяка лучше всего подходило открытое пространство, но для Акка требовалось нечто более уютное. Его уложили на живот – он перевернулся на спину. Ему хотели завязать глаза – он сорвал повязку.

– Ты нашел себе убежище во внешнем. В тюрьме из букв, изображенных на твоей коже, ты прячешься от себя самого.

Ты перестал быть человеком и сделался чистым словом. Ты теряешь мир, стараясь использовать его в своих целях. Стоит тебе поглядеть вокруг, и все меняется. А теперь выбирай: твой роман или твоя жизнь!

Акк, дрожа, наблюдал за тем, как старуха поднимает копье, вводит наконечник в его грудь – неглубоко. О черт! Эта полоумная может проткнуть его насквозь. Доверимся естественному ходу событий. Его роман – всего лишь скопище букв; когда он захочет, то напишет еще один. Острие копья царапнуло кожу, показалась кровь...

– Конечно, жизнь!

– Тогда сотри свой роман!

– Но как?

– Сосредоточься, пожелай, чтобы он исчез. Ты сможешь...

Акк напрягся, изображая нечеловеческое усилие. Как и следовало ожидать, строки остались на своем месте. Колдунья царапнула чуть сильнее. Воины, кружась, хмуро смотрели на него.

– Ты желаешь слишком слабо. Ты не хочешь освободиться...

– Верьте мне, добрая сеньора, я делаю все, что могу...

– Никакая я не добрая сеньора! Я хочу содрать с тебя кожу! Гуалы, за дело!

Двадцать вооруженных арауканов бросились на Акка. Вытаращив глаза, он глядел, как в его тело там и сям вонзают кинжалы – и наконец издал вопль:

– Стойте! Дайте мне последний шанс!

Еще двадцать стальных клинков поразили его члены.

– Мапочка! Помогите! Я хочу, чтобы эта мерзость стерлась с меня! Правда хочу! Всею душой! Сотришь, роман, сотришь навсегда!

Мачи сдержала вздох облегчения: как раз сейчас буквы, под воздействием пасты, начали бледнеть...

Акк и его товарищи вновь сочли, что свершилось чудо. Строки, без всякого к ним прикосновения, обесцвечивались, знаки исчезали один за другим. Тело Акка заблестело –

гладкое, белое. Лесные утки опять закружились, но теперь уже спиной к нему. Колдунья убрала копьё...

Акк облегченно выдохнул. Десять секунд ему было хорошо. Потом на голову словно обрушился небоскреб: им завладела острая тревога. Он остался без романа, без своих персонажей, без зеркала... Мелкие сточки поддерживали его, связывали с действительностью, придавали смысл повседневности... А что теперь? Кто он без своего творения? Кто станет его уважать?

Мачи надавила большим пальцем в солнечное сплетение Акка.

– Уважаемая сеньора... Со всем возможным почтением заявляю, что вы злоупотребили своей властью. Я не жук, чтобы держать меня на земле.

– Молчать, уинка... Ты бежишь из центра себя. Ты боишься... Откуда эта твоя ненависть?

Ия! Сестра, вечно живая! С янтарными пальцами, щеками, пахнущими персиком, желтым, точно подсолнух, лобком. Юная дева, непорочная, отбрасывающая белую тень... Но под оболочкой викторианского ангела, под этим сахарным телом, охваченным сладкой истомой, прятался ненасытный вампир. Впервые Акк взглянул на сестру в упор – и увидел свои собственные черты. Да, это женщина, которую он всегда желал... Любимица отца и матери, хрупкий плод на генеалогическом древе во власти женщин и кровосмешения: мужчины, робкие евнухи, пропадали в пыльных недрах какой-нибудь конторы... Эта кукла отняла у него материнское молоко и то место, которое он должен был занять по праву. Чтобы тебя любили, следовало родиться в женском теле. Он, возмутительно мужественный, нагло-здоровый, встречал в своей семье лишь презрение: родители его познакомились в санатории – дети матерей, умерших в тридцать лет от наследственного туберкулеза... Быть женщиной – уже хорошо, но быть женщиной, умершей от чахотки, значило оттянуть на себя едва ли не всю любовь родственников. Мир упала на колени пред Ией с первым же ее кашлем. Лучшая комната в доме, редкие блюда, элегантные наряды, шелковые платья, тонкая

музыка, любовники, галантные, как трубадуры... Что он, Акк, мог сделать? Взбунтоваться? Его выкинули бы на улицу без гроша в кармане. Оставалось плыть по течению: виться вокруг сестры, окружать ее откровенной заботой, превозносить до предела, пока она не растворится в восхвалениях, завладеть ею, как трофеем... Обманывать себя, скрывая зависть под маской братской нежности, лгать, ненавидеть себя, пряча ненависть к сестре и всем женщинам. Под изысканностью поэта начала века таилась жажда уничтожения. Она, Ия, хотела одного: унижить его, поставить на место, высосать из него всю энергию, захлестнуть, утопить в себе. Колдунья, дракон, саркофаг, пропасть, отравы, пучина, темная сила, пожарельница, загадка...

Мачи сунула себе под язык немного красителя, скатанного в шарик, и закашлялась, исходя красной пеной, сделавшись вмиг прозрачной, гибкой, тонкой... Акку она показалась сестрой, выкашливающей свои легкие. Волна стыда нахлынула на него. Как мог он ненавидеть такое прекрасное существо?

– Не умирай, Ия! Пожалуйста...

Он кинулся к Мачи, крепко обнял ее. Тело его сотрясилось в конвульсиях. Женщина прижала свой открытый кровоточащий рот к его лицу. Язык, губы, густая слюна залепили Акку нос и рот. Он задышался. Мачи обхватила его руками за шею, едва не сломав позвонки, издавая стоны, как брошенный всеми ребенок... К нему вернулась ненависть – на этот раз отягощенная ужасом перед близкой смертью. Акк судорожно затопал ногами, оторвал от себя присосавшуюся ведьму... Та, не переставая кашлять, схватила его железной рукой за горло, а другой стала рыть землю, чтобы запихнуть его голову в яму. С набитым землей ртом Акк отчаянно молотил ее кулаками. Стремясь не выдавать своей ненависти, он взял страннический посох, непрерывно бродил по городам и весям, одинокий среди всеобщего веселья, дошел до края земли в попытке распасться на части, исчезнуть внутри длинной фразы без точек и запятых, змеей обвившейся вокруг его тела...



Мачи, обтерев слюну, спокойно спросила его:

– Кем ты будешь, если отнять у тебя ненависть?

В центре его груди обозначилась сверкающая точка – именно там, куда нажала ведунья своим пальцем. Кровь зажалась, точно внутри него пылал огонь. Пламя превратилось в тепло, тепло – в свет, свет – в любовь. Акк провалился к этой точке, сделавшейся плотной – все уплотнявшейся – сферой, невероятно нагретой. Когда давление достигло своего предела, он стал этим раскаленным ядром и взорвался, разлетевшись по всем уголкам пространства, разлившись бурной радостью, благодарный существованию – своему и других, которые отныне были одним целым. Он понял, что взрыв этот вызван той силой, что создала Вселенную. Он полюбил Творение, ощутив себя живым и деятельным внутри него. Он возвратился на миллионы миллионов лет назад – поцеловать чрево, в котором все еще раздавался отзвук первоначального Слова.

Благодарность за все жизни, предшествовавшие его собственной. Акк заплакал, но не горько, а восторженно. Энергия прошлого впитывалась в поры его кожи и, ошестинившись иглами света, он послал свое благословение существу, вплоть до конца времен. Он слился с планетой, со звездами. Он преклонился перед грядущими поколениями, пустившись вместе с ними в путешествие – до того дня, когда начало и конец не станут неразличимы. Кто он? Где он? Божественная любовь затопила его.

Хумс, решив, что Акк в обмороке, принялся хлопать его по щекам:

– Акк... Приходи в себя...

Услышав свое имя, он разразился хохотом, раскрыл объятия и заплясал, словно заключил в них Вселенную. Он здесь не для того, чтобы передавать или даже просто давать, – но для того, чтобы жить... и помогать жить другим. Впервые он увидел своих друзей не как персонажей, а как человеческие – божественные – создания. Никогда больше он не будет их «использовать». Он отказался быть «свидетелем» и вышел на сцену – но без маски и без зрителей перед собой. Все актеры!

Слегка похрипывая, Акк, обнаженный, поднял ноги и, без смущения выставив напоказ гениталии, заразил индейцев своим танцем. Подогреваемый веселой разноголосицей, он подхватил Мачи на руки и вбежал с ней прямо в гущу воинов. Та, как ни в чем не бывало, закрутилась в бешеной пляске. Арауканы подняли шум, подражая голосам животных. Гуалы вывели коней из загонов и, подгоняя их, заставили бежать вокруг неистово веселящейся толпы. Полторы тысячи скачущих лошадей сообщили людям свою энергию. Резкий запах конского пота так опьянил музыкантов, что те затопали по земле башмаками сильнее, чем лошади – копытами. Воцарился невероятный шум и гам. Акк – сердце всего этого безумия – решил было сделать сальто-мортале, но упал на одного из индейцев. Хохоча, оба оказались на земле. Акк взял араукана за плечи и прокричал:

– Зачем ты живешь, одетый уткой? Людская свобода прекраснее для человека, чем свобода утки. Хватит этих перьев! Хочу видеть людей!

И он стал срывать с костюма индейца черные и белые перья. Мачи прекратила свой танец. События получили неожиданный оборот: романист сходил с ума. Только от нее зависело, убьют его сейчас за святотатство или нет. Гуалы были магическими животными, в которых обитали благородные души предков. Но время приносило с собой перемены, все более и более печальные. Утки ничего не сделали для арауканов. Вот уже много лет те носили наряды из перьев, чья легендарных героев, но, сами будучи поработенными, забытыми, запертыми в своих селениях. Настал час выбора между традицией и свершениями. Убив уинков, они не получают Белую змею, арауканское восстание не начнется, индейцы окончательно сопьются в своих хижинах. Старуха с пронзительным криком бросилась расправляться со стародавним наследием, срывая с воинов перья. Слезы заблестели на ее ресницах: ведь в этих нарядах отлились мечты многих поколений... Но Мачи стерла их решительным жестом: хвосты и крылья помешают в схватке с противником, одетым в удобную и практичную форму. Настало массовое безумие. Перья

полетели вниз. Ветер подхватывал их тысячами, черно-белые облака стлались вдоль земли, превращая ее в подобие шахматной доски...

Новый крик Мачи – и кони остановили свой бег. Застыли на месте и обнаженные отныне воины. Потные тела мужчин и женщин блестели в лунном свете. Обессиленный Акк уселся на пятки и с блаженным видом следил за происходящим. Желтая полоска на горизонте говорила о скором наступлении утра.

Индейцы, покончив с традицией, осовремененные, но внутренне опустошенные, усаживались один за другим на корточки. Лошади вернулись в загоны. Колдунья, стоя неподвижно, казалось, ждала нового приступа вдохновения. Кто ниспослет его? Молча обратилась она к Марепуанту. Сын солнца ответил тремя загадочными словами. Мачи повиновалась и, не ища в них смысла, посреди всеобщего утомления, медленно повторила сказанное богом, как бы расписываясь в собственном неведении:

– Ave... Amen... Etcetera...

Индейцы, привычные к непонятым речам впавшей в транс Мачи – когда-нибудь они вновь овладеют языком Нгуенечена, что утратили их предки, – произнесли хором:

– Ave... Amen... Etcetera...

Лаурель, во время срывания перьев держался поближе к Боли и вел себя смирно, не из равнодушия ко всему, а из смутного беспокойства, догадываясь, что малейшее его движение привлечет внимание колдуны. Но теперь обстоятельства изменились: он выгнул спину, сложил губы трубочкой и превратился в Ла Роситу. Глядя похотливыми глазами на скопление обнаженных мужчин – женщины его не занимали, – он повел свою речь, сопровождая ее жестами профессора, читающего лекцию в Сорбонне:

– Дорогие собратья! Я обращаюсь не к вашей телесной оболочке, источнику всех различий – а именно в различии коренится удовольствие, – но к некоей духовной сущности, уравнивающей нас всех... Три латинских слова, пророченных Великой Целительницей среди грандиозного погребения –

любой карнавал, это в какой-то мере и похороны, – отражаются в этих местах блеском древней культуры... Ave – почтение к началу, гимн девственности, освящение материи: мы заслуживаем осеменения, ибо в качестве чистой возможности поднимаемся до высот Мирового Духа... Девственность есть не изначальное состояние, но конечное: к ней приходят через долгое преображение... В начале была блудница, запятнанная всей грязью мироздания. Затем, от очищения к очищению, мы становимся кристальными сосудами, способными вместить Сияние и не омрачить его даже намеком на тень... И потом за приветствием – Ave – следует прощание – Amen. Между началом и концом нет ничего. Стоит случиться рождению, как смерть уже на подходе. Высший момент, момент Принятия, есть начало и конец пути одновременно. Когда Дева принимает Бога, она перестает быть собой. И появляется Он. Зачем? Чтобы действовать как Предвестник. Но на этот раз деятельная плоть ищет принимающий ее дух, взывая «Ave» всей силой своих светоносных клеток. Самка, ставшая самцом, осеменяет ангела, который превращается в крылатую вагину. И вот – etcetera, etcetera, etcetera, взлет, падение, снова взлет и снова падение, и так до бесконечности, каждый из нас – муж и жена в этом вселенском соитии, которое не кончится никогда, ибо никогда не начиналось... Чтобы узаконить, освятить это Etcetera – от слова до дела один шаг, не так ли? – приспустите штаны, милые мои арауканы,стройтесь в мистическую колонну и подходите ко мне один за одним, вводите свое «Ave» в мой ненасытный «Amen»!

Этимисловами Ла Росита завершил вдохновенную речь, выставив на обозрение присутствующих свои ягодицы.

Боли, видя, как тело Лауреля отдают на растерзание еще не виданным бесстыдством, не смогла сдержать слез. Она хотела броситься к нему, выгнать паразита пощечинами, но ее опередила чья-то тень.

– Прекрасный белокожий человек, ты снова пришел к нам! Я думала о тебе, не переставая. Попроси меня у моих родителей. Ты не вправе отказаться!

Ла Росита очутился в объятиях той самой всадницы, которой овладел по ошибке во время скачки. Небо словно упало ему на голову. Женщины вызвали у него непреодолимый ужас, но тело Лауреля с готовностью откликалось на ласки индианки. Внезапно он затосковал по собственной плоти, давно пожранной червями, верной и надежной, идеально ему подходившей. Да, разумеется, не Давид Микеланджело, но если подумать, сколько жандармов не устояло перед ним... От удушающей женской ласки он громко завопил, взывая о помощи. Куда бежать? Единственный путь – расстаться с этим телом, а значит, и с земным существованием, раствориться в кислотной реке...

Мачи поблагодарила Марепуанту: теперь она знала, как поступать дальше. Все необходимые действия нарисовались перед ней, до самого конца. Да, она победит, уже победила. Колдунья отстранила индианку:

– Ты любишь умершего... Иди туда, где хлеб и бочки с чичей, иди со всей своей семьей. Принесите их. Мы будем праздновать свадьбу. Но не твою – свадьбу Белой Змеи с Богом Небес. Делай, что тебе говорят!

Понурившись, женщина грустно удалилась. Большая компания родственников и добровольных помощников потащила ее в деревню. Вернулись они с корзинами на головах, толкая перед собой громадные бочки.

Мачи не один раз за свою долгую жизнь провожала мертвых к кислотной реке. Убедить их, что они мертвы, несмотря на повадки, свойственные живым, было несложно: стоило только показать им глиняный горшок с удаленными внутренностями. Она могла при помощи священных песен покидать тело и в относительной безопасности – обычно Мачи подстерегал *векуфу*, союзник одного из враждебных колдунов, старавшийся развоплотить ее, – странствовать среди человеческих душ. Хриплым голосом она прочла заклинание на тайном языке и, впад в транс, вселилась в тело Гольдберга.

Ла Росита, переживавший драму, был безразличен ко всему за пределами себя. Мачи захватила его в плен без труда.

– Пойдем, сын души моей. Ты должен уйти отсюда... Время давно уже пришло. Зачем упираться? Тебе не осталось почти ничего. Ты потерял свой облик. Кто ты сейчас? Ты хочешь существовать и поэтому страдаешь. Чем больше ты упорствуешь, тем хуже тебе становится. Чужое тело пожирает тебя, твой дух истирается внутри плоти с ее желаниями, ненужными тебе... Запасись мужеством, умри раз и навсегда. Отдай лучшее в себе – прозрачность – тем, кого ты любил. Не сопротивляйся. Идем со мной...

Ла Росита дал себя увести с заметным облегчением. В сущности, исчезнуть – это наивысшее из доступных наслаждений...

– Я сделаю так, что ты войдешь в хлеб. Наши воины съедят тебя. Ты навсегда станешь частью арауканского народа...

Он покорился и с острой благодарностью впитался в хлеб, став безграничным, стараясь целиком раствориться в материи. Но не смог: что-то мешало. Тогда он пустился по лабиринтам памяти: крошечное восхитительное воспоминание не желало распадаться. Полицейский на углу, стучащий в его окно, в полночь, чтобы попросить чашку кофе... Зеленый ангел, настоящий мужчина с податливой душой, с щенячьей наивностью сдавшийся на милость его неясных желаний... И, наверное, единственный, кто действительно любил его... Ла Росита титаническим усилием овладел собой. И этот малый кусочек его жизни оказался поразительно стойким. Понемногу шершавое лицо помрачнело, фальшивый храп, скрывавший удовольствие принадлежать другому, пропал в бесконечном пространстве. Он стал пустым, стал никем. Он хотел, чтобы тысячу раз на него навесили маску – лишь бы только впитывать слюну этих ослепительных мужчин. Быть хлебом, переплавить свое желание, утолить жажду познания, сделаться облаткой в священной чаше индейской расы, умереть, распространив свой запах по иному, не этому миру!..

– Ты перестанешь быть одним, будешь многими. Наше торжество станет твоим...

Но Ла Росита уже не слышал ее: слепой, глухой, немой, превратившийся в клейкую массу, он с жаром ожидал

мгновения, когда многочисленные рты проглотят его. Старуха больше не могла терять времени: она атаковала разум Лауреля, пока Ла Кабра не овладел всем миром, окутала паразита слюной и впрыснула в него свой яд:

– И ты все потерял: тебе однажды была дана любовь, но ты уже не помнишь, к кому...

Ла Кабра, чтобы ощутить себя полноценным – сейчас это была лишь половина существа – нуждался в женщине, которая излечила бы его рану. Но, роаясь в памяти, он не мог вспомнить, кто же это. Светоч его жизни плавал в море забвения. Половина целого. Кроме ненависти, он не обладал ничем. А под ненавистью скрывалось еще более глубокое чувство: стыд за свое мулатское происхождение. В нем соединилось все самое худшее от матери-индианки и все самое посредственное от белого отца. Дитя унижения и презрения, он жил и любил с одной целью – скрыть, кто он такой. Теперь же, в теле Лауреля, Ла Кабре нечего было стыдиться и скрывать. Он был ничем...

– Возвращайся к нам. Вспомни о своих корнях.

И Ла Кабра прекратил борьбу, всосавшись в пищу, зная, что в желудке этих индейцев он осуществит свою мечту: освободить свою мать...

– Это, – Мачи указала на хлеб, куда вошел Ла Росита, – съедят мужчины. А это, – она дотронулась до того, который стал прибежищем Ла Кабры, – женщины нашего племени. А вот этот, третий, достанется орлам...

Фон Хаммер сразу понял, что речь идет о нем. Тоска, едкая, словно прокисшее вино, придала его нематериальной персоне некий вес... Он в долгу перед орлами. Кто был наставником в его жизни – если наставники вообще имелись? Конечно, эти птицы с железными когтями, величественные, разом ставящие на место остальных пернатых, легко порхающих в воздухе... С высоты своего полета, будто с вершины пирамиды, орел царит над прочими птицами, – любимый товарищ солнца, царственный, подающий пример земным властителям... Но рядом с этим повелителем крылатых созданий тут же возникло жалкое существо, теряющее

перья, нелепо подпрыгивающее в клетке зоосада, с глазами, затуманенными бессильным безумием, сбитое с толку, обреченное ползать по-змеиному, вечный насельник третьесортных жилищ... Да, он, фон Хаммер, избегал вспоминать о своей семье, считая свою пуповину обрезанной раз и навсегда. И все же... Его захлестнули образы отца и матери: две монументальные и нелепые глыбы. Дёрте, учительница математики, сухая, тощая, с усиками над губой, после смерти своего отца (рак мозга) употребила унаследованное ею состояние на покупку мужа: горбатого, русоголового, синеглазого и к тому же поэта. Когда жена, через два года после свадьбы, забеременела, стихи Герберта впервые напечатали в литературном журнале. Через девять месяцев он получил пылкое письмо от одной почитательницы его таланта – настоящее признание в любви. Все восхитило его: стиль, цвет бумаги, аромат духов, девическая наивность выражений. Он послал ей не менее страстный стихотворный ответ. Переписка – втайне от супруги – началась после рождения фон Хаммера (путем кесарева сечения), и затянулась на четыре года. Таинственная поклонница, будто бы жена престарелого – старше ее на тридцать лет – дипломата, посылала письма из Египта, сопровождая их рисунками к стихам Герберта – настолько изящными, что он, тяготясь заурядностью супруги, перестал разговаривать с ней и с сыном. Фон Хаммер, лишившись отца из-за невидимой музыки, воспитывался мужеподобной матерью – грубо и жестоко. В конце концов, Герберт опубликовал книгу стихов с иллюстрациями загадочной Беатрисы – «Сад лиан». В день, когда он с гордостью продемонстрировал жене диплом, полученный от Берлинской литературной академии, та призналась, что письма и рисунки – ее рук дело. Подруга детства, живущая в Каире, получала их и пересылала обратно в Германию... Итак, никакой Беатрисы не было. Музой поэта оказалась тощая усатая недоженщина... И Герберт оставил поэзию. Дёрте, устав видеть его, уныло сидящего на корточках где-нибудь под лестницей, продала все и перебралась с семьей в Чили – ей было все равно куда. Герберт выдержал только год, проработав барменом в «Немецком ресторане», и скончался от



инфаркта в зоопарке, где часами напролет простаивал перед клеткой с орлом. Фон Хаммер сколько-то лет был мужем своей матери, пока и она не оставила этот мир, передав ему четки с портретом Гитлера вместо крестика...

Легкие Лауреля оказались слишком чисты для немца. В этом теле он чувствовал себя неуютно, как орел в клетке, чешоточный, с клювом, стертым от ударов о металлическую крышу... И сверх того – отсутствие крайней плоти, напоминание о ненавистной суровой религии, то и дело свергавшее его с Олимпа, лишая всякого удовольствия... Не пытаясь противостоять Мачи, немец покинул тело Гольдберга и перебрался в хлеб, с тревогой ожидая, что орел склюет его, приобщив к своему величию... Там, в беспредельном пространстве, купаясь в свете зари, он гордо поглядит на рождающееся солнце...

Чича забродила по жилам воинов как раз в тот миг, когда над горами показалась светлая полоса. Мачи знала, что с рассветом лишится своей магической власти, призвала Марепуанту и, снова выйдя из тела, вошла внутрь Боли через ноздри, желая убедить Эстрелью бросить чужую оболочку и умереть.

Лаурель так и не смог в полной мере насладиться пустотой внутри себя. Он весь трепетал от небывалого чувства свободы, когда непреклонный голос Мачи позвал его:

– Помоги нам!

Ему пришлось стрелой вылететь из своего тела, приземлившись в солнечном сплетении юной еврейки. Увлекаемый течением крови, через костный мозг он достиг пупка и там постарался сжаться, затвердеть, как алмаз, непрерывно молясь, чтобы не распасться в центре разнообразных потоков и вихрей. Так он добрался до родника, откуда вытекала жизнь, осветив все вокруг головокружительным сиянием. Мачи, Боли и Эстрелья сошлись в беспощадной схватке. «Оставь не принадлежащее тебе, иначе потеряешь вечность», – убеждала индианка Эстрелью, но та не слушала. «Хватит этих метафизических штук. Ты хочешь распоряжаться всем миром. Ты работаешь не ради вечности, а только в собственных интересах, ищешь только власти».

«Ну пожалуйста, – умоляла Боли. – Я еще молода и хочу жить своей жизнью. Оставь меня в покое». – «Хорошо, оставлю, но только без тела. Этот организм заслуживает другой души – такой, как у меня. Мы будем жить насыщенно, отдаваясь мужчинам, но не принадлежа им, творя, но не становясь рабами своих творений, сея, но не привязываясь к земле. Мы перестанем быть поэтами и сделаемся музами. Превосходный союз. А чем бы занялась ты? Производила бы обрезанных детей? Прилепилась бы к своей „второй половинке“?» Так, кликушествуя, поэтесса цеплялась за источник жизни.

Внутри себя Лаурель неожиданно обнаружил сгусток ненависти к пришельцу, захватчику. Горький опыт порабощения Ауриканом и другими не прошел для него даром. И он пожелал Боли стать цельным существом, вернуть себе единство. Барум была для него досадным недоразумением, пятном на чистой поверхности. Тогда он, не обращаясь к силам Мачи и Боли, с риском для себя окунулся в источник жизни. Окруженный водоворотами, формулами, цифрами, ставящими на грань безумия, фигурами высшего порядка, тысячекратно меняющимися за секунду, он сопрягся с жизненным ритмом поэтессы и превратил свою вибрацию во вселенскую боль.

Барум завывала, как раненая собака. Это нападение она сдержат не могла – и уступила. Изгнанная через ноздри, она взмыла ввысь, исполненная гнева: «Сволочи! Эстрелья Диас Барум не превратится в хлебную крошку! Я еще поживу!» – и пропала, рассчитывая воплотиться заново в теле очередной жертвы.

Колдунья корчилась, возвратившись в свое тело и приходя в себя. Боли поняла, что очистилась, но утратила свободу: Лаурель навсегда останется в ее жизненном источнике. Он лишил ее дух девственности и теперь будет поступать с ним по своему усмотрению. Ничего похожего на Аурикана, бесчеловечного порабощателя. Чем это божество ее очаровало? По сравнению с Лаурелем, мужественным и преданным, арауканский идол казался всего лишь гигантской марионеткой. Ее существо было подвластно мужчине – и ничто не могло изгнать его с занятого им места. Она нежно погладила

лоб Лауреля. Вернувшись в свое тело и открыв глаза, он встретился со взглядом Боли и зарыдал от счастья: там пребывала его душа... Они были не одним целым, а двумя – но в то же время одним. Навсегда вместе, неразлучные даже после смерти. Два сердца, связанные одинаковым биением, успокоились, мир обрел сферичность: это биение улетало к пределам пространства и возвращалось, обогащенное стуком других сердец. Через них легионы мертвецов достигали совершенства, вступали в царство неистощимой энергии и вечной жизни. Они вдвоем были Присутствием и Прощением, а, взаимопроникая, стали еще и раздвоенным Разумом. Подарив себя друг другу и остальным, они стали такими же, как Создатель, богами в телесном облиции, распахнутой дверью, которой не закрыться никогда.

Мрак окрасился в темно-синие тона, на горизонте показалась алая полоса. Воины плясали на пустых бочках, с трудом удерживая равновесие то на одной, то на другой ноге. Настал момент истины: ни одного убежища вокруг, ни одного тайника. Мачи, сознавая всю важность следующего шага – или она приобретает все, или теряет жизнь, свою и соплеменников, – вонзила ногти в плечо Американки: та спала, издавая храп, похожий на тиканье часов. Как ястреб, утаскивающий куропатку, Мачи поволокла ее на возвышение, выдолбленное в белой скале. Затем принялась осыпать все тело, с головы до ног, сильными ритмичными ударами. Кожа приобрела гранатовый оттенок. Это придало новых сил дудельщикам, и танцы возобновились. Открыв глаза, Американка обнаружила, что ее используют, как большой барабан. Несмотря на жестокое избиение, она не шелохнулась. Да и зачем? Тело, покрытое поликостерилоксиматиком, было нечувствительно к боли. Рядом с пятым позвонком у нее имелось фальшивое родимое пятно: нажав на него, можно было получить болевые ощущения, близкие к человеческим. На коже появились синяки. Никто из членов Общества не двинулся с места: они верили целительнице. Потекла кровь из носа, из уголков губ. Танцующие оглушительно завопили. Старуха вскочила на Американку, топча ее ногами. Механическая женщина

отключилась. Короткий приказ – и воины вылили на истерзанное тело ведро чичи, которая вспенилась, смешавшись с кровью.

Мачи с беспокойством поглядела в сторону востока: полоса рассвета все увеличивалась. Пока все шло как надо. Основная материя была приготовлена. Из этой внешне ничем не примечательной сущности, словно бабочка из куколки, выйдет Белая Змея... Уинки позволяли ей пользоваться своими жизненными источниками, предоставляя драгоценную энергию. Она завоевала доверие всех, сейчас то же произойдет и с этой безумной.

Мачи нажала на подошвы ног Американки. Та пришла в себя, жалобно охая. Ура! Невидимая преграда пала. Действительность начиналась – начиналась с боли.

– Не волнуйся, дитя мое. Я пришла от самых истоков, с волшебной палочкой в руке. Там я встретила Верховное существо. И оно сказало мне: «Пойди и вылечи ее!».

– Я мертвая. Ты не сможешь ничего сделать...

– Мертвые излечиваются, рождаясь заново, девочка моя.

Мачи отдала распоряжения. Га и Деметрио взяли Американку за руки, Акк и Хумс – за ноги. Боли и Лаурель удерживали веки открытыми: это было важно. Старуха забралась на белое тело и, размахивая ножом, воскликнула:

– Я сдеру с тебя пластиковую кожу!

И достала из кармана кусочки куриной кожи, зажатые в кулаке. Взяв тупое каменное лезвие, она притворилась, будто делает разрез. Рассыпая содержимое кулака, она искусно разыграла сцену. Американка завывала от прикосновения каменного ножа. Колдунья не пропустила ни одного участка тела...

– А теперь я одену тебя в новую кожу.

В потайном кармане у нее лежала густая кашка из растертых корней и стеблей трав, немедленно заживлявшая любую рану. Пользуясь все еще царившим вокруг полумраком, Мачи принялась массировать тело Американки. Когда лечение закончилось, она скатала снадобье в шарик и показала его всем, выдавая за остатки искусственной кожи.

Воины начали лизать тело женщины, пока поверхность его не стала совсем гладкой. Американка извивалась, наслаждаясь первыми ощущениями от целебного состава. На ее мысленном горизонте тоже занималась заря. Выходило солнце – но было ли оно жизнетворным светилом или простой лампой, установленной полицейскими из Штатов?

Видя эти корчи, Мачи вонзила нож ей в грудь и сделала разрез до лобка. Порывшись в печени, она смогла нащупать двигатель, приводивший организм в действие, и нажала кнопку. Пружина распрямилась.

– Я вырвала механизм, вставленный нашими врагами.

– Будь осторожна. Если удалить микрокомпьютеры, мои внутренности начнут гнить.

– Не бойся, дитя мое... Верховное существо поможет тебе возродиться.

Из каждого позвонка Мачи доставала все новые приспособления. Вскоре на камне скопилась кучка предметов, отзывавшихся металлическим скрежетом. Мачи провела руками над раной, и ее края сомкнулись.

– Ты чиста!

Американка застонала.

– Ты убила меня своим лечением. Ни один орган больше не работает.

И сжала челюсти с такой силой, что зубы заскрипели. Напрягшись, она отвердела, как древесный сук, дыхание прекратилось. Опасность была очевидной: женщина могла погибнуть от самоудушения. Мачи попыталась открыть ей рот для искусственного дыхания – напрасно. Не помог даже нож, вставленный между зубов. Тогда Мачи вдохнула ей в нос – нет, не только воздух, но всю свою душу. «Научись снова дышать, дитя мое. Это как при родах. Плоть задрожит, все начнется заново: ты приходишь в мир. Привыкни к смене кожи». Так нашептывала колдунья в ухо Американке, пока та, ворочая языком, с удовольствием втягивала свежий предутренний воздух. Лес и долина пробуждались, птичий хор присоединился к флейтам и барабанам. До восхода оставалось минут десять... Уверенными движениями Мачи приставила друг к

другу куски металла, вытащенные из тела. Плотно пригнанные, они образовали пифильку, легендарную индейскую флейту.

– Гуалы, вспомните! Некогда арауканы были счастливы. Пришло светловолосое существо из Вену́ и вручило нам пифильку. Нас погубила наша беззаботность. Но сегодня другое светловолосое существо, тоже из Вену, доставило нам новую пифильку, спрятанную внутри него. Если подуть в нее, появится Белая Змея...

Смочив конец флейты слюной, Мачи передала его Толину:

– А тебе не надо лечиться. Просто стань музыкой... Помогите мне...

Преодолевая отвращение, скрипач взял инструмент и робко подул. Вырвался звук чистый, как птичье пение – нет, еще чище. Люди и природа вмиг замолкли. Деревья перестали шуметь, ветер – свистеть. Толин провалился в иной мир, потерял память и желания, потерялся в себе самом, став не человеком, играющим на флейте, а продолжением таинственных сущностей, представавших перед ним во всем блеске. Предавшись необычайному наслаждению, он стал Творцом, который и порождал эту мелодию. Непонятно как ему удавалось вдыхать и выдыхать одновременно. Звучание выходило от этого непрерывным и, вибрируя, закачивалось в невидимом стержне каждого живого существа. Отдавая себя, Толин давал новую жизнь материи. Небо заалело. Горизонт вспыхнул золотом...

Это было мгновение, которого Мачи ждала всю жизнь. В общем-то она не верила в приход волшебной змеи. Никакое волшебство не поможет арауканам выбраться из нищеты. Белые, охваченные проповедническим пылом, будут погружать их все глубже, на самое дно, приучая к порокам и отравляя окрестную природу. Индейцы должны помочь себе сами. Мачи обратилась к самому сокровенному в себе и, преодолевая боль, разделила свой дух надвое. Потом, снова подув в ноздри Американке, спустилась к ее жизненному источнику.

Захватить тело безумной было нетрудно: новорожденная душа радостно приняла колдунью, как свою мать, не бунтующая, а всецело покорная. Мачи, воздействовав на капилляры, запустила процесс пигментации.

Полторы тысячи воинов упали на колени. Члены Общества – тоже. На ногах остался лишь Толин; раскрыв рот, он выпустил из рук пифильку, откуда потекла слюна, и пробормотал:

– Но ведь это же моя мать!

Преображенная Американка все больше напоминала весталку, которая в обличье статуи навещала его каждую ночь. Волосы ее светились изнутри, кожа стала белой, белее молока и облаков на небе. Волосы под мышками тоже меняли цвет. Наконец, алебастровый лобок, бесцветные зрачки, пустой взгляд мраморного изваяния возвестили всем, что Белая Змея родилась. Раздались бешеные вопли. Солнце, казалось, взорвалось одним махом, день разлился на сотни километров вокруг. Женщины и мужчины с громкими возгласами схватились за оружие. Мачи была взволнована. Но ей отныне предстояло жить в двух телах. Ведунье лучше всего, пожалуй, симулировать болезнь или старческое слабоумие. Ее понесут на плечах, а тем временем Мачи в теле Американки сможет подготовить торжество индейского народа. Ни одно войско теперь не могло им противостоять. Арауканы – прирожденные бойцы. В своем неумолимом продвижении вперед они сокрушат солдат и карабинеров, завладеют их оружием. К Ла-Монедде придет армия с автоматами, пушками, танками. И Мачи победно воздела руки кверху. Воцарилось напряженное молчание.

Следовало в точности подражать голосу Американки, чтобы никто не догадался о происходящем. И колдунья продиктовала душе молодой женщины речь на индейском языке, научила священной пляске, поведала о планах, которые предстояло привести в исполнение.

Но арауканы еще не обладали всей возможной мощью. На их стороне был Нгуенечен, хозяин рода людского. Надо

было заручиться поддержкой черного пламени, разрушительного начала, соперника Нгуенечена, повелителя вулканов, насылающего землетрясения, – Пиллана.

И начались приготовления к *мачитуну*: все окружили Реуэ, священное дерево, чтобы непобедимое могущество Пиллана проникло в кровь каждого индейца.

Услышав имя грозного бога, Боли в страхе обняла Лауреля. Пиллан и Аурокан были одним существом!



## XVII. ГОЛОС ПИЛЛАНА

*Бессмертный, человек в утомлении станет  
бродить между звезд, разыскивая  
легендарное сокровище, некогда  
прозванное Смертью.*

**Эстрелья Диас Барум. «Пророчества».**

Мистическое помешательство Геге Виуэлы упало на плодородную почву, если говорить о средних слоях общества. Мелкие собственники и торговцы были страшно напуганы появлением рабочей святой на кресте, нетленной, распространяющей запах фиалок: вокруг нее и Хуана Неруни собралось войско фанатиков, готовое свергнуть законно избранную демократическую власть! Поэтому, когда распятого президента выставили в кафедральном соборе, перед его телом весь день слышались неистовые клятвы и заклинания избавить страну от красной напасти. Эти люди обрели своего Мессию! Целые семьи не только облачились в зеленые рубашки, но выкрасили в этот цвет дома, автомобили и все, что попало под руку. Расстрел пяти тысяч коммунистов на муниципальной бойне горячо приветствовался – этот сброд заслуживает беспощадного истребления! Жители столицы по меньшей мере раз в неделю преклонялись перед соборным алтарем. Геге Виуэла расточал благословения и призывы к крестовому походу.

Поздним вечером процессия верующих приносила президента, все так же привязанного к кресту, в его спальню, оставленную подобно монашеской келье: никакой мебели, стены, потолок и пол грубо выбелены. Распростершись на двух перекладинах, Геге позволял высвободить свою правую руку. После чего хватал пистолет-пулемет, вперившись бессонным взором в дверь комнаты.

Этой ночью по ту сторону двери тихо шушукались между собой кардинал Барата, Лагаррета и начальник военного госпиталя. Спор шел о том, кто первый сообщит президенту неприятное известие. Врач взорвался:

– Хватит! Мы тут три часа ходим вокруг да около, а пора бы принять решение! Как вы хотите, чтобы я вошел? Я работник умственного труда, а не спецназовец! Президент ясно и четко объявил, что всадит весь магазин в того, кто посмеет войти к нему с этой новостью! Думаю, что вы, преподавательный отец, должны оказать стране эту услугу.

– Ошибаетесь! Я нужен своей пастве, сейчас больше чем когда-либо. Христианская жертвенность давно вышла из моды. Это раньше встречались любители отправить себя на тот свет, чтобы подать пример духовного совершенства. Сегодняшний же день требует от нас жить и давать отпор врагу, уже показавшему зубы внутри наших границ... Полагаю, что генерал, привычный к стрельбе, – тот, кто лучше других сумеет уклониться от пуль.

– Лицемеры! Вы дрожите от страха, только и всего. Жалкие трусы! С меня довольно! Лагаррету не запугает никто, даже этот буйнопомешанный.

И он приоткрыл дверь на сантиметр, проговорив:

– Можно войти, Ваша Святость? Ничтожный министр принес вам отличную, самую лучшую новость...

Сердце Виуэлы забилося с невероятной скоростью. Значит, это правда – то, что он думал про себя?.. Значит, медики ошиблись, и это не рак, а всего лишь кожное заболевание? Но как же быть с болью? А, так он пришел сказать, что найдено чудодейственное средство! Пора бы! Все врачи страны работают над ним...

– Входи, друг мой. И да пребудет с тобой мое благословение...

Геге, сделав чудовищное усилие, все-таки не сказал: «чтобы ты растолстел на полпальца». Лагаррета удовлетворился тонкой щелочкой, проскользнул в спальню, широко раскинул руки-спицы, подошел к распятому, хлопнул его по щеке и вынул из пальцев пистолет. Затем крикнул:

– Входите, засранцы!

Начальник госпиталя и кардинал, оказавшись вне опасности, пересекли порог комнаты. Барата, не теряя времени, приступил к соборованию. Лагаррета со смешком протер одеколоном те места на своем теле, которые касались сгнившей кожи «святого».

– Час настал, дон Козел!

– Именно так, ваше превосходительство... Двести врачей из личной Медицинской Службы Вашей Святости неделю изучали анализы и пришли к единогласному выводу: вам осталось жить сорок восемь часов! Нет, даже сорок пять, поскольку мы потеряли три часа, обсуждая, как преподнести вам эту новость...

Геге Виуэла не мог пожелтеть, ибо пожелтел уже давно. Тело его покрывали зловонные язвы. Принеся Виуэлу утром в собор, его посыпали опилками: то был единственный способ скрыть разложение тканей. Кроме того, монахи непрерывно опрыскивали пространство вокруг креста благовониями, усыпляя обоняние своих сограждан.

– Я вечен! Если даже тело мое желает умереть, я не хочу этого делать и не могу! Я беспокоюсь не за себя – за Родину! Зеленорубашечники должны верить в своего Бога! Я обещал им остаться с ними навсегда и сдержу слово! Святой Геге не погрешим! Я сказал, что разразится русско-американская война – и она разразится! Я не потерплю никакого предательства! Если церковь еще держится, это все благодаря мне! Если армия повинуется, то из уважения ко мне! Одно мое слово, и слуги раздерут вас на части! Высшие и средние классы – со мной! Вы обязаны мне повиноваться! Сорок пять часов. Сорок пять бесценных часов! Надо срочно действовать! Но прежде всего – тройная доза морфия...

Вертолет высадил их на главной набережной Вальпараисо. (Лагаррета обратился к верховному командованию, но поведать правду не мог: его бы тут же расстреляли. Ни один военный не ставил под сомнение святость президента. Совещание состоялось в Ла-Монеде. Каждый из высших военных чинов

получил личное письмо за подписью Виуэлы, где утверждалось что он, ради них и ради страны отняв руку от креста, чтобы написать эти строки, приказывает немедленно придать восьми военным кораблям, стоящим в Вальпараисо, русскую боевую окраску. Приказывалось также поднять на мачтах знамена с серпом и молотом. На рассвете суда должны были взять курс на Соединенные Штаты. Капитаны получили конверты с секретными инструкциями, которые надлежало вскрыть по прибытии к месту назначения. Президент требовал слепого повиновения, ибо его воля совпадает с волей Господа).

Вынесли Виуэлу. Сзади следовал начальник госпиталя, каждые двадцать минут незаметно вкалывавший ему в ягодицы наркотическую смесь. Слева шествовал кардинал с новым, официально утвержденным распятием в руках (вместо Христа – фото Виуэлы).

Лагаррета свистнул – это был сигнал к поднятию флагов. Корабли отчалили. Президент начал мелко смеяться. Чуть позже генерал, оставив президента на время промывания тому желудка, признался Барате:

– Я заменил морские карты. Нашел одного виртуоза, который подделал почерк президента. Потом мы его расстреляем. Чтобы не выглядеть лжецом, этот псих приказал капитанам обстрелять первое же американское поселение, которое встретится на их пути. Суда поднимут красные флаги, через громкоговорители будут передавать «Интернационал» на русском. После обстрела приказано потопить корабли со всем экипажем. Гринго будут уверены, что это внезапная атака русских, новый Перл-Харбор. Начнется мировая война. Не волнуйтесь... Через несколько дней они вскроют конверты с распоряжением идти обратно – на церемонию похорон президента...

Тут Виуэла отчаянно зазвонил в колокольчик, подзывая генерала к себе.

– Прежде чем замолкнуть навсегда, я хочу известить всех, что Соединенные Штаты объявят войну России! Это случится скорее, чем кое-кто считает! Геге Виуэла всегда прав! Ошибки быть не может! Наша страна обязана поддержать своего

соседа. Кардинал Барата! Вы поставите кресты с моим изображением везде: на каждом холме, на дорогах, на углах улиц, на крышах домов и машин... Одновременно в газетах, в кинохрониках, по радио, по телефону рабочие-бунтовщики будут преданы анафеме. Вас ждет армейский мотоцикл с коляской. У меня еще есть двадцать четыре часа! Вперед! Проправительственные журналисты находятся в полной готовности. Армия поможет водрузить кресты. Даю вам двадцать часов... А вы, Лагаррета, если хотите удержать власть и сохранить армию на своей стороне, займетесь моим телом, окружите его бóльшим почтением, чем бунтовщики – ту грудастую бабу. Двадцать миллионов человек в зеленых рубашках должны видеть, что оно чудесным образом не подвержено разложению!

– Но как, Геге?! Ты прямо-таки расползаешься в клочья...

– Не преувеличивай, завистливая швабра! Ты никогда не достигнешь божественности. А я достигну! Выньте внутренности, набейте меня льном, пропитанным миром, вызовите лучшего бальзамировщика, чтобы тот придал мне благородный вид, как у старого дерева. И выставите меня в Ла-Монедде, на обозрение всех чилийцев. Только закройте окошко пуленепробиваемым стеклом. Пусть граждане видят своего Геге, постоянно хранящего их покой! Вы пустите в народ легенду о вечном президенте. Обещайте!

– Обещаю.

– ...ваше высокопревосходительство святой Геге Виуэла.

– Обещаю, ваше высокопревосходительство святой Геге Виуэла.

– Хорошо. В этом ящике – список моих сокровищ. Часть из них употребите на личные нужды, а остальное – на расправу с проклятыми рабочими. Пусть они дорого заплатят за свое предательство! Если встретите Хуана Нерунью, сделайте вид, что его никогда не существовало.

Барата ломающим голосом предавал восставших анафеме по радио. По всему городу слышался адский стук молотков: водружали кресты. На фотографии был изображен Геге, во фраке и в терновом венце. В президентскую келью,

трепеща, проник бальзамировщик. Втолкнувший его солдат тут же получил от Лагарреты пулю в затылок.

– Вы – лучший специалист в Чили. Делали для кино мумий и разных монстров. Если вы не покроете тело президента составом, похожим на дерево, ваши мозги растекутся по полу.

Геге добавил:

– У тебя есть два часа. Я хочу умереть, полностью уверенный в своем триумфе!

Плоский генерал все это время прижимал пистолетный ствол к виску несчастного. Паника заставила его сотворить невозможное. Ровно через два часа президент превратился в деревянное изваяние. Лагаррета запер бальзамировщика в подвале:

– Будешь проделывать это столько раз, сколько понадобится. Ты мой пожизненный пленник.

Геге наблюдал свое отражение в зеркале, не в силах улыбнуться под слоем пластика. Издав долгий вздох облегчения, он скончался умиротворенный – и не только благодаря морфию.

Побережье, горы, пустыня, улицы – все в Арике и окрестностях стало фиолетовым. Тысячи рабочих в брюках и рубашках этого цвета поднимали руки к небу, яростно приветствуя круживший над центром города воздушный шар. В корзине его находились бесчувственный Виньяс и нетленная святая. Обнаженная, с растрепанной от ветра рыжей шевелюрой, покойница, казалось, благословляла рабочих, возлежа на кресте. Аламиро Марсиланьес притаился в корзине, прячась от людских взглядов. Верный как пес, он поддерживал крест, чтобы его возлюбленная не свалилась вниз. До этого дня шар принадлежал рекламной службе лимонадной фирмы «Лулу».

Профсоюзным лидерам пришлось засвистеть во всю мочь – иначе унять неистовство было невозможно. Установилась тишина, но поэт, наслаждаясь своей властью, протянул руку, требуя новых криков «ура» в честь собственной святой. Толпа оглушительно заревела. Побелевшие от гнева, выдохшиеся, профсоюзные деятели затихли. Из пещер Моро – старинные предания утверждали, что они доходят до центра

Земли – рекой потекли крысы, наводняя город. Миллионы грызунов, всех видов и размеров, живым плащом накрыли прибрежную возвышенность и, ударяя хвостами, известили всех о прибытии войск генерала Лебатона. Генерал вступал в Арику, приветствуя рабочих и указывая в то же время на дона Теофило, сидевшего на голове Попайчика, чтобы часть аплодисментов досталась ему. Загорра еле сдерживала счастливые рыдания. Следом ковыляли помятые, но все еще бодрые бенедиктинцы с горящим взглядом. Аббат, прижав к уху портативную рацию, расточал проклятия Барате, объявляя его анафему неправой и постыдной.

Наконец, все увидели шахтеров, прошедших десятки, сотни километров под землей. Глаза их привыкли к темноте, уши – к тишине, дух – к совместной борьбе. Свет, шум, многотысячные толпы заставили их впервые вкусить радость торжества. Революция больше не была неясной целью по ту сторону нескончаемого туннеля. Она была здесь, начинаясь, чтобы никогда не закончиться. Горняки больше не отступят: жизнь их принадлежит великому делу! Все они шли по тропинке к вершине горы Моро и там, в сравнении с фиолетовым морем внизу, почувствовали себя горсткой песка. Загорра, не зная, что делать, затянула вальс паяца Пирипи – и сотни тысяч плотов мгновенно подхватили его, сделав гимном революции:

Знаю, заповедей десять,  
но одна лишь для меня:  
быть свободным, словно ветер,  
вечно помня о корнях!

С заключительными словами показались танки, захваченные у врага. Лебатон взмахнул рукой – и пушки выстрелили в сторону моря, заставив замолкнуть и людей, и крыс. Пользуясь почтительным молчанием, генерал взял микрофон у профсоюзных лидеров.

– Товарищи, время дорого! Завтра начинается марш на столицу! Армия не испугает нас! Мы – шахтеры и можем

передвигаться под землей! Крысы – наши проводники и верные союзники! Вместе с ними мы непобедимы! Из-под земли мы атакуем любой город страны! Придя в Сантьяго, мы неожиданно появимся из канализационных люков, захватим Ла-Монеду и свергнем предателя Виуэлу! Да здравствует Чили! Ура!

– Ура-а-а!

– Долой Виуэлу!

– Доло-о-ой!

– А теперь прошу всех расположиться на отдых. Следующие дни потребуют от нас подлинного самопожертвования...

В этот момент шар спустился прямо к Лебатону. Виньяс вылез из корзины, таща распятую Эстрелью. Ему помогал Аламиро Марсиланьес (успевший выскочить, пока извлеченный от груза шар не взмыл обратно в небо). Завладев микрофоном, поэт прорычал:

– Друзья! Любимый мой чилийский народ! С вами говорит не Хуан Нерунья, но сама поэзия! Завтра мы переходим в наступление! Сегодня у нас праздник! Громите бары и винные склады! Сносите рынки! Взламывайте двери таможен, за которыми громоздятся бочки! Пейте, ешьте, пляшите, занимайтесь любовью, поджигайте дома! Пусть Арика станет очагом символического пожара! Здесь разгорится восстание во имя свободы – свободы не только Чили, но и всего мира! Вперед, товарищи! Все позволено!

И воцарился хаос. Ночь стала неотличима ото дня из-за пожаров. Все глотки дружно изрыгали одно имя – «Хуан Нерунья» – сначала отчетливо, потом неуверенно, наконец, еле-еле...

Лидеры партий – коммунистической, социалистической, анархистской и радикальной – в сопровождении Лебатона, аббата и профсоюзных деятелей твердым шагом вошли в церковь, сооруженную из листов железа. Виньяс потребовал, чтобы его резиденцию устроили прямо в ней – Нерунья заслужил эту честь! – и вместо кровати пользовался матрасом, втащив его на алтарь. Марсиланьес и Барум расположились в отдельной конурке, где происходили собрания. Однорукий



запирался там со своей любимой, уверяя, что регулярно получает угрозы от маньяков-некрофагов.

Сидя перед чистым листом, с пером в руке, Виньяс тщетно пытался сочинить поэму. Шум, виновником которого явился он сам, похоже, никак его не трогал. На полу валялось множество смятых листов бумаги. Приближение суровой делегации Виньяс заметил слишком поздно и не успел запереть дверь. Он рассыпался в извинениях:

– Поэт не вправе оставить поэзию... Но зачем слова? Нам нужны дела! В целях самовыражения, как видите, я комкаю чистые листы...

И в доказательство этого он смял еще три.

– Довольно этой клоунады! Вам недостаточно того, что вы уже устроили? – коммунистический руководитель был в бешенстве. У Непомусено мурашки пошли по коже. В первый раз рабочий обращался к нему столь непочтительно. Что случилось? Узнали его настоящее имя? Скрывая бурю в мыслях, он величественным жестом предложил всем сесть на церковные скамьи, будто в кресла. Остался стоять один Лебатон, с трудом державший коробку из-под ботинок, на которой был изображен чилийский флаг. Аббат пошел закрывать входную дверь. Один из профсоюзных лидеров взял слово:

– Товарищ Нерунья...

Отлично! Значит, его не раскрыли!

Кашлянув, тот продолжил:

– Уважаемый Непомусено Виньяс...

Услышав свое имя, произнесенное важной персоной, поэт упал в обморок. Аббат вылил на него стакан святой воды и привел в чувство. Генерал заключил Виньяса в объятия:

– Увы, мой друг. Я вынужден был рассказать всю правду. Интересы нации превыше всего.

– Но моя известность... История...

– Об этом не беспокойтесь. Только мы будем знать тайну. Образ Неруньи – необходимое слагаемое нашей победы.

– А, так я могу продолжать?

– Нет, Непомусено. Ваша миссия выполнена. Вы больше нам не нужны.

– Но...

Делегат от социалистов помог поэту подняться. Отряхивая пыль с его костюма из черного бархата, он пояснил:

– Левые партии за несколько лет политизировали народ. Задача была нелегкой. Вначале восемьдесят процентов рабочих были неграмотны. Мы объединили их в профсоюзы, дали понятие о классовой борьбе, объяснили, в чем заключаются их права. Но вы приобрели такое значение, что в какой-то мере разрушили сделанное нами. Теперь все вращается вокруг вас.

Лебатон подхватил:

– Вы превратили мою армию в пиратскую шайку, дав зеленый свет разбоям и грабёжам. Как такое могло случиться? Рабочие проснутся усталые, не смогут двигаться дальше. Нам придется ввести железную дисциплину...

– Я добуду другой шар и призову рабочих немедленно прекратить беспорядки...

– Хватит всего этого бреда!

– Что же мне делать?

Робкий вопрос Виньяса повлек за собой молчание – казалось, бесконечное. Нарушил его аббат.

– Сын мой... Ты прекрасно знаешь, что Господь осуждает насилие. И потому, прежде чем войти в эту делегацию, я сотни раз молился и размышлял. Благо народа требует от тебя жертвы. Большой жертвы. Ты должен встретить смерть – бесстрашно, ибо твой поступок будет вознагражден на небесах.

Лебатон извлек из коробки новенький пистолет.

– Непомусено, мы вручаем вам это достойное оружие. Вы жили со славой и умрете с честью. Напишите несколько прощальных строк в том духе, что вы – препятствие для революционного порыва народа, и застрелитесь до восхода солнца. Мы разбудим войско известием о вашей героической смерти!

Виньяс сглотнул горькую слюну и вытянулся во весь свой немалый рост.

– Никто не обвинит меня в трусости! Хуан Нерунья войдет в историю, высоко подняв голову Непомусено Виньяса! Но все же, чтобы рассеять все сомнения, позвольте мне

спросить: что, если я сочту ваше решение ошибочным и откажусь ему подчиняться?

– Ответ один, товарищ: мы застрелим вас сами!

– Так лучше. Люблю ясность во всем.

– Имейте в виду, что все окна и двери – под наблюдением, что подземных ходов нет, что провертеть дыру в стене невозможно. Не теряйте же времени на бесплодные попытки к бегству.

– Вы оскорбляете меня, товарищи! Я напишу прощальный сонет, после чего выстрел укажет вам, что мой земной путь завершился, обозначив начало посмертного триумфального шествия!

И он приставил дуло к виску, принявшись другой рукой что-то писать на листке бумаги.

Делегация на цыпочках покинула церковь.

Эстрелья Диас Барум с беспредельным ожесточением разогнала свору прожорливых духов и поплыла, не растворяясь в кислотной реке, против течения, ища идеальную женщину для нового воплощения – то есть свое же нетленное тело. Невидимая, она парила между сожженных домов – и вот добралась до стен святилища, с легкостью пройдя сквозь железный лист. Охваченный страстью, Аламиро часто-часто двигал обрубком руки, чтобы сполна насладиться холодными, но такими восхитительными грудями возлюбленной. Одновременно он, как обычно, совокуплялся с ней, стараясь не хрипеть и не сопеть: никто не должен был узнать о еженощном святотатстве. Душа поэтессы презрительно наблюдала за постыдным деянием: «Себялюбивый калека! Ты получаешь все и ничего не даешь! Мое тело заслуживает не таких ласк! Давай же, Барум, вставай и пойдем отсюда! Народ каждый день будет доставлять живому кумиру по тысяче любовников! Мужчины выстроятся в очередь ко мне! Чистилище пройдено: впереди рай! Теперь ты знаешь, как нужно обращаться со своим организмом: душа – для поэзии, тело – для койки! Жизнь, вернись ко мне!» И она проскользнула в неживое тело, надеясь немедленно возродиться.

Аламиро Марсиланьес не заметил перемены. Женщина взирала на его равномерные движения все с той же умопомрачительной улыбкой. Он покрывал ее лицо поцелуями. Приближался четвертый за эту ночь оргазм. Что до Эстрельи, она не испытывала ничего. Ловушка! Нервы не передавали ощущений, мускулы ей не повиновались. Слепая, глухая, немая, она стала пленницей своего мертвого тела. Попытка сбежать не удалась. Итак, она останется здесь навсегда. Эстрелья просила прощения, умоляла, плакала, сосредоточила все свои силы в области лона, пыталась пошевелить губами, попросить Марсиланьеса сжечь ее. В отчаянии собрав воедино всю свою энергию, она добилась того, что мускулы влагалища сократились. Однорукий уже был близок к извержению, когда его член оказался плотно сжатым со всех сторон. Он уперся рукой в грудь покойницы, чтобы оттолкнуться и освободиться. Никак! Он попробовал разжать створки пальцами – то же самое. Подвигал лобком – труп дергался, словно был приклеен к его яичкам. Он в капкане! Единственный выход – отрезать себе член.

Когда занялась заря, в церкви раздался выстрел. Лебатон, аббат и рабочие деятели, спавшие на ступеньках храма, вскочили и устремились наверх. Там, уронив голову на стол, сидел Непомусено Виньяс. На полу дымилась лужа крови.

Лебатон приказал:

– Не трогайте его! Он умер героем! Народ должен отдать ему последние почести! Завтра – день похорон! А потом мы с новой силой приступим к освобождению страны! Бейте в колокола, будите всех!

– Минутку, генерал. Я, в качестве аббата, предлагаю: пусть жители города увидят поэта рядом с покойницей, одетой как дева Мария!

– Неплохая идея. Надо принести ее из комнаты для собраний.

Они постучали в дверь. Нет ответа. Позвали Марсиланьеса. Заколотили в дверь громче – руками, затем ногами. Попытались вышибить дверь с криком:

– Проснитесь, товарищ! Нам нужна святая!

С той стороны слышались странные звуки, точно кто-то открывал заколоченный гвоздями ящик. Лебатон призвал всех к молчанию. Чтобы справиться с дверью, нужен газовый резак, а это дело нескольких часов. Проще убедить однорукого.

– Аламиро, это я, генерал, ваш друг. Не бойтесь ничего. Мы знаем, что вы не спите. Если что-то случилось, скажите нам...

Протяжный вздох донесся через металлическую преграду.

– Я попробую открыть. Но при одном условии: войдете вы один. Поклянитесь самым дорогим.

– Клянусь Революцией и Загоррой.

Дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы Лебатон мог протиснуться в нее боком. Увидев происходящее, генерал удивился, но не возмутился: он знал историю двух влюбленных, и безумие Марсиланьеса вызывало у него жалость. Но нельзя же поставить перед войском этих двоих, намертво сцепленных друг с другом!

– Надо спасти вас, друг мой. Если вас найдут в таком виде, то расстреляют без лишних слов. Или я отрежу вам член, или расчленю это тело.

– Ни то, ни другое, Лебатон. Пустите пулю мне в голову! Я не могу жить ни кастрированным, ни с возлюбленной, разъятой на части.

Генерал секунду поразмыслил. Скандал недопустим – народ хочет видеть символ Революции чистым и незапятнанным – но и отправить на тот свет бывшего товарища по мытарствам тоже не годилось. Он достал револьвер, стукнул Аламиро рукояткой по голове, и затем с чисто военным умением походным ножом разрезал Эстрелье лобок, освободив мужской орган. К тому же кровь уже свернулась, и остановить ее было легко: Лебатон отрезал кусок савана и перевязал рану. Натянув на Марсиланьеса брюки, генерал смочил ему губы церковным вином и вышел за дверь.

– Ничего серьезного, товарищи. Он просто выпил чуть больше, чем нужно. Потребовалось немного повозиться, но теперь с ним все в порядке. Входите.

Усопшую взвалили на плечи и понесли с пресловутым куском савана на поясе – деталь, которую не преминул отметить аббат, с улыбкой кивнувший Марсиланьесу. Тот, уже оправившись, одним прыжком догнал делегатов и сдернул с Эстреллы импровизированный наряд.

– Это я! Я надругался над святой!

К чему жить дальше? Сожительство с Барум стало невозможным, а больше его ничто не интересовало.

– Мое семя там, внутри! Убейте меня, как собаку!

Винтовочные стволы как по команде нацелились на него. Лебатон, простукав стены костяшками пальцев, убедился, что они изготовлены из двойных листов стали. Значит, выстрелы не будут слышны. Никто ни о чем не узнает. Покойницу оденут как Деву и перестанут показывать обнаженной... Со скорбью в душе генерал, понукаемый обстоятельствами, скомандовал «Пли!» – и калеку мгновенно изрешетили пулями.

В комнату ворвался некто, испачканный кровью, и склонился над Аламиро, прижав его к груди. Да это же Виньяс! Как и откуда? Разве он не застрелился?

– Прошу прощения за маленький спектакль. Это красные чернила, которыми я писал. Выстрел был сделан в воздух, я притворился мертвым. Не из трусости. Нужно было время, чтобы все для меня прояснилось. Я знаю, что обязан принести себя в жертву ради торжества чилийского народа. Но не в одиночестве! За Хуаном Неруньей следят массы! И его самоубийство должно быть чем-то из ряда вон выходящим. Объявите всем, что национальный поэт расстанется с жизнью, прыгнув в кратер вулкана Ренко! Эта kloкочущая гора примет меня, облекая раскаленной лавой! Ибо огонь я – и огонь возвращусь!

Душа Марсиланьеса разлучилась с телом. Перед ней представала череда грядущих воплощений: умирать, вновь рождаться, совершенствоваться и, наконец, войти в Ничто. Что за скука! Полное отсутствие фантазии! Бесполезно мяться, и двигаться вперед тоже бесполезно. Единственное

достойное его местопребывание посреди дурной бесконечности – это тело Эстрельи!

Обратившись в невидимый дротик, он проник туда. Эстрелья встретила его с ликованием. Теперь в ловушке они оба! Можно развлекаться беседами. Взаимное обладание на духовном уровне. Поэтические оргазмы, за неимением телесных... И Барум раскрылась навстречу Аламиро хрустальными волнами.

Коснувшись души поэтессы, Марсиланьес утратил собственные пределы и, опьяненный светом, сделался песней. Из темноты его внутренней сущности поднялось облако – Вселенная в форме сердца. Весело вертясь, отражая друг друга, они замкнулись на века в этом неразложимом теле, пока кто-то – или что-то – не уничтожит его, к несчастью...

– Нерунья вечен!

Вокруг вулкана сгрудились тысячи человек. Между каменными глыбами вилась тропинка, устланная бумажными цветами, и исчезала на краю кратера. Разутый, с колосом в одной руке и пером в другой, Непомусено Виньяс приносил себя в жертву. Дети, женщины, мужчины, старики, – все целовали ему ноги.

– Ты будешь корнем нашего народа, великий поэт!

Аплодисменты одурманили его. Вот они – триумф, нектар славы, любовь народа, раскрытые объятия Истории! Ради этого стоило погибнуть! Внизу его ждала раскаленная лава. Он в экстазе вдохнул вулканические пары, словно они были спиртовыми. Воздел руки. Настала мертвая тишина. Толпа замерла. Виньяс поискал в памяти какую-нибудь строфу Неруньи, уместную в данном случае, – но не нашел. Обратился к своей поэме про ипсилон, – но его чуть не стошнило. Еще мгновение – и торжество будет непоправимо испорчено. Тогда, вместо чтения стихов, он задал вопрос:

– Что такое Родина?

Океан людских глоток ответил ему:

– Родина – это Хуан! Хуан – это Родина!

Виньяс в слезах воскликнул:

– Хуан – это народ! Я тенью был и тенью становлюсь!

И бросился в огненную пропасть. Горячая магма тут же поглотила его. Восставшие затянули вальс паяца Пирипи. Лебатон пятью выстрелами возвестил о начале Великого похода. Теперь ничто не остановит Революцию!

Через час склоны вулкана опустели. Ветер взметал цветы. Единственным напоминанием о событиях остался камень, притащенный с кладбища – спешка не позволила сделать больше – с именем Неруны, жирно выведенным смолой. Послышались чьи-то припадающие шаги. Среди глыб показался грустный человек с ведерком краски в руках. Красными буквами он написал под именем Неруны еще одно: «Непомусено Виньяс».

Хромец ревниво следил за поэтом, спрятавшись в гуще народа. Мошенник! Ведь он, Вальдивия, тоже кое-что сделал, чтобы нация узнала Нерунью! Он тоже заслужил свою долю праздничного пирога! Но одна подробность вновь расположила его к старому приятелю: председатель Поэтического общества прыгнул в вулкан под названием Ренко<sup>1</sup>! Не говорит ли это о его привязанности к верному другу? И верный Вальдивия, без ненависти и зависти, решил умереть здесь же. Но не громко, а незаметно, постепенно: от голода.

Он сел на камень, уставившись туда, где исчез его бывший спутник и, не отводя глаз от кратера, со сжатыми челюстями приготовился ждать конца. Стая грифов в небе подсказывала, что ожидание не будет долгим.

Генералы Лебрэн, Бенавидес и прочие армейские шишки сопровождали в собор Лагаррету – нового вождя нации. После молитвы все пошло на поклонение трупу Его Превосходительства. Тысячи зеленорубашечников, держа кресты с прославленной фотографией в центре, толпились в проходах. Дымно пылали бесчисленные факелы. Святой Геге Виуэла, божественной благодатью обращенный в кусок дерева, – никто не отрицал чуда, – был перевезен из президентского дворца сюда, чтобы занять место мраморного Христа. Так он

---

<sup>1</sup> Renco – хромой.



и останется здесь навечно, подставляя свои ноги губам верующих. Слепая вера приведет их к победе! Никто не устоит перед зелеными рубашками! Бунтовщики будут пожраны священным огнем!

Лагаррета сглотнул слюну, еле прошедшую через узкое горло. Может, Геге действительно творит чудеса? Как иначе объяснить судьбоносное вмешательство этих двух старух? Без них они с Баратой увязли бы по самые уши.

Президент умер удовлетворенным, но через час искусная работа мастера рассыпалась на части. Прогнившая плоть выделяла испарения, не позволявшие пластику прочно держаться. Бальзамировщика подвергли пыткам, но это ничего не дало. Пришлось избавиться от него выстрелом в упор. (Несчастному благоволила судьба: перед тем, как уйти из жизни, он получил соборование из рук самого кардинала Бараты. Невиданная роскошь!)

Что делать? Главное заключалось именно в чудотворном преображении плоти в дерево. Без нетленного тела нет народного энтузиазма, и восставшие с подлинной святой восторжествуют... Генерал готов был расплакаться от бессилия, когда, непонятно как миновав охрану, перед ним предстали два пугала женского рода, одетые одалисками. За смешную сумму в тридцать песо они предложили выдать местонахождение нового паяца Пирипики с его ящичком, полным нестираемых красок. Лагаррета с кардиналом отправились к нему, вооруженные до зубов. Казалось, паяц ждал их, поскольку не сопротивлялся, а, напротив, проявил патриотическое рвение. Он уверил обоих, что является верным продолжателем дела своего предшественника и обещает достичь нужного результата, в чем ручается головой. Паяц попросил лишь оставить его в одиночестве: он не может создать произведение искусства, находясь под неусыпным наблюдением. Чтобы доказать качество грима, он нанес краску на протухшую свиную отбивную – и та за пару минут превратилась в кусок дерева. Ее нагревали, терли, бросали в кипяток – краска держалась. С облегчением генерал и

кардинал заперли его наедине с покойным, отправившись организовывать событие первостепенной важности.

Снаружи шумело человеческое море, отблески факелов проникали сквозь жалюзи, разлетаясь по комнате желтыми бабочками. Но паяц ощущал себя отрезанным от мира. Война длилась долго – всю его жизнь, – и различные лозунги: Родина, Народ, Партия, Власть, Будущее лишь прикрывали столкновение двух непримиримых врагов: Геге Виуэлы и Хуана Неруны. Двух призраков. Мертвец, превращенный в нечто худшее, чем падаль, и вычеркнутый из жизни, всеми забытый, почти лишившийся памяти, скрывающийся под этой дурацкой личиной. Никто. Пирипи. Это последнее сражение – стоило ли его давать? Паяц против трупа. Жалкое зрелище! Он устал, страшно устал. Смысл его существования заключался в мести, и теперь – случай? судьба? так или иначе, волшебство – он готовился скинуть честолюбца с вершины его вредоносной пирамиды. Что с того? Виуэла уже ни о чем не узнает: президент умер как победитель, и этого у него не отнять. Суть была в том, чтобы унижить его при жизни, обратить на него силу народного презрения, привести его к краху перед лицом Истории. Пустое бахвальство! Не лучше ли кинуться в окно? Он прижался лбом к стеклу – и при виде преступно-зеленого цвета вернулась память. Нет! Это не поединок двух бойцов, а битва миллионов! Впервые он отдал себе отчет, что его наряд – фиолетового цвета. Там, на севере, сплотившись вокруг его имени и этого цвета, рабочие разбивают сейчас свои оковы. Он с омерзением поглядел на останки: только они связывали его с жизнью. Геге Виуэла связывал его с жизнью. Покойный был, если как следует разобраться, частью его самого... Неисповедимы наши пристрастия! Они завидовали друг другу. Восхищались друг другом. Будь поэт президентом и наоборот, страна познала бы мир. Как жаль! Он стал на колени перед носилками и на манер молитвы прочел, тут же сочиняя его, стихотворение за упокой души смертельного врага. Чеканные строки падали в пустоту комнаты. Молча делая свои приготовления, он ощутил в своем сердце

ту самую благодать, которую тщетно искал через поэзию. Любовь била из него, как сноп света из маяка. И он принялся раскрашивать мертвеца, повинувшись этой вселенской силе.

Колокола собора зазвонили, отмечая начало церемонии. Из широких двустворчатых дверей в Ла-Монеду направилась процессия во главе с Баратой, облаченным в зеленую сутану. Рядом – совсем рядом – на гнедом коне ехал Лагаррета, держа в руках золотой крест с портретом святого Геге. За ними шли священнослужители и военные. Толпы фанатиков давали им дорогу, сдерживаемые солдатами в масках – подражание знаменитой улыбке Виуэлы. Выстрелы, фейерверки. Группа детей несла крест XIII века, еще не обретший своего портрета. Отовсюду несло одно и то же слово:

– Святой! Святой! Святой!

Барата, Лагаррета и дюжина священников вошли во дворец. Дверь в гостиную была открыта. В центре, на носилках, с ног до головы прикрытый зеленой тканью, покоился труп, демонстрируя озаренное улыбкой деревянное лицо. Генерал в беспокойстве искал глазами паяца. Из-за церемоний у него не оказалось времени, чтобы расправиться с этим неудобным свидетелем. Но какая разница! Ведь это – всего лишь ничтожный паяц. Скажи он правду, и фанатичный народ тут же разорвет его на части. Лагаррета, как и все прочие, преклонил колена и прочел «Отче наш», заменяя «Отче» на «Святой Геге». Выпрямившись, он одновременно с кардиналом – это решение было принято после бурного спора – направился к телу. Взяв за края савана, оба потянули его и сдернули. Леденящая душу тишина, затем крики негодования и ужаса. Тело, сплошь покрытое гнойниками и язвами, – почти бесформенная масса, – было зримым образом Зла, адской деградации человека, символом всего самого порочного и чудовищного. Вид его немедленно вызывал тошноту и головную боль. Мраморная челюсть, по контрасту, подчеркивала всю ложь и лицемерие «святого». Мечты Лагарреты рухнули. Все потеряно. Нет незначительных врагов. Измена простого паяца отняла у него власть и будущую империю. Никогда

он не станет диктатором, не покорит Южную Америку, никогда не бросит голодные орды против Соединенных Штатов и всего мира. Никогда Барата не станет папой.

Со стороны носилок послышался смех. Он усиливался с каждой секундой. Все в страхе попятись. Из-под носилок выбрался паяц, поднял всю эту гниль, легким прыжком очутился на балконе, пинком распахнул дверные створки и выставил тело президента на обозрение всего народа. Лагаррета достал пистолет и прямо здесь, перед притихшим морем зеленых рубашек, вогнал обойму в паяца. Сделав последний в жизни шаг, тот рухнул на площадь, не расставаясь с трупом. Новость разошлась в мгновение ока. Геге – не святой! Он насквозь прогнал, точно дьявольское отродье! Факелы потухли, и кое-кто уже проклинал этого мошенника Барату.

Кардинал, крысиными глазками поглядев на своих приспешников, отшатнулся и пронзительно засвистел, словно в него и вправду вселился дьявол. Он был твердо настроен продолжать эту игру, пока не станет неинтересен никому. Его щедро окропили святой водой и понесли в монастырскую келью, откуда он, вполне возможно, не выйдет уже никогда.

В городе начались беспорядки. Генералы, мигом разжаловав Лагаррету, объявили осадное положение. Дворцовая гостиная опустела.

Сидя в углу, лишенный знаков отличия, Лагаррета прислушивался к гулу катастрофы. Неважно: он потерял все, и даже последний нищий вправе его презирать. Приставив пистолет к виску, он спустил курок. Но выстрела не последовало. Все пули остались в теле паяца. Экс-генерал выбросил пистолет через балконную дверь. Что делать, он не знал. Так он и сидел, внимая сиренам, призывам сохранять порядок, выстрелам, топоту преследуемых горожан, скрежету танковых гусениц и неумолчному шуму вертолетных винтов. Когда настало утро, Лагаррета глухо зарыдал.

Эма и Эми, ступая на цыпочках, босиком, с гитарами на плече, подошли к нему, вручили поднос с монетами и приняли переодевать в паяца Пирипи.

Непомусено Виньяс ошеломленно замигал, все еще объятый ужасом. Упав в жерло вулкана, он лишился сознания и теперь мало-помалу выходил из оцепенения. Из отверстия размером с кулак лился свет. Сумрак был не слишком густым, так что Виньяс мог видеть стенки мешка, куда попал по воле случая, шершавые, как шкура носорога. Он пощупал их. Лава, ясно как день. Все понятно: он провалился в холодную корку на раскаленной поверхности, и эта корка затем сомкнулась вокруг него, предохраняя от жара. Аллилуйя! Виньяс поцеловал грубую стенку со всей возможной преданностью и, считая свое спасение делом решенным, прыгнул, чтобы достичь отверстия. Оно оказалось, однако, слишком высоко; от падения корка сотряслась. Под ногами у Виньяса пылала огненная масса. Смерть от голода? И никто об этом не узнает? Какая несправедливость! Закричать? Войско из рабочих, несомненно, уже далеко. Молиться? Но он всегда верил только в Поэзию. Какой-то предмет привлек его внимание. Перо! Он напишет оду Вулкану на поверхности засохшей лавы. И Виньяс уже приготовился вывести «О» – традиционное для него начало, – но перо проткнуло мешок насквозь. Тот содрогнулся. Три пряди дыбом встали на голове поэта, и он поспешно вынул перо. На кончике его капля магмы шипела, словно кобра, издавая серный запах. Виньяс подался назад, встретив на своем пути выгнутые стенки пузыря, который весь заплесал и запрыгал в огненном море. Позеленевший Виньяс трясся вместе с ним, пытаясь найти продолжение для своей оды. «Великий Ренко»? Или лучше «Могучий»? А почему бы не «Священный» – чтобы умиловить вулкан? Но тот не позволил ничего сочинить, издав мощный всасывающий звук. Стенки мешка сошлись, образовав узкую трубу. Поэт вылетел вверх со скоростью снаряда, преодолел двадцатиметровую завесу из черных туч и приземлился на краю кратера, перед бывшим товарищем. Вальдивия заорал от испуга и забился в руках Виньяса: тот крепко сжимал его – не столько из дружеских чувств, сколько из опасения свалиться обратно. Гора содрогалась все сильнее. Вверх полетели камни.

Друзья цеплялись один за другого: кто послужит щитом? Извержение становилось угрожающим: лава пошла пузырями. Оба ждали взрыва. Однако озеро магмы всосалось внутрь кратера, откуда выплеснулась морская вода – возможно, полость в горе доходила до океана. Землетрясение прекратилось. Вода принесла с собой стальной кейс, обросший ракушками.

Непомусено Виньяс помахал пером, которое забыл выкинуть.

– Видишь силу моего поэтического дара? Достаточно мне сказать «О», чтобы земля... – Тут Вальдивия вырвал у него перо и бросил в кратер.

– Все! С поэзией покончено! Нерунья и Виньяс – оба мертвы!

Непомусено хотел что-то сказать – возразить, – но внезапно постиг беспощадную действительность: у него нет ни будущего, ни имени, ни друзей... ни песо.

– Я знаю, о чем вы думаете. У вас остался я, верный помощник, хромой Вальдивия. Я давно уже простил вас. Имя? Их миллионы, выберите любое. Состригите свои пряди, отпустите бороду – и никто вас не узнает. Будущее в наших руках! Но подождите, что это? Посмотрим, что нам принес вулкан.

Он открыл кейс: блеск золота ослепил обоих.

– Поглядите, здесь на слитках надпись: «Собственность Геге Виуэлы». Без разницы! Мы переплавим их. Этого хватит, чтобы спокойно прожить всю оставшуюся жизнь. Вы так не считаете, компаньон Виньяс?

– Именно так я и считаю, компаньон Вальдивия!

– А если, пока тут побеждает революция, мы совершим туристическую поездку в Боливию? Граница отсюда в двух шагах. Я тряхну стариной и сделаю два фальшивых паспорта.

– Отлично...

– А еще с этим золотом можно найти двух индианок, которые за скромную плату будут обслуживать нас по полной...

– Зачем двух? Разве мы не компаньоны? Разделим одну на двоих. Не стоит все усложнять.

– Правильно!

И они обнялись. Затем, мурлыча каждый свое и посмеиваясь, взялись за изготовление ручных носилок для переноски кейса.

Все ждали, что Белая Змея взберется по семи ступенькам, выдолбленным в деревянном идоле, – его украсили ветками магнолии – заговорит на забытом языке, вступит в беседу с Верховным Существом, воспарит ввысь. Но Мачи поставила тело Американки на колени перед первой ступенью. С языком, прикрепленным к дереву колючкой, она впитывала мудрость старого божества. Четыре дня она не принимала ни воды, ни пищи. Четыре дня гуалы водили вокруг нее хоровод, наблюдая за священнодействием, распространяя в воздухе едкий запах пота. Обнаженные воины все убыстряли свои движения, не смыкая глаз ни на секунду. А дальше, в лесах и долинах, пели и танцевали два миллиона индейцев. От топота их сандалий дрожала земля. Сидя на корточках вокруг Реуэ, локоть к локтю, сражаясь со сном, Лаурель, Боли, Толин, Акк, Хумс, Деметриу, Га, а также Карло Пончини, присоединившийся к группе, когда Зум занял его место, ожидали захода солнца и начала преображения.

Мачи прибегла к последней хитрости: дальше – она знала – все пойдет само. Она отъединила язык Американки от ствола, расположила перед идолом двенадцать кувшинов с чичей и размашистыми жестами (при виде их пляска прекратилась) повелела женщине преодолеть семь ступенек. Пока новая колдунья делал первые шаги с кровоточащим языком во рту, старуха уселась рядом с членами Общества и притворилась, будто впадает в транс, чтобы спокойно управлять послушным ей телом. Американка поднималась вверх, пошатываясь от налетевших вихрей энергии. Мачи приходилось бороться не только с внешними искушениями – стремлением к власти, славе, богатству, – но и с душой этой несчастной, ковыляющей, как подстреленная орлица: «Ты – моя мать, моя воля, мой путь. Верь мне. Будь со мной до конца». Еще один повод для тревоги: собственные органы Мачи быстро приходили в негодность. Сил и энергии почти не оставалось. Плоть ее агонизировала, и каждый вздох мог обернуться предсмертным хрипом. Но

надо было выстоять. Если она сдастся, то магический процесс, лишенный своего истока, заглохнет. Итак, борьба за жизнь и управление Американкой, стойкой к земле, воде, воздуху и огню. Вот она уже у головы идола. Теперь надо сделать так, чтобы женщина казалась парящей в воздухе. Она сама могла бы это сделать без труда, но ступни белой женщины были слишком нежными: каждый следующий шаг становился настоящей пыткой. Мачи заставила ее запеть на непонятном наречии, тут же на ходу изобретая слова. Гуалы остановились, тишина заполнила долину. Это словотворчество было необходимо, чтобы внимание всех не задерживалось на ногах Белой Змеи. Тело Американки выше пояса завертелось с головокружительной быстротой, в то время как ноги нащупывали острые выступы – продолжение лестницы, – прикрытые белые цветами и невидимые снаружи. Когда Белая Змея пошла по ним – ценой страшной боли, – все подумали, что она действительно плывет по воздуху. Индейцы упали на колени. Даже белые поверили в чудо. Новая Мачи звала их! Восемь человек повалились на спины и, обрвав светлую пуповину, покинули свои тела, чтобы найти пристанище внутри Американки. Старуха все еще боролась со смертью: несколько мгновений – и она бросит все, оставит в покое утомленную плоть.

Члены Общества Клубня – беззащитные, но беспокойные, – образовали единую духовную сущность. Мачи со вздохом удовлетворения умерла; на губах ее застыла улыбка. Половина ее души тоже вошла в тело Американки, воссоединившись со второй половиной и затем – с остальными душами. Бесконечная жизнь klokотала внутри них. Утратив все признаки и формы, имена, прошлое и будущее, они стали лепестками цветущей розы. Серебряные нити их заплелись в косу, пробившую череп и жадным ростком устремившуюся к небесным пространствам. Вся земля дарила им свою энергию, чтобы в случае надобности они могли пересечь Вселенную из конца в конец. Там, за пределами галактики, лежала черная дыра, все втягивающая и ничего не выпускающая, – царство Пиллана, бога потрясений, бедствий и катастроф.



Став чистой мыслью, они начали призывать Зверя – и без страха ощутили, как он многоцветной бурей летит по темному туннелю, замышляя преступные деяния, готовый поглотить Космос. Одним толчком они очутились в сердце Зверя, упиваясь огненной жидкостью. Вместо поработанных душ он обнаружил могучую пустоту, увлекающую его к земле...

Стоя на вершине Реуэ, Белая Змея, потряхивая рыжей гривой, раскинув руки в виде креста, исторгла из себя энергию Бога-Дьявола. Полторы тысячи Гуа со сладострастными стонами приняли ее в себя и немедленно передали в долину – миллионам арауканов. Индейцы сделались одним существом, из их глоток вырвался голос:

– Мы захватили Пиллана! Теперь бог землетрясения и войны – это мы!

Души белых людей, по-прежнему связанные друг с другом, разошлись по своим телам. Белая Змея испустила желание в сторону гор. Те затряслись, а за ними – вся страна. Вулканы плевались лавой, в земле раскрылись бездонные трещины, по долинам прокатились волны и невероятных размеров глыбы. Арауканы, под предводительством Американки, прыгали между расщелинами, седлали гребни волн, подстегивали валуны, словно домашний скот. Началось индейское завоевание.

Колоссальная лавина накрыла Редуксьон, унося с собой Реуэ. Сидя на семи ступеньках и голове статуи, Хумс, Акк, Га, Деметрио, Боли, Лаурель, Толин и Пончини перемещались в направлении океана. Лавина захлестнула лесок, в котором решил окончить свои дни Зум; его дерево одиноко торчало посреди ледяного потока. Толстяк сидел на ветке со скрещенными ногами и руками – неподвижный центр перевернутого мира. Хумс понял, что не в силах расстаться с другом. Все равно путешествие закончилось... Он прыгнул вниз и, увертываясь от острых кусков льда, попытался добраться до древесной кроны. Остальные продолжили свой путь к морю. Встреча лавины с соленой океанской водой породила гигантскую волну, умчавшую путников к Южному полюсу, в то время как арауканская рать плыла к Северному. Несмотря на адский шум, Толин наигрывал на пифильке прощальную мелодию.

## ЭПИЛОГ

### ЗВЕРЕК ИЗ ДРУГИХ ВРЕМЕН

*Все должно меняться, чтобы вернуться к началу.*

**Из выступления**

**Хуана Неруњи в сенате.**

Кафе «Ирис» нисколько не изменилось. Пожилые официанты разливают в пурпурном зале вино из кувшинов. Посетители в лиловых халатах ведут нескончаемые беседы. То и дело возникают новые темы – землетрясения, революции, арауканские нашествия, народные правительства – и тонут в водах воспоминаний. Ничего не случается. Никто не входит. Никто не встает с места. Вечный сигарный дым, вечный запах герани: похоже, о собравшихся здесь забыла сама смерть. Когда внесли чашу, источающую соблазнительный аромат, разговоры стихли: все, глоток за глотком, принялись смаковать горячий пунш. Языки развязались, на волнах алкоголя закачались легенды. Из самого дальнего угла послышался голос карабинера. Или крысы? Зверек, старый-старый, сидел на голове блюстителя порядка; казалось, он сросся с черепом. У обоих было одно и то же выражение лица (морды) и, возможно, одна душа. Человек, как и крыса, был очень стар, с кожей, изрытой морщинами. Не шевеля губами, карабинер рассказывал истории из незапамятных времен. Случились ли они на заре человеческой расы, ныне исчезнувшей? Или им суждено произойти в будущем? Или это – рассказ о том, что происходит прямо сейчас, в этот момент? Никто не задавался такими вопросами. Привязать событие ко времени было для завсегдатаев кафе святотатством. Важно не «когда», а «что».

– Да, – раздался голос карабинера (крысы?), – гигантская волна подхватила шестерых мужчин и одну женщину и

понесла их в Антарктику с немыслимой скоростью. Они не боялись и не хотели умирать или жить. Они не бежали ниоткуда и никуда не стремились. Они просто *были*, не ведая, кто они такие. Они обладали единым сознанием, через которое в мир приходили космические силы. Когда все привыкли к реву волн, слившись с океаном, когда соленая вода запульсировала в том же ритме, что их кровь, когда тела их лишились отчетливых границ, – тогда в звуках пифильки стали различимы слова. Слова о чем? О том, что еще возможно достичь потерянного рая, легендарного Зеленого острова. Там без боязни живут неведомые создания, сохранившие первоначальный язык. И семеро странников решили отыскать этот Эдем. Сколько времени ушло у них на поиски? Как они сумели преодолеть барьер из льдов, мешающий подобраться к острову? Говорят, они высадились на берег со множеством пещер и были встречены огненным смерчем. Аурокан, когда-то поглощенный единой душой этих шестерых, помог им победить. Всепроникающий голос едва не оглушил путешественников. Слова, сказанные им, превратили людей в растения, животных, камни. Но они не отступили: ведь сознание осталось у них, а любую из оболочек можно было покинуть. Так они добрались до центра острова, откуда вытекали четыре реки. У их истока было видно существо, ростом и обликом похожее на человека, – но не человек. Оно говорило на Материнском Языке, и в воздухе возникали лучи, драгоценности, разные предметы. Земля была устлана зелеными перьями и птичьими скелетами. Подойдя ближе к волшебнику, путники увидели, что это – попугай, проживший не одну тысячу лет, бессмысленно повторявший заученные им слова. От него они научились остаткам божественной речи, смогли строить предложения. Тогда они вспомнили о далекой родине, Чили, и подарили ей жизнь. Полоса земли длиной в четыре тысячи двести километров взвилась, как змея, кусающая себя за хвост. Этот живой круг со всеми обитателями – отныне ангелами, полными высоких устремлений, – пронесся над Южной Америкой, подхватил братские

народы для похода в Вену́, синюю страну, где воцарится Белая Мачи, ибо оттуда она пришла когда-то... и так далее... и так далее...

Крыса закрыла глаза и заснула на середине повествования. Карабинер хотел было продолжить, но после немалого количества напрасных усилий залил свою немоту горячим вином. Пожилые официанты разливали темную жидкость. Иногда кто-нибудь умирал. Его укладывали на барную стойку. Назавтра его место займет новый старик, и ничего не изменится.



## СОДЕРЖАНИЕ

Пролог. Упав из Божьего дома .....	7
I. Общество цветущего клубня .....	9
II. Другой потерянный рай .....	27
III. Банкет и землетрясение .....	37
IV. Чудовищный храм .....	51
V. Огненное крещение .....	65
VI. У каждого бога – свой апокалипсис .....	72
VII. «Рассказы вампира» .....	90
VIII. В поисках преследователя .....	102
IX. Бегство в Египет .....	132
X. Мама, я хочу .....	155
XI. Червь земляной, водяной и воздушный .....	182
XII. Клак, клак, клак, клак-клак-клак! .....	215
XIII. Родина – это Хуан! Хуан – это родина! .....	233
XIV. Семь тощих коров .....	254
XV. Первые последние встречи .....	298
XVI. Ave, Amen, Etcetera .....	339
XVII. Голос Пиллана .....	369
Эпилог. Зверек из других времен .....	394

ИЗДАТЕЛЬСТВА KOLONNA PUBLICATIONS И  
МИТИН ЖУРНАЛ ПРЕДСТАВЛЯЮТ

Рональд Фирбенк  
**ИСКУССТВЕННАЯ ПРИНЦЕССА**

*«Человек, которому не нравится Рональд Фирбенк, может обладать редкими достоинствами, но общаться с ним я не желаю».*

*Уистен Хью Оден*

Рональд Фирбенк (1886 - 1926) проводил свои дни в изысканной неге. Романы он сочинял на почтовых открытках в украшенных цветами номерах отелей. Его передвижения по миру были непредсказуемыми. «Завтра отправляюсь на Гаити. Говорят, президент там Настоящий Душка!» – сообщила телеграмма, которую получил от него приятель. На торжественном ужине, устроенном в его честь, патологически пугливый писатель решился проглотить лишь одну горошину. Он почитал слово «отдохновенный» и все книги, которые ему нравились, называл отдохновенными.

Роберт Вальзер  
**РАЗБОЙНИК**

«Разбойник» (1925) Роберта Вальзера – лабиринт невесомых любовных связей, праздных прогулок, кофейных ложечек, поцелуев в коленку, а сам главный герой то небрежно беседует с политиками, то превращается в служанку мальчика в коротких штанишках, и наряд разбойника с пистолетом за поясом ему так же к лицу, как миловидный белый фартук. За облачной легкостью романа сквозит не черная, но розовая меланхолия. Однако Вальзер записал это пустяковое повествование почти тайнописью: микроскопическим почерком на обрезках картона и оберточной бумаги. А несколько лет спустя стал пациентом психиатрической лечебницы, в которой и провел остаток жизни. На расшифровку микрограмм ушло пятнадцать лет труда четырёх филологов, и роман увидел свет только в 1972 году.

## ИЗДАТЕЛЬСТВА KOLONNA PUBLICATIONS И МИТИН ЖУРНАЛ ПРЕДСТАВЛЯЮТ

### Эрик Стенбок **ТРИУМФ ЗЛА**

Граф Эрик Стенбок (1860 - 1895) происходил из шведско-немецкой аристократической семьи, владевшей обширными поместьями в Эстонии, но почти всю жизнь провел в Англии. Эксцентрик, опиоман, уранист, декадент, – Стенбок жил в мире грез, выбирался из дома только по ночам и не расставался с деревянной куклой, которую считал своим сыном. Он умер в первый день суда над Оскаром Уайльдом, и почти все экземпляры сборников его стихов и прозы были уничтожены родственниками после его смерти. Лишь в конце XX века музыкант Дэвид Тибет разыскал в архивах и издал «романтические истории» Стенбока. Они и вошли в эту книгу – первое собрание прозы графа Стенбока на русском языке.

### Франсуа Жибо **НЕ ВСЕ ТАК БЕЗОБЛАЧНО**

«Уже в детстве мне было легче общаться с Богом и мертвецами, чем с живыми», – признается Франсуа Жибо, французский писатель, известный адвокат, автор фундаментальной биографии Луи-Фердинанда Селина, коллекционер, меценат и, наконец, просто представитель парижского света.

*Чтение романов Франсуа Жибо никому не наскучит – настолько далеки от обычного унылого чтения эти живые воспоминания и свежие мысли.*

*Valeur actuelle*

### Пьер Гийота **МОГИЛА ДЛЯ ПЯТИСОТ ТЫСЯЧ СОЛДАТ**

Публикация «Могила для пятисот тысяч солдат» накануне майского восстания в Париже изменила направление французской литературы, превратив ее автора – 25-летнего ветерана алжирской войны Пьера Гийота – в героя ожесточенных споров. Сегодня эта книга, впервые выходящая в русском переводе, признана величайшим и самым ярким французским романом современности, а сам Гийота считается единственным живущим писателем, равным таким ключевым фигурам, как Антонен Арто, Жорж Батай и Жан Жене.

# Александр Ходоровский

## ПОПУТАЙ С СЕМЬЮ ЯЗЫКАМИ

---

*Перевод Владимира Петрова*



Книги издательств «МИТИН ЖУРНАЛ», «KOLONNA publications» можно купить:  
в московских магазинах:

«Проект ОГИ», Потаповский пер., дом 8/12, стр. 2 • «Пироги на Дмитровке»,  
ул. Б.Дмитровка, дом 12, стр.1 • «Ад Маргинем», 1-й Новокузнецкий пер., 5/7 •  
«Книжная лавка при Литинституте им. А.М.Горького», Тверской бульвар, дом 25  
• «У Кентавра», ул. Чаянова, дом 15 • «Молодая гвардия», ул. Б.Полянка, дом 28 •  
«Московский Дом Книги» ул. Новый Арбат, дом 8 • «БУКБЕРИ» Сеть  
книжных супермаркетов • «Индиго», ул. Петровка, дом 17, строение 2

в Интернет:

• «Ozon» – [www.ozon.ru](http://www.ozon.ru)  
• «Межкнига» – [www.mkniga.ru](http://www.mkniga.ru)  
• «Лавка Я+Я» – [www.shop.gay.ru/books/](http://www.shop.gay.ru/books/)

По вопросу  
оптовых продаж  
книг издательств  
«МИТИН ЖУРНАЛ»,  
«KOLONNA publications»  
обращаться в ООО «БЕРРОУНЗ»,  
телефон 095-104-68-36

Для заказа книг по почте  
наложенным платежом  
редакция просит обращаться  
по адресу:  
170024, г.Тверь, а/я 2448  
в интернет:  
[www.mitin.com](http://www.mitin.com)

K O L O N N A P u b l i c a t i o n s :  
Россия, 170024 Тверь, а/я 24048  
Формат 60 Х90/16, объем 24 п.л.,  
подписано в печать 28.02.2006 г.  
Гарнитура NewBaskerville.  
Тираж 1000 экз.Заказ № 6212  
Отпечатано с готовых  
диапозитивов издательства.  
ОАО «Тверской полиграфический  
комбинат», г.Тверь, пр-т Ленина, 5.  
Телефон (0822) 44-42-15.  
Интернет/ Home page - [www.tverpk.ru](http://www.tverpk.ru).  
Электронная почта (E-mail) -  
[sales@tverpk.ru](mailto:sales@tverpk.ru).